

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



ГАБРИЕЛЬ Д'АННУНЦИО

**МОЖЕТ БЫТЬ ДА,
МОЖЕТ БЫТЬ НЕТ.**



**БЕРЛИН
МСМХХІІІ**

32524/8°

4

5

6



В С Е М И Р Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

ИТАЛИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ГАБРИЕЛЯ
Д'АННУНЦИО

GABRIELE D'ANNUNZIO

род. 1863

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. Л. ВОЛЫНСКОГО



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

A68

83-3

В С Е М И Р Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

ГАБРИЕЛЬ Д'АННУНЦИО

МОЖЕТ БЫТЬ ДА,
МОЖЕТ БЫТЬ НЕТ

ПЕРЕВОД И ПРЕДИСЛОВИЕ
Г. Л. ЛОЗИНСКОГО ПОД РЕ-
ДАКЦИЕЙ А. Л. ВОЛЫНСКОГО



БЕРЛИН МСМХХІІІ

МОЖЕТ БЫТЬ ДА,
МОЖЕТ БЫТЬ НЕТ
FORSE CHE SI, FORSE CHE NO

РОМАН

1910

*

*Эта книга посвящается Франческо
Ковелески в знак дружбы.*



ПРЕДИСЛОВИЕ

«Может быть — да, может быть — нет», роман Габриеля д'Аннунцио, появился в продаже в январе 1910 года. Начат он был поэтом в августе, закончен в декабре 1909 года. Все эти пять месяцев д'Аннунцио провел в полном уединении на берегу Тирренского моря, недалеко от Пизы, работая исключительно по ночам.

Выходу в свет нового произведения предшествовала обычная в таких случаях реклама. Полемика возникла еще тогда, когда содержание романа не было известно. Заглавие сделалось популярным задолго до завершения книги, так что попытка автора, встревоженного шутивым замечанием одного критика, заменить его другим, натолкнулась на противодействие издателей, братьев Тревес, и все осталось по-старому¹⁾.

Чтобы написать «Может быть — да, может быть — нет», д'Аннунцио забросил начатый раньше роман «Безумная мать», не говоря уже об обещанных в былые годы заключительных частях циклов Лилии и Граната.

Габриель д'Аннунцио — человек великих замыслов, но нередко он оставляет их в стороне, увлеченный какой-нибудь идеей, оригинальным образом или словесным сочетанием, которые вызывают в его фантазии план нового произведения. Так и в данном случае загадочный и красивый девиз мантуанского герцога становится для него выражением сущности Изабеллы Ингирами и символом того безысходного лабиринта, в котором очутились его герои. Недаром они любят повторять слово «может быть»: — «Forse». Картина запущенного дворца Изабеллы д'Эсте, одного из любимых архитектурных памятников поэта, дает материал для завязки романа. И из совсем иной сферы впечатлений, из области воздухоплавания, которое за время с 1905 по 1909 г. сделало поразительные успехи, д'Аннунцио берет материал для характеристики Паоло Тарисса²⁾, сплетая поэзию старины с поэзией действительности и стараясь вместе с тем в изображении современности избегать слишком конкретных образов. В таком приобщении злободневности (состязания на аэродроме, поездки на автомобиле, полеты на аэроплане) таилась серьезная опасность для писателя, и он не всюду счастливо обошел ее.

¹⁾ Замечание сводилось к тому, что сочетание слов «Forse che sì, forse che no» напоминает неаполитанскую песенку «Funiculi-funiculà» (см. «Rivista di Roma» от 10 января 1910 г., стр. 17—20).

²⁾ Образцом для него служит Блерио, перелетевший в 1909 г. Ламанш. О Блерио мечтает герой романа во 2-й книге.

Ведь его творчество было всегда проникнуто отвращением к повседневному, мелкому. Простые люди, «униженные и оскорбленные», еще привлекают молодого автора новелл и «Джованни Эпископо». Но в больших романах, в поэзии и драме д'Аннунцио уходит от этих «бездельных» людей (*uomini oscuri*), к которым он, правда, еще обещает вернуться, и безраздельно посвящает себя натурам исключительным, ненавидящим все, что напоминает мелочные заботы жизненных будней. Любуясь собою, герой «Невинного» говорит: «... я был убежден, что я не просто избранник, но что во мне обитает дух исключительный». Клаудио Кантельмо в «Девах Скал» создан для того, чтобы воплотить в себе идеал латинской расы и проявить свой гений в «единственном и недостижимом произведении искусства». Если на пути этих героев попадаются простолюдины, то автор либо идеализирует их, как хранителей высшей мудрости (Джованни ди Скордио в «Невинном»), и называет их не крестьянами, а «людьми земли» (*uomini della gleba*); либо они помещаются им в какую-нибудь живописную картину («Триумф Смерти», кн. 3, гл. 7, «Может быть — да», кн. 2). Эти поселяне и рабочие утрачивают в изображении д'Аннунцио индивидуальные черты, сливаются в общую массу: таковы, напр., помощники Тарсиса в нашем романе. Но чаще всего герои д'Аннунцио и сам автор смотрят на людей не из их круга с мучительным отвращением.

Всякое страдание отталкивает д'Аннунцио, вызывает в нем острое чувство гадливости. Отталкивает — и в то же время болезненно притягивает, оставляя на долгое время тягостный осадок в душе утонченно-чувствующих и мыслящих героев. Примеров множество: фехтовальный зал в «Невинном» (гл. 1), паломничество к чудотворному образу богородицы в «Триумфе Смерти» (кн. 4, гл. 6), — тетка Джоконда (там же, кн. 2, гл. 1), безумная княгиня в «Девах Скал». Все эти образы неслучайно мучат героев, признающих только прекрасное.

То же самое мы наблюдаем в «Может быть — да, может быть — нет». Например: Изабелла в обществе самозванных сыщиков; описание полицейского участка и портреты отдельных агентов; кулачный бой. Авиаторы вызывают в д'Аннунцио ряд жалких образов; и он относится к ним с каким-то беспомощным осуждением, так как на другое оружие, на пронию, на смех он совершенно неспособен. Его герои смеются очень редко, и до какой степени их смех незаразителен!

Все они с первых же страниц романа охвачены страстью, не дающей им ни покоя, ни передышки. Успокоение обретают они только в смерти. Эта страсть даже не возрастает на наших глазах: она уже достигла высшей точки своего развития и во всем окружающем находит для себя пищу. В таком непрерывном горении видим мы Вану и Альдо и любовь Паоло к Изабелле. И только последняя владеет собой, притворяется, играет, мучит других. Ее характер изучен автором с наибольшей тщательностью; страницы, посвященные Изабелле, отмечены особенной утонченностью стиля, исключительно блестящими образами.

Все внимание д'Аннунцио обращено на его немногочисленных героев; прочие остаются в тени. Либо они тоже сливаются в общую массу, как толпа в различных эпизодах романа, либо выступают перед нами односторонне — выдвигается одна какая-нибудь черта, не придающая рельефности портрету (старый привратник мантуанского

дворца); либо, наконец, они отмечаются бледным эпитетом: «любезный» комиссар, «проворная и молчаливая» женщина, и эти эпитеты применяются всякий раз, когда данное лицо появляется на сцене, лишнее доказательство, до какой степени безразличны для д'Аннунцио его второстепенные действующие лица, и насколько он беспомощен, когда возникает необходимость охарактеризовать их.

Поэтому в романе, где почти нет действия, где мало внутреннего развития, а есть связанные более или менее тесно между собою эпизоды, автор должен был прибегнуть к иным методам, чтобы на протяжении пятисот страниц приковывать к книге внимание читателя и оправдать ее существование. В исключительно-кропотливой стилистической отделке нашел он средство скрепить, спаять и оживить свое странное произведение.

Одним из таких методов спайки служит повторение той же фразы, или группы фраз, как музыкальной темы, характеризующей человека, чувство, положение. Эта фраза должна запечатлеться в памяти читателя и всякий раз вызывать в нем целый ряд образов и настроений, связывать отдельные части книги и делать переживания героев понятными ему.

Этот прием был сравнительно мало использован д'Аннунцио в его прежних романах. Напр., в «Невинном»: образ больной в гл. 11-ой:

«Только лоб, до бровей, оставался открытым».

Разговор с Джулианой в главе 3-ей:

«Из соседних комнат долетали голоса Марии, Наталии и Эдит, еле слышно».

В драме «Дочь Иорис» сильный эффект достигается в последнем действии словами Алиджи, повторяющего формулу проклятия Милы ди-Кодра из первого акта.

Подобные повторения использованы в широкой мере в разбираемом романе.

Так, Паоло Тарсис сторожит тело погибшего друга. Картина ночи составлена из ряда коротких предложений:

«За Монте Бальдо сверкали зарницы. Ветерок легкий, как воздух, долетал до него. В вышине проносились тучи, похожие на конские гривы, и в них были вилетены звезды. Изредка начинали падать крупные, теплые капли, предвещающие ливень, затем все затихало. В тополях кричали совы. Где-то в деревушке выла собака. С большой дороги доносился скрип повозки. Ему казалось, что он когда-то, очень давно, пережил такую же ночь, и она в круговороте лет опять возвращалась на землю» (стр. 107).

Те же фразы сплетаются в дальнейшем с фразами-реминисценциями другого эпизода: разговора Ваны с Джулио Камбизо о «розе из Мадурры», которая так часто воскресает в мыслях Ваны, вместе с произнесенными тогда словами:

«— Я должна положить эти розы к его ногам. Я для этого пришла сюда».

«За Монте Бальдо сверкали зарницы».

«— Они были сегодня у меня за поясом. Я вошла сюда, пока моя сестра была с вами; я вошла неожиданно, сама не зная зачем, словно меня принес ветер».

«Ветерок, легкий как вздох, долетал до них.

«— Мы говорили о вас, и он передал мне предсказание прорицателя из Мадур: обоим — одинаковая смерть.

«В вышине пронеслись тучи, похожие на конские гривы, и в них были вплетены звезды» и т. д. (стр. 110).

И в сокращенной форме, как смутное воспоминание, та же картина повторяется в самом конце романа:

«Где-то в деревушке выла собака. С дороги в Анцио доносился скрип повозки... Паоло казалось, что он когда-то, очень давно, пережил такую же ночь, и она в круговороте лет опять возвращалась на землю».

В несколько измененном виде мы встречаемся с описанием ночи в другом месте романа (в Вольтерре по приезде Изабеллы); обе ночи связаны воспоминаниями, которые вызывают определенное настроение в читателе:

Изабелла подходит к окну.

«Там, за Эрой, над Пизанскими горами, сверкали зарницы. Случайные тучки, как изодранные траурные одежды, застилали Млечный путь. Белая огненная слеза скатилась по лицу ночи; затем другая и еще другая».

И опять-таки страницей дальше эта картина дробится на отдельные фразы:

«За спиной ее (Ваны) соперницы сверкали зарницы, похожие на те, что в ту ночь загорались над Монте Бальдо.

«— Помнишь ибнскую ночь, когда он бодрствовал у праха своего друга?»

«Снова тучи, застилавшие Млечный путь, напоминали конские гривы, и в них были вплетены звезды.

«— Помнишь, как ты сказала Альдо: «Если ты пойдешь со мною, то и я отправлюсь туда». И ты не пошла. Пошла я. Никто меня не сопровождал, и со мной были только букет роз и моя тайна.

«Бесчисленные звезды растекались по небосклону. Над горькой землей, над землей бесплодной и сухой, над печальной пустыней ночь проливалась свои светлые слезы».

Или же сцена в Лабиринте, дробясь на отдельные темы, звучит в разговоре Ваны с братом.

«— Разве тебе не начинало иногда казаться, что он твой?» и т. д.

Не только для автора или для читателя, но и для созданных им героев эти звуковые и зрительные образы приобретают глубочайшее значение, преследуют их, влияют на их судьбу.

И д'Аннунцио и они сами во всем ищут сокровенного смысла. Они насквозь проникнуты художественными реминисценциями и связывают свои переживания с достижениями поэзии, изобразительных искусств, с деяниями прошлых поколений.

В каждой своей книге д'Аннунцио воскрешает какой-нибудь художественный образ, иногда — давно забытый. Созерцание старины обыкновенно наполняет грустью сердца действующих лиц: гавот Рамо в конце 7-ой главы «Наслаждения» или запущенный дворец Изабеллы д'Эсте-Гонзага; сохранившийся в памяти отдельный стих забытого поэта-тречентиста настраивает его на целую элегию («Solo ne la me-

morla oggi mi canta...» в сборнике «Poema Paradisiaco»). Так и в нашем романе музыка и поэзия, поэзия францисканца Якопоне, приобретают для Ваны и Альдо и для Изабеллы глубокое жизненное значение. В «Мертвом Городе» д'Аннунцио оживил древние греческие мифы; в «Может быть — да, может быть — нет» перед нами и перед героями постоянно встает образ другого города мертвых, — этрусские катакомбы в окрестностях Вольтерры, этого «Города камней и ветра», в свою очередь, вызывающего множество воспоминаний в романисте. Мрачная Вольтерра приводит его к мысли об этрусско-тосканце, авторе «Божественной Комедии», грандиозные картины которой он часто сопоставляет с забытой богом вольтеррской землей. И некоторые из мыслей по поводу Данте поражают своей меткостью:

«Тебе не приходило в голову, что Данте воспринял искусство вазовых живописцев и возвеличил его своей сверхчеловеческой силой? Разве почти вся первая часть Комедии не состоит из красных фигур на черном фоне, из черных фигур на красном фоне? Разве некоторые его стихи не сверкают на черной металлической поверхности, как на поверхности некоторых глиняных сосудов?»...

Припомним еще, какую силу придают «Мертвому Городу» отрывки из «Антигоны» или афоризмы Леонардо да-Винчи «Девам Скал». За последнее время поэт, никогда не отличавшийся чрезмерной скромностью, любит цитировать себя самого, называя себя по имени, а иногда предполагая, что его стихи всем известны: так он поступает, например, в своих речах, произнесенных накануне вступления Италии в мировую войну; так поступает он и в настоящем романе.

Постоянное привлечение извне художественного и эмоционального материала — отличительный признак творчества д'Аннунцио. Но в «Может быть — да, может быть — нет» этот прием получил особенно широкое применение. И никогда еще в романе или драме поэт не рассылал так щедро сравнения. Есть страницы, вереницы страниц, которые прямо-таки насыщены сравнениями. Они вводятся при помощи различных слов: как, как если бы, подобно, подобный, казалось, словно и т. д. (come, come se fosse, simile, pareva, rassomigliava, sembrava; quasi etc.). Некоторые предложения и абзацы пестрят этими словами.

Иногда сравнения систематически берутся из определенной области и разбрасываются в пыльном изобилии: напр., длинная параллель между полетом аэропланов и полетом птиц, много раз возобновляющаяся. Самое выдержанное из них это — сравнение с орлом:

«Как орел не сразу устремляется с песчаной долины, а бежит быстрыми шажками»... (стр. 82).

Часто попадает сравнение полета ласточек с тучей пронсящих стрел.

Сравнение пейзажа с музыкальной мелодией:

«...кругом вся равнина была какой-то беспредельной пустыней, напоминавшей музыкальную мелодию из равномерно чередующихся нот и пауз».

«Божественное спокойствие и божественная грусть лежали на неподвижной равнине, где тени и воды и искусство земледельца создали такую простую гармонию, что, казалось, она

вторит вырезанной из болотного тростника свирели о трех только нотах» (стр. 28).

Мы часто встречаем именно сближение зрительных образов со слуховыми:

«Высохшие русла с камнями, похожими на скелеты верблюдов по пути караванов, сверкали острой белизной, как отрывистые крики, сверкали и меркли».

«Казалось, что шум становится синим, вместе с машиной и человеком» (стр. 91).

«И в самом деле, красная одежда женщины, припавшей к коленям богоматери, была, как вопль страсти, еще напоенной мутной кровью. Свет и тени на желтоватом плаще апостола были словно рыдания истерзанной души».

Иногда сравнения следуют одно за другим непрерывно, по одному в каждом предложении, как в приведенном только-что примере (две последующие фразы тоже построены на сравнениях), или:

«При высоких нотах она (Вана) откидывала назад голову, и на мгновение черты ее лица расплывались, как бы охваченные пламенем. Она отдавала всю себя пению, словно сжигая себя на костре в каждом романсе. Иногда, когда она умолкала и оставалась неподвижной, казалось, что в воцарившейся тишине над нею образовывался пепельный покров, каким бывают окутаны головни, извлеченные из очага».

Здесь три предложения, которые развивают ту же мысль при помощи однородных образов. В следующем примере на протяжении шести строк итальянского текста встречаются четыре сравнения в одном и том же периоде, при чем все эти сравнения разнородны:

«Ее дерзкие и судорожно сжатые черты жгли его, как факел; бесстыдство ее души горело на ее лице, словно оно было охвачено нездоровой печалью, и, казалось, ресницы ее осыпались, и глаза страдали от этого, и ее дыхание было, как тлетворное испарение, отравляющее и извращающее мысли».

По внешнему признаку, наличию союзов или глаголов сравнения, мы можем судить о частом употреблении этой стилистической фигуры. Но есть у д'Аннунцио и скрытые сравнения, характерным образчиком которых может служить поцелуй в мантуанском дворце;

«То теперь были два существа, что, умирая от зноя в сыпучих песках пустыни...» и т. д. (стр. 39).

При повторении того же образа в другом месте романа объект сравнения может опускаться. Так тихие слезы Ваны, простившейся с прахом Джулио Камбиазо, сравниваются с ручейком, текущим под камнем.

«Но когда она приподняла занавеску и очутилась на ночном воздухе и взглянула на меркнувшие предзвездные звезды, она не могла удержать дольше слезы. Она остановилась в волнении. Колени подгибались под нею, вся она как-то таяла. Так как любимый человек стоял с нею рядом, она склонилась к нему на грудь, плача без рыданий, как будто наливая всю свою жизнь, от самой колыбели.

И слезы ее текли, как ручеек под камнем, неслышно» (стр. 116).

В другой раз, когда Вана открывает Паоло свою любовь и встречает холодный ответ, она снова плачет. И ее слезы текут (подразумевается: как под камнем) под ее голосом:

«Паоло казалось, что опять наступила та ночь, что он слышит Вану в том же своем уединении, вооруженный той же силой и тем же состраданием, и что слезы, которые чувствовались (в подлиннике *il pianto che colava* — слезы, которые текли) под ее голосом, не увлажняя его, были те же, которые тронули его сердце перед бездыханным телом друга, и были так дороги ему в его собственной скорби, лишенной слез».

Такой образ становится естественным и понятным только при условии, что мы помним первое сравнение. И мы имеем здесь дело именно с реминисценцией: д'Аннунцио сознательно употребляет сокращенный образ, довольствуясь ссылкой («Паоло казалось, что опять наступила та ночь»...) на эпизод из первой книги романа.

Особенно заметной становится склонность д'Аннунцио к сравнениям в «Может быть — да, может быть — нет», если сопоставить эту книгу с его предшествующими романами. Так, едва ли мы найдем в «Невинном» более двух десятков сравнений. Некоторые из них или банальны: «мысль — как молния» (гл. 7-ая), или слишком часто встречаются у самого д'Аннунцио: «ласточка как стрела» (гл. 7-ая), «как камни, кидаемые пращей» (гл. 9-ая). Но в «Невинном», в «Наслаждении», писателя больше привлекает фабула и психологический анализ: в «Может быть — да, может быть — нет» его внимание переносится на отделку деталей. Здесь обнаруживается д'Аннунцио — поэт, автор «Laudi» («Славословий»), целые отрывки которых сотканы из сравнений.

К сравнениям примыкает другой излюбленный прием д'Аннунцио: это овеществление внутренних переживаний или отвлеченных понятий, опять-таки часто без посредства сравнительных союзов. Примеров — множество, и среди них немало любопытных.

Вана, как каменной оградой, окружает себя своим горем:

«Она смотрела на все кругом умоляющим взглядом; она брала свое сердце и ставила его перед пространством, ставила его перед временем; она брала свое горе и записывала им дорогу, замуравливая горизонт, загораживала все тропинки».

Вана зубами задерживает свою душу и пробует ее вкус:

«Она напоминала человека, который, чувствуя, что теряет сознание, хочет удержать свою душу, как бы впиваясь в нее зубами» (стр. 48).

Изабелла:

«... снова овладевала своею душою, крепко схватывала ее обеими руками...»

Вана:

«... пошла прямо вперед, устремив глаза в пространство, шагая по твердой мостовой, наморщив лоб, как бы желая со-

брать воедино всю свою настойчивую волю, вколоченную в нее клином».

Паоло и Изабелла ходят по трепету собственного тела:

«Он взял ее за руку, как бы для того, чтобы вести ее. Он не находил себя ни в себе самом, ни во вне, и, как по натянутому дрожащему канату, они ступали по трепету собственного тела» (стр. 38).

«Она стояла выпрямившись и без движения, и ей казалось, что он шагал по ее бьющемуся сердцу».

Изабелла не подчеркивает, а опирается на каждое свое слово:

«Она не улыбалась; но казалось, будто она опирается на каждое свое слово, как бы желая сообщить ему собственную тяжесть, тяжесть своей силы и своей слабости и всего, что в ней было неведомого» (стр. 27).

Такое же ощущение испытывает и Вана:

«Я только прошу вас повторить это слово. Я подложу под голову руку и головой, и рукой, и всем телом прильну к этому слову» (стр. 116).

Обилие образов в романе отнюдь не ведет к их банальности. Приведенные примеры, наоборот, показывают, что поэт старается создать именно что-нибудь необычайное.

Так, весьма употребительна стилистическая фигура: «разрывать, нарушать молчание» («*lasciare il silenzio*»). Но д'Аннунцио на ней не останавливается и развивает этот образ дальше:

«... и только ласточки своими криками нарушали это молчание и разрывали его в клочья своими маленькими когтями и разносили его по серебристому небу» (стр. 31).

Для передачи впечатления свежести д'Аннунцио находит оригинальные образы:

«От ив и тростников пахнуло прохладой, словно из рта лесного божества, которое утолило жажду в ледяном лесном ключе большими глотками, не утираясь» (стр. 57).

«Голос ее звучал низко, между гортанью и губами, словно еще не отделившись от плоти, свежий и скрытый, как сливы, завернутые в листья».

Великолепны картины неба во время второго полета Паоло на состязании в Бреше, полеты над Пизой, через Тирренское море со спуском на пустынный берег. Образы д'Аннунцио здесь поистине грандиозны, и музыка его речи достигает высшей степени патетического подъема. Особенно интимной музыкальностью проникнуты диалоги, обычно слагающиеся из кратких реплик. Таковы: беседа Ваны с Джулио Камбиазо, разговор Ваны с Альдо в Вольтерре. Страницы, касающиеся Ваны и ее несчастной любви, напоены безысходной грустью, и здесь более, чем где-либо, д'Аннунцио обнаруживает свою гениальность, как мастер слова: напр., последняя песнь Ваны, ее смерть, ее признания.

Надо всеми этими образами, зрительными и музыкальными, д'Аннунцио работал усиленно, всматриваясь, вслушиваясь в первоначальные

наброски, чтобы пересоздать их впоследствии, «пробуя слова и предложения, как художник пробует краски на палитре»¹⁾.

Он наносит первую редакцию какого-нибудь периода на листок бумаги и вкладывает его в рукопись. Это еще бесформенный набросок, заключающий в себе зародыш какого-нибудь образа. Подвергнув его отделке, поэт присоединяет его к соответствующему месту романа.

Следы такой работы мы можем обнаружить и в «Может быть — да, может быть — нет». Некоторые фразы производят впечатление «клише» — не в том смысле, как этот термин употребляется в стилистике, то-есть не как общее достояние литературного языка, ставшие банальными словесные сочетания, служащие для выражения какой-нибудь мысли или образа. Эти клише созданы самим д'Аннунцио, и он распоряжается ими, как своей собственностью. Некоторые из них играют роль постоянных эпитетов, так как почти всегда сопровождают упоминание о каком-нибудь действующем лице романа или о каком-нибудь событии; это — эпитеты распространенные, сложные, состоящие из целых предложений; они играют роль, аналогичную роли повторений, о которых речь шла выше.

Так, говоря о Джулио Камбиазо, автор редко забывает его «улыбку и его медкие и чистые детские зубы». Сравнение Изабеллы с Авророй Микель-Анджело встречается три раза.

Возвышающаяся на аэродроме статуя Победы упоминается на стр. 64 и в конце романа на стр. 307 в связи с «коринфской капителью» и «облупившимися листьями аканта».

Ощущение жуткой тишины вводится дважды почти одинаковой фразой:

«Кругом царил обманчивая и неуловимая тишина, изредка нарушаемая звуками, которые изменялись, лишь только начинало казаться, что ухо их уловило».

Тот же период, за исключением слова «неуловимая», повторяется и в третьей книге (стр. 304). Изабелла вторично переживает то же ощущение, что она испытала в Вольтерре, и на нее опять набегает мучительные мысли и чувства, которые охватили ее в ту ночь. Как «обманчивая» тишина вызвала по ассоциации идей определенное настроение в героине, так и описание этой тишины приводит нас на память прочитанное в начале романа. Благодаря этому приему, д'Аннунцио живо связывает в нашем воображении отдельные эпизоды своей книги.

Такой длительный «эпитет» часто прилагается к Ване: мысль о смерти в связи с образом поющей девушки:

«Закрывать глаза, сплести за спиной руки и нагнуться вперед... Через сколько времени цветочки услышат глухой всплеск воды?»

И дальше:

«Сложить руки за спиной, как тогда, когда я пою у рояля, закрывать глаза, нагнуться и полететь вниз в бесконечность»... (стр. 129).

«Вана стояла рядом, в своей обычной позе, как статуя, сплести за

¹⁾ Часть приводимых ниже сведений заимствована из «*Rivista di Roma*»; цитированный номер, статья А. Лумброзо.

спиной пальцы, опираясь всем корпусом на правую ногу, выдвинув левую немного вперед, согнув слегка колено»...

«Все замолчали, когда заметили, что она принимает обычную позу, сплывая за спиной пальцы, опирается всем корпусом на правую ногу, выдвигает левую немного вперед, слегка сгибая колено, и приподнимает худое лицо, из которого песнь вырывалась, как источник живой воды, преодолевающий преграды».

Приведенные примеры не исчерпывают всего богатства повторений и постоянных эпитетов, в том смысле, в каком мы здесь употребляем этот термин, но умножать число цитат едва ли представляется необходимым.

Д'Аннунцио работу над стилем не ограничивает шлифовкой периодов. У него постоянная забота об использовании подходящего слова. В поисках новых выражений, свежих и наиболее выразительных, он усердно перечитывает не только итальянских классиков, но перелистывает словари, изучает малоизвестных авторов старого времени и бережно относится ко всякой находке, вводя ее при первом удобном случае в то или другое свое произведение. Поэтому в романах д'Аннунцио можно встретить много архаизмов, много редких терминов, и некоторые из них настолько малоупотребительны, что главные итальянские словари не содержат их. Таково, например, слово «sanghe» (речь идет о разных летательных машинах).

«... легкие остовы, — прижатые досками, подобные хрупким «sanghe».

Последнее слово, как удостоверяет А. Л. Пеппера в «Rivista di Roma», в № от 10—25 февраля 1910 года, не встречается ни у Tommaseo-Bellimi, ни у Fanfani, Zecchini, Fanfani-Arliia, Ugolini, Rigutini, Viani, Grassi, Canini, Zambaldi, Melzi, Amati, Ballesio, Panzini. В большом двухтомном словаре Петрокки это слово тоже не упоминается. Французский переводчик обошел затруднение, передав «sanghe» через «sanges», хотя французскому языку это слово чуждо; в русском же переводе пришлось фразу урезать и выбросить объект сравнения.

Д'Аннунцио будто бы утверждает, что в его произведениях содержится до 15 000 слов, введенных им впервые или воскрешенных им; в одном только «Может быть — да, может быть — нет» до 2000 новых значений. Последнее число, повидимому, преувеличено, но никто не станет оспаривать у д'Аннунцио его великих заслуг в обогащении итальянского языка¹⁾.

Некоторые из неологизмов д'Аннунцио приобрели большую популярность. На первом месте необходимо поставить слово для обозначения аэроплана «velivolo», переведенное у нас «парусолет». «Velivolus» — прилагательное встречается у латинских поэтов, как эпитет корабля; напр., у Лукреция «De rerum natura», стих 1427: «Iam mare velivolis florebat navibus»...

Д'Аннунцио вводит подобные термины потому, что обычное обозначение аэроплана нарушило бы характер некоторой отвлеченности,

¹⁾ Существуют словари поэтического и прозаического языка д'Аннунцио, составленные Пассерини. К сожалению, они не отличаются исчерпывающей полнотой.

оторванности от жизни, которым проникнут весь роман. Поэтому мы ни разу не встречаем слова «автомобиль», а только «создание», «машина», «мотор» («congegno», «macchina», «motore»). К сожалению, писатель не выдерживает до конца и употребляет слова, как «радиатор» и т. п.

По содержанию своему и в особенности по своему эпилу, роман Паоло и Изабеллы может рассматриваться, именно как завершение той трилогии, которая началась «Триумфом Смерти» и гибелью героев. Здесь же, вырвав из сердца любовь, приковывавшую его к земле, Паоло Тарсис покидает места, с которыми для него связано столько тяжелых воспоминаний, и поднимается к небу. Последние страницы романа — это действительно Победа Человека и Триумф Жизни.

Г. Лозинский.

²⁾ Д'Аннунцио, Может быть да, может быть нет.

МОЖЕТ БЫТЬ ДА, МОЖЕТ БЫТЬ НЕТ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

I.

— Может быть, — отвечала она, наклоняясь вперед и улыбаясь под развевающейся вуалью, которая принимала то серый, то серебристый оттенок, подобно ивам стремительно проносившейся мимо равнины, и ветер стегал ее по лицу.

— Не говорите «может быть». Это должно быть, должно быть. Ведь, это ужасно, Изабелла: вам нет оправдания, нет извинения. Это какая-то грубая жестокость, безжалостное насилие над телом и духом, бесчеловечное презрение к любви, ко всему, что прекрасно и благородно в любви, Изабелла. Что хотите вы сделать со мною? Хотите довести меня до полного отчаяния и окончательного безумия?

— Может быть, — отвечала она, и ее улыбка становилась еще более остро-вызывающей, то исчезая, то как бы принимая новый оттенок под колышащейся вуалью, прикрепленной к двум крылышкам железного цвета, которые закрывали ей уши и были вставлены в шляпу в виде шлема, сплетенного из соломы, широкой и плотной, как щепки ясеня.

— Ах, если бы любовь была живым существом, могли бы вы взглянуть ей прямо в глаза?

— Я никогда не гляжу на нее.

— Вы любите меня?

— Не знаю.

— Вы играете со мной?

— Все в жизни — игра.

Его грудь затрепетала от бешенства; он склонился к колесу руля своей красной машины, которая неслась по

древней римской дороге с шумом, напоминавшим бой барабана.

— Способны ли вы поставить жизнь на карту?

— Я на все способна.

И ее улыбка, ее вызывающая страшная улыбка сверкнула, подобно взмаху обоюдоострого меча, как бы отделяясь от зубов и исчезая в белках глаз.

В бешенстве он схватился за рычаг, дал полный ход, как будто дело шло о борьбе не на жизнь, а на смерть, и сердце его билось в такт с трепетаньем могучей и ровно стучащей машины. Ветер обрывал слова на его пересохших губах.

— Я держу вашу жизнь в руках, как это колесо.

— Да.

— Я могу уничтожить ее.

— Да.

— В одно мгновение я могу смешать ее с пылью, раздробить ее о камни, сделать из вас и из себя одну кровавую массу.

— Да.

Наклоняясь вперед, она повторяла это односложное слово, и в ее голосе слышалась насмешка и какое-то дикое сладострастие. И в нем и в ней кровь искала новой силы, клочкотала; и в нем и в ней кровь горела и, казалось, готова была взорвать их, подобно бензину зажженному магнетом в скрытом под продолговатой крышкой моторе.

— Смерть! Смерть!

Не испытывая ни малейшего страха, но словно одурманенная, она следила за его отражением в среднем фонаре, напоминавшем человеческий череп с ушами. Фонарь был из трех разных металлов; и в выпуклой меди отражалась в уменьшенном виде его голова, увеличенная нижняя часть туловища и огромная левая рука на колесе руля. Когда солнце ударило прямо в фонарь, отражение лица исчезало; и от всего его облика оставался только чудовищный, обезглавленный торс и исполинский кулак в красноватой перчатке.

— Ты попрежнему будешь завлекать и обманывать меня?

— Может быть.

— Видишь там эту телегу?

— Вижу.

Ее слова походили на огненные искры, вылетающие не из уст, затаивших дыхание, но отделившиеся от верхушки сердца, охваченного борьбой. Ветер подхватывал эти слова и смешивал их с пылью, крутившейся гигантским вихрем за стремительно несущимся чудовищем. Они как будто были созданы не из звуков, но из огня; это были не человеческие слова, они тонули в солнечном свете, так они были кратки и так одиноки в окружающем пространстве.

— Закрой глаза и дай губы.

— Нет.

— Укуси меня, закрой глаза.

— Нет.

— Тогда умрем.

— Я готова.

Они боролись, но на расстоянии; ими овладело безумие любовников, когда плотская ненависть отравляет их чувства на ложе страсти, когда желание и жажда разрушения, сладострастие и мука сливаются в лихорадочной тревоге. Позади них мир был тучею пыли; их силы столкнулись и смешались. Она сидела, не дотрагиваясь до своего спутника, даже не касаясь его локтя; но она страдала и наслаждалась, точно его могучие руки не управляли колесом руля, но схватили ее за плечи резким движением. И ему казалось то же самое; и чем крепче он сжимал руками колесо, тем явственнее чувствовал он в них вожденный трепет ее тела. И у обоих, точно у обнаженных любовников, пылали щеки, а по спине пробегала холодная дрожь.

— Ты не боишься?

— Не боюсь.

Она глядела в лицо смерти и не верила в возможность смерти. Ей бросилась в глаза тень тополя, на ослепительно ярком шоссе; в траве на краю дороги она различила цветок, не тронутый ветром, хрупкий шарик, напоминавший пушинку на тонком стебле; и она сжалась всем телом, отбросила все, кроме инстинкта жизни, точно под-

ражая живым ласточкам, которые, поджав крылья, ударились в полете о трещащий ящик мотора. И никогда еще не ощущала она с такой ясностью свое собственное тело, как в это мгновение, ни в постели, ни в бассейне, ни перед зеркалом: длинные, гладкие ноги, как серебряные ноги распятого, отполированные прикосновением тысяч и тысяч умоляющих губ; небольшие, быстрые колени, в которых таился секрет ее несравненной походки; маленькие сосцы на груди, широкой, как грудь Музы Пенны, с костями, выступавшими под тонкими мускулами; руки, не изнеженные, но твердые, руки, как бы одаренные самой свежей свежестью жизни, точно с каждой зарей на них возлагали новую гирлянду цветов; и, в мягких перчатках, — художавые кисти рук с ногтями, испещренными белыми пятнами, такими же чувствительными, как пурпурное сердце, более таинственными, чем знаки, бороздящие ладонь; и всю теплоту, разлитую под кожей, как теплота золотого времени года, и беспокойную игру крови и острый аромат своего существа.

«Нет, мы не умрем. Твое сердце дрогнуло. Твое бешенство бессильно. Я причиняю тебе и радость и страдание. И никогда я не чувствовала в себе столько силы, и никогда ты не желал меня так страстно».

Охватившая ее дрожь порождала в ней эти мысли, и под крыльями шлема ее демоническое лицо, не было маской из плоти, но казалось наивысшим отражением души, загоревшейся от прикосновения звучного ветра и подернутой дымкой коварства.

— Изабелла, Изабелла!

Подобно умному коню, который чувствует, как столкнувшись с препятствием, теряет мужество всадник и который знает, что дальше не будет дороги, так и она чувствовала колебание в сжатых руках спутника; она уже измеряла глазами расстояние между телегой и каналом, на котором белели кувшинки. И она невольно вскрикнула, когда пролетевшая ласточка ударилась о плоскую решетку радиатора и мертвая упала на землю.

— Страшно?

— За ласточку.

— Хочешь?

— Пусть будет.

— Изабелла!

Тогда она взглянула на бритое лицо спутника, не на его отражение в медном фонаре, и увидела его таким, каким его делала близость опасности и шум бешеной гонки: бронзовый цвет кожи, сухие, закаленные черты лица и выдающиеся скулы, подбородок, закрытый нащечником, как кольчугой; его мясистые губы были вытянуты вперед, как бы от отчаяния и жажды. Затем она бросила взгляд вперед по дороге. И вдруг сердце ее замерло от ужаса: в двух шагах она увидела запряженную четверкой волов телегу, нагруженную огромными бревнами, концы которых почти касались рогов животных. Потом все смешалось: резкий поворот руля заставил ее вздрогнуть, она услышала крики погонщиков и мрачный рев, как если бы машина врезалась в животных и раздавила их. Она открыла глаза: в них влилось что-то зеленое, светлое, свежее. Машина продолжала свой бег, при завывании сирены, вдоль заросшего травой берега канала, по которому без числа плавали кувшинки. Позади, туча пыли скрывала от глаз место смертельной опасности. И из-под колышавшейся вуали, из-под крыльев шлема вдруг зазвучал смех, озаривший лицо оставшейся в живых победительницы.

Это был невольный смех, нервный женский смех, от которого глаза наполнялись слезами; он заставлял ее нагибаться вперед и, казалось, вот-вот разорвет ее на части. Но она придала своей слабости и своему волнению видимость торжествующей насмешки.

— Смерть! Смерть! — резко вырвалось у нее, как бы среди рыданий. — Последняя ставка. Вы убили ласточку и заставили зареветь от страха чересчур спокойных волов.

Она не могла подавить смех, неудержимо поднимавшийся из глубочайших, неисповедимых тайников ее существа, и все же этот смех звучал фальшиво и для нее самой и для того, к кому он был обращен. А спутник молчал, не глядя на нее, испытывая в груди затаенное чувство боли, как неподвижный комок злобой

досады, мешавшей ему принять насмешливый вызов и обратить его в веселую шутку.

— Все в жизни — игра, — проговорил он.

Он стал замедлять ход. Дорога опустела, и кругом вся равнина была какой-то беспредельной пустыней, напоминавшей музыкальную мелодию из равномерно чередующихся нот и пауз: зеленые плотины с бесцветными прямыми дорогами, неподвижно-ленивые каналы, вереницы тутовых деревьев, тополей и ив — все эти линии тянулись к линии горизонта, медленно и согласно исчезая в бесконечной дали. Над землей царило светлое небо: что-то воздушное, отражаясь в зеркале вод, придавало земле ту легкость и безмятежность, какую большие глаза придают лицу человека.

Он ощущал безграничное спокойствие, заглушавшее и дрожание мотора и ее смех, которые одинаково казались порождением бессознательного механизма. И светлое, безоблачное небо, и длинные полосы дорог и каналов между двумя рядами деревьев, и мелькание ласточек по неподвижной поверхности прудов — все это воскресило в нем воспоминание полета. Ему почудилось, что он управляет не тем мотором, что тянет к земле, но тем, что от земли отделяется; ему почудилось, что он — в продолговатом челноке, в этом остоле его машины, измышления Дедалова, между двумя большими трапециями из ясени, стали и полотна, а перед ним — расположенные веером и усеянные металлическими крылышками цилиндры, за которыми вращается сила неизреченная, словно воздух: пропеллер, божественно изогнутый.

А она подавила смех, время-от-времени вырывавшийся у нее, как всхлипывания ребенка.

— Мне кажется, что мы сошли с ума, Паоло, — произнесла она голосом, который коснулся его сердца, как осторожная рука, старающаяся удержать что-то такое, что хочет исчезнуть.

И вдруг он увидел Изабеллу Ингирами, как тогда под ангаром, по которому барабанил весенний дождик, среди мотков стальной проволоки, среди длинных деревянных брусьев и рассыпанных стружек; скрипела пила, визжал напильник, стучал молоток, и какое-то лихорадочное воз-

буждение царило вокруг бездушной громадной цапли, с обтянутыми полотном крыльями. Ах, но почему же это создание, тонкое и таинственное, как лютня, плод терпеливого, воодушевленного и смелого труда, порождение вечной грезы и древнего мифа, почему оно вдруг превратилось в безжизненный остов вблизи той, что в своем мертвенно-бледном лице чудесно соединяла все жизненные силы Вселенной, той, чей внезапный румянец волновал, как вдохновенные речи или как крики детей? Сколько было затрачено мысли, сколько напряжения и упорства, сколько остроумия и находчивости, сколько опытов, сколько старания было потрачено на то, чтобы найти способы соединений, сцеплений и спайки! И что за таинственная сила придавала вдруг суставам этих пальцев, прикасавшихся к кончикам сомкнутых губ, такое значение, которое сводило на нет всю радость изобретения и всю остроту пытливой мысли? И он мысленно увидел, как тогда, свою гостью: она стояла, склонив лицо около поднятого рычага высоты, под туго натянутой стальной оснасткой, облокотившись о край челнока, и внимательно слушала, а тень от крылатой шляпы, казалось, скрывала от взоров многообразную хитрость и мудрость юного обольстителя Меркурия.

— Вы все еще сердитесь на меня, Паоло? Или задумались о завтрашнем полете?

Ему показалось, что по ней пробежала легкая дрожь.

— Я задумался, — ответил он, — о том дне, когда вы в первый раз вошли в мою мастерскую на лугу Сетте-фонти.

— Помню.

И она живо ощутила робкие и подозрительные взгляды рабочих, свежее прикосновение крупной капли, упавшей с потолка ангара на обнаженную руку, шелест стружек, задевавших порой ее платье, боль в щиколотке ноги, запутавшейся в мотке стальной проволоки, запах лака и дождя и затаенное волнение сердца.

— Вы вошли, как человек, который открывает дверь и приказывает незнакомцу: «Оставь все и следуй за мной», — и не сомневается в успехе.

— Я знала, — произнесла она, — слово, прекрасное и чудное, как имя волшебницы, означающее «Иди за мной». И я его больше не помню.

— Это ваше настоящее имя.

— Для вас или для всех?

Внезапно, ничего не создавая, ни о чем не размышляя, он почувствовал острую боль, как от ожога. Почему любое слово, произнесенное этим голосом, могло причинять столько страдания? Почему одним каким-нибудь звуком она могла смешивать в единый клубок столько смутных ощущений, одним звуком выражать непроницаемый мрак прошедшего и неуверенность тусклого завтра?

Все желания мира слились для него в одной плоти; и бесконечность жизни и мечты сосредоточились в одних горячих объятиях.

Он взглянул на нее. Так одним гневным ударом лопатки ваятель уничтожает им самим созданный образ, опять превращая его в бесформенную массу. Ему страшно захотелось, чтобы исчезли ее веки, ее губы, ее шея, чтобы она перестала быть самой собой. И он вспомнил о тяжелой телеге, о длинных бревнах, о которые так легко было разбиться.

— Ах, если бы любовь, которую вы оскорбляете и унижаете так безрассудно, отомстила вам и стала терзать вас, как вы терзаете меня! Если бы наступил день, когда вы лишились бы сна и улыбки и слез!

— Любовь, любовь! — прошептала она, откинув назад голову, полувзакрыв глаза и опустив руки томным движением, и губы ее жадно раскрылись, как бы желая вместить весь опьяняющий напиток лета, который небо подносило ей в своей опрокинутой чаше, украшенной гирляндами листьев. — Если бы вы знали, как я люблю любовь, Паоло!

Она произнесла эти слова, наклоня к спутнику закрытое вуалью лицо, и в голосе ее слышалась загадочность праностей и ароматов, как будто прежде чем прозвучать, он погружался в самые глубины человеческой чувственности. Паоло побледнел, почувствовал себя подавленным, сломленным, как хворостинка, попавшая в ре-

пением, которое из этих объятий делало единственную обитель воздуха и света. Но неужели ее желание было безгранично, вне пространства и времени, как муки существования, как вся меланхолия земли?

— Любовь — дар, — сказал он.

— Любовь — ожидание, — сказала она.

— Но не медлительность, полная злобы. Каждую секунду вы готовы отдаться и отступаете, готовы согласиться и отказываетесь. С того самого дня, когда под ангаром вы обходили безжизненные крылья, вы походкою своею подражали движениям страсти.

— У вас больные глаза.

Он видел ее волнообразные шаги вокруг воздушной машины, ее гибкие, плавные жесты, как движения заключенных в аквариуме золотых угрей.

— Зачем вы постоянно жалуетесь, как капризный ребенок? Вы, ведь, понравились мне только, как друг опасности. Помните, что я величайшая опасность для вас, Тарсис. Любовь, которую я люблю, неустанно повторяет: «делай мне больно, делай мне больно». Я никогда не откажусь ни от какого страдания, ни для вас, ни для себя. Спасайтесь, раз у вас есть крылья, раз вы изведали ветер.

Она не улыбалась; но казалось, будто она опирается на каждое свое слово, как бы желая сообщить ему собственную тяжесть, тяжесть своей силы и своей слабости и всего, что в ней было неведомого. И крики ласточек над прудами врезались ей в душу, как алмаз режет стекло, и нельзя различить, от которого из них рождается звук.

— Друг мой, друг мой, — вдруг вырвалось у нее, в каком-то припадке беспокойного уныния, словно замедленный бег и приближавшиеся сумерки сдавили ей дыхание, — нет, не слушайте меня, не отвечайте мне. Не говорите больше, я не хочу говорить больше. Я никогда, никогда не причиню вам столько боли, сколько мне причиняет малейший листик на этих деревьях и все это небо!

Божественное спокойствие и божественная грусть лежали на неподвижной равнине, где тени и воды и искусство земледельца создали такую простую гармонию, что, казалось, она вторит вырезанной из болотного тростника

свирели о трех только нотах. Обнаженные ивы, с венчающей их верхушки редкой листвой, смотрели на свое отражение в прудах, и хотелось подумать, что они только-что вышли из хоровода, в котором, взявшись за руки, мирно и дружно кружились. А кувшинки в каналах были так свежи, что Изабелла на своих воспаленных веках ощущала их влажность.

— Далеко ли еще Альдо и Вана? — спросила она с тайным беспокойством, которого не могла подавить.

— Они догонят нас.

— Вперед, вперед!

Паоло Тарсис ускорил ход. Нежная, терзающая душу мелодия замолкла в завывании сирены, в воинственном шуме мотора, за которым опять взвился вихрь пыли. Вдали обрисовывались красноватые стены, выступы бастионов, четырехугольные башни старой крепости.

— Разве моя сестра не правилась вам больше, чем я? — снова заговорила она, и в ее голосе слышалось ожесточение и вызов, отчего ее губы приподнимались, обнаруживая края десен, ее раздраженная улыбка как бы повисла над несколькими каплями светло-розовой крови.

— Вы, ведь, не хотели больше разговаривать, Изабелла.

Невыносимое беспокойство овладело ею, словно от нее требовалось сказать или сделать что-то такое, что только в эту минуту имело значение и внутренний смысл, и она не могла ни сказать этого, ни сделать, а, напротив, всеми своими мыслями, всеми словами, движениями и даже биением сердца и дыханием мешала тому. И она склонялась, как от порыва ветра, как будто стараясь обуздать свои жизненные силы и задержать поднимающиеся неудержимо волны, заставлявшие ее не то смеяться, не то плакать. Она испытывала какую-то смутную боль в лопатках и, страдая, сама старалась распространить ее по всему телу вплоть до кончиков пальцев. Иногда усталость ложилась на нее тяжестью снотворного напитка, и ей захотелось скрыть свою грусть на плече спутника и забыться в беспробудном сне. А затем все силы ее желания и все образы сладострастия вздымались в ней и увлекали ее в бредовом вихре.

— Сегодня самый длинный день! — воскликнула она, как будто освобождаясь от власти воспоминаний. — Сегодня самый длинный летний день. Вы этого не знали?

И несколько мгновений она ждала, чтобы его руки оставили руль и дотронулись до нее, в страстной надежде, что из этого прикосновения родится что-то новое. И ее душа билась, трепетала от ужаса, как будто все пролетающие мимо живые ласточки были пойманы в сети и в отчаянии ломали себе перья.

Он молчал, уйдя в самого себя, стараясь побороть себя, свою верную и коварную машину. И она снова взглянула на его искаженное отражение в фонаре; и новые жестокие слова сложились в ее уме, но она не выбрала ни одного из них, чтобы уязвить его, а сдержала их и тем только усилила свое раздражение. И она стала придумывать, чем бы другим побороть свою тоску, чем бы другим утолить эту бессмысленную жажду, которая разрушала в ней все достижения жизни, оставляя на кончике языка только ощущение крови и пыли.

И вдруг энергичным движением она выпрямила свою ослабевшую спину. Раздались хриплые проклятия погонщиков табуна, в воздухе замелькали судорожно сжатые кулаки.

— Вперед! Не останавливайтесь! Вперед!

Лошади бесились, кидались в сторону, взвивались на дыбы вокруг шумящей машины: длинные гривы, длинные хвосты, порывшиеся от непогоды, телячьи головы и белые искры испуга в уголках глаз; жеребцы, как медвежата, на высоких стройных ногах; и топот копыт, изгибающиеся спины, и дикий одуряющий запах, и облако пыли.

— Я умираю от жажды, — сказала она, когда испуганное стадо и вопли погонщиков остались позади. — Я хочу стать на колени на берегу канала и выпить этой зеленой воды между двух кувшинок.

Она приподняла вуаль, открыла лицо. Он повернулся к ней, испытывая в груди ощущение пустоты, в которой как бы отпечатывалось это изображение, никогда на себя не похожее. Она закусывала то верхнюю, то нижнюю губу, стараясь освежить их каплей, с трудом извлеченной

из глубины гортани. И с ее глаз как будто исчезли зрачки, и в этих ясных кружках без средоточия трепетали силы, изливавшиеся из источника мрака, как вода, бурля, пробивается наружу из жолоба ключа; а посаженная утром черная мушка на краю нижнего века резко подчеркивала нечеловеческий блеск радужной оболочки, расширяя и без того широкую глазную впадину и сообщая ее красоте страстное желание стать еще более острой.

— Ах, какое небо! Неужели вы его не замечаете?

Небо было бледно, почти бело, на первый взгляд однообразно, но пестро, словно то здесь, то там загорались огненные вспышки, поднимавшиеся от земли, спускавшиеся с высоты в невыразимом соединении, на подобие непрерывного потока прозрачных и одаренных жизнью предметов, которые, казалось, долетали до ресниц обращенного долу лика земли и движением этих ресниц низвергались снова до пределов молчания.

— Что мы будем делать?

Ее душевная мука говорила ей, что в сиянии этого самого долгого дня заключается решение ее судьбы. Образ ее счастья был обращен к ней лицом, и она могла вкушать его, как люди вкушают страдания или зрелый плод, освежающий уста красным соком.

И она сама не знала, хочется ли ей, чтобы без конца продолжалось это путешествие, или чтобы в уединенном безвестном месте ей дарован был отдых. И следуя невольной мысли, она нагибала плечо, подражая положению руки спутника.

— Мы подождем Вану и Альдо под воротами?

Они увидели площадку на лугу, засаженном тутовыми деревьями, между которыми паслись гнедые кони. А дальше возвышались стены города с просвечивающими бойницами.

— Паоло, Паоло, — сказала она, безраздельно охваченная непреодолимой тоской, — прошу вас, остановимся и осмотрим дворец. Мне непременно нужно осмотреть его. Это дворец Изабеллы¹⁾. Как вы думаете, он еще открыт?

¹⁾ Изабелла д'Эсте (1474—1539) — супруга мантуанского герцога Джованни-Франческо III, одна из самых выдающихся женщин итальянского Возрождения.

Я хочу, хочу проникнуть в него во что бы то ни стало. Прошу вас! Мне непременно нужно осмотреть его сегодня же. Исполните мою просьбу!

Ее удивительная мука, ее бешеный порыв к наслаждению и в то же время внутренняя борьба и гордость, ее усталость и жажда внезапно как-то рассеялись и смешались, и, как в бреду, она представила себе опьяняющую сцену любви в старом замке.

— Это дворец Изабеллы. Мне непременно нужно осмотреть его.

— Может быть, уже поздно.

— Еще не поздно.

— Уже седьмой час.

— Ночь наступает ровно в девять сегодня.

— Сторож не пустит нас.

— Должен пустить. Я хочу.

— Попробуем.

— Я уверена. Я хочу.

Машина остановилась у городских ворот. Подошли таможенные сторожа. И среди оглушительного шума мотора, она наклонилась к ним свое лицо, горевшее между обоих крыльев, словно охваченное вдохновением. Она тяжело дышала.

— Как проехать к дворцу?

Один из сторожей, не без удивления, указал дорогу. Город, раскинувшийся на своих болотах, погруженный в свою печаль, был безмолвен и казался безлюдным... Воспоминание о прошлом наполняло его молчанием, только ласточки своими криками нарушали это молчание и разрывали его в клочья своими маленькими коготями и разносили его по серебристому небу.

— А Вана? А Альдо?

— Они, конечно, справятся у ворот, не проезжали ли мы.

— Право, спросят? Вот площадь!

Пустынная обширная площадь раскинулась среди дворцов, башен, святынь, бросавших длинные тени, от которых веяло воспоминаниями великолетия, благородства, сладострастия, предательства и кровопролития. Ласточки кричали с каким-то остервенением. Дворец был заперт.

И, охваченная лихорадочным возбуждением, она подумала, что во дворце заключена ее самая сокровенная судьба. Она спрыгнула на землю, тяжело дыша, и, подобная изгнанной из отчего дома дочери, обезумевшей и возвращающейся обратно, она стала стучать в двери.

— Что за нетерпение! Изабелла, вы пораните себе пальцы. Вы, ведь, запугаете сторожа, и он не захочет впустить в такой поздний час маленькую, покрытую дорожной пылью сумасшедшую.

Паоло смеялся: его очаровывала эта вечно меняющаяся жизненная сила, это разнообразие обликов и настроений, этот пылкий и шумный темперамент, который, казалось, из данного места создавал наиболее многозначительную точку Вселенной.

— Можно позвонить, — произнес чей-то робкий голос. И только тогда они оба заметили возвышавшегося позади обоих сидений на груди ободов механика, которого пыль превратила в бюст из говорящего гипса.

Нетерпеливая посетительница сначала удивилась, затем рассмеялась. Поискала звонок, изо всей силы дернула его. Дребезжание колокольчика долго звучало вдали. Послышались шаги, чье-то бормотание, ключ закрипел в скважине, дверь отворилась, и сторож появился на пороге. Длинная седая борода делала его похожим на фигуру Хроноса, как его обычно изображают, но без клепсидры¹⁾ и без косы. Она не дала ему времени раскрыть рот и сразу же засыпала его настойчивыми просьбами.

— Позвольте нам войти! Мы здесь проездом. Мы еще вечером должны уехать. Больше мы, может быть, никогда не вернемся сюда. Прощу вас, прошу вас! Никто не увидит, ничего не случится. Позвольте нам войти, хотя бы только взглянуть! Меня зовут Изабелла...

Более действительной, чем эта чисто детская грациозность, чем этот умоляющий взволнованный голос, чем это царственное имя, оказалась щедрость ее спутника. Хронос улыбнулся в свою сивую бороду и дал дорогу.

Тогда она сняла вуаль, сняла накидку. И ее молодые глаза были так светлы, что мгновение казалось, будто их

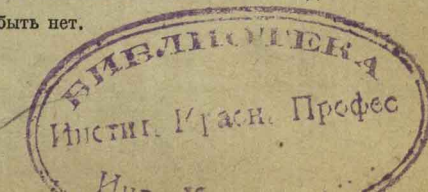
¹⁾ Водяные часы.

сияние окутывает ее всю, как одежда. Но когда она начала подниматься по широкой лестнице, у Паоло Тарсиса глухо забилося сердце, словно он нес ее на своих руках; тяжелая она или легкая? Даже тело у нее было обманчивое, почти что двойственное, как будто попеременно оно то скрывалось, то опять появлялось наружу. Она подымалась со ступеньки на ступеньку, и ее гибкие движения, казалось, делали ее ноги еще более длинными, более тонким ее тело, более узкой ее талию; худощавая, стройная, стремительная, она походила на юношу, готовящегося к бегу. Но вот она останавливалась на площадке, переводя дыхание: и удивленному взору представляли широкие плечи, пышная грудь, крепкие бедра, стройный стан на не слишком маленьких ногах, с таким изгибом ступни, что вся она держалась на большом пальце ноги и на каблучке, как Ливийская Сивилла Микель-Анджело.

Она остановилась; затем сделала несколько шагов по направлению к первому залу. Движение колен придавало ее юбке какое-то внутреннее изящество, одухотворявшее каждую складку. Она остановилась еще раз, но уже без всякого следа улыбки и веселья, точно под гнетом неимоверно тяжелого предчувствия; веки ее были опущены. Ее друг стоял тут же рядом, во власти такого сильного волнения, что оно, казалось, уничтожало в нем все, за исключением возможности сделать один только жест руками, повисшими в томительном ожидании. Она не глядела на него, но чувствовала, как в ее тело вливается, как в нем сосредоточивается какое-то таинство, над которым она бессильна, но которое более живо связано с ней, чем мозг костей ее.

И вдруг из ее тела, из ее грации, из ее мощи, из складок ее платья, из всех очертаний ее тела, из того, что было ее жизнью, и из того, что было наслоением на ее жизни, — с роковой безудержностью стекающей по склону воды, или стремящегося ввысь пара, — образовалось что-то краткое и бесконечное, что-то беглое и вечное, обычное и несравненное: взгляд, ее взгляд.

И это было все. Бледные, безмолвные, покоренные любовью, более сильной, нежели их любовь, они взились за руки, как бы для того, чтобы войти в обитель их еди-



ной души или соединенных теней. Их злое счастье стремилось уже не вкусить страдания, но вслушаться в вопль растерзанной и заброшенной красоты. Обвалившиеся стены и своды, продырявленные старые полотна, поломанные столы и стулья с жалкими золочеными ножками; истрепанные драпировки и осыпающаяся штукатурка; полуразрушенные кирпичи; в тусклых зеркалах отражение широких, пышных постелей; леса, поддерживающие потолок; запах высохшей плесени и свежей извести; а через открытое окно две красные башни на фоне неба, щебечущие воробьи, визжащие дети; а через другое — пустынная улица, церковь, оставленная молитвами, стук пары костылей по мостовой; люстра с хрустальными подвесками; косой луч солнца на полу, да еще люстра, и еще луч, светлый луч — печальнее потухшей люстры, и еще вереница люстр, испорченных, еле держащихся на крюках, похожих на хрупкие обледенелые скелеты. Запустение, лишенное красоты запустение! «Что сделаем мы со своею душою?»

— Сад! — воскликнула посетительница, увлекая за собою спутника к окну зала, украшенного изображениями рек, которые создавали впечатление большого простора¹⁾.

Они подошли к окну. Не развединыя рук, они стояли, как бы прислушиваясь к неясным волнам музыки.

Это был всякий сад, окруженный изящным греческим портиком из парных колонн. Колонны казались спокойнее обыкновенного, так как были объединены в постоянные сочетания, на одинаковом расстоянии, и их длинные, верные тени сближали их. Беспорядочно и густо росли там всевозможные растения, кусты, деревца. Но вся их зелень имела значение лишь постольку, поскольку она оттеняла страстную томность белых роз.

Когда Паоло приблизил свое лицо к лицу желанному, так что дыхание смешалось с дыханием, она отодвинулась, повернулась и оглянулась кругом. Затем произнесла покорно и мягко:

— Нет, там есть другой, более красивый сад.

Ей казалось, что она смутно слышит прелюдию музы-

¹⁾ Аллегорические изображения рек, работы Дж. Ансельми (XVIII в.).

ки, которая сейчас ворвется со стремительностью потока.

Они переступили через другой порог. И их окутала темная синева ночного неба, с которого знаки зодиака сверкали, отражаясь в стоячей воде зеркал¹⁾. Через окно вторгался жгучий и властный запах магнолии, таинственно опьяняющий.

— Еще один сад?

То был печальный заброшенный дворик. И снова пошли они под люстрами из бледного стекла в пышных и опустевших залах, и снова пошли мимо постелей, не ведающих сна; и по стенам длинных галлерей закрались и зачернели старые, слепые полотна, подобные бычьим шкурам, натянутым и подвешенным дубильщиками; и хоры воробьев метнулись со сломанных черепиц на качающиеся балки, на поперечные бревна, на продавленные плетеные решетки разрушенных помостов; и снова перед ними расстилалось лишенное красоты запустение.

— Вана! Альдо и Вана!

Испуг заглушил крик Изабеллы. Они беззвучно шли к ней навстречу, по комнате, которую застилала тень постели, злое, как катафалк; они шли, безмолвные и спокойные, как два существа, из глубины собственной жизни идущие без слез навстречу плачевной судьбе.

— Альдо, Вана, это вы? Это вы?

— Нет, Изабелла. Это наше отражение в зеркале. Почему вы так дрожите?

— Мы!

В высоком зеркале, обрамленном двумя небольшими колоннами, они отражались во весь свой рост. И это зеркало действовало так же чарующе, как магический параллелограмм.

— Почему вы так дрожите?

Чувствуя себя побежденной и в то же время сопротивляясь, она приближалась, не выпуская руки взволнованного спутника; вот она вошла в поле погребальной тени, падавшей от постели, и пристально всматриваясь,

¹⁾ Зал Зодиака, работы Лоренцо Коста (XVI в.).

она не узнавала своего взгляда в этих глазах, которые смотрели на нее, как бы лишенные век, как бы лишенные ресниц, неспособные мигать, громадные, более таинственные, чем могила, таинственные, как безумие.

— Нет, нет! мне страшно.

Она отскочила назад, побежала по соседним комнатам, под золотыми и лазуревыми потолками, под потолками небесного цвета, как цвет больной бирюзы, как цвет поблекшей позолоты, под бледными богатствами, расселенными кругом, развешенными по стенам, под молчанием, неподвижным, как изваяние, молчанием, от которого некуда скрыться.

— Изабелла!

Запустение начинало преобразжаться. И неопределенные музыкальные волны, колебавшиеся вокруг белых роз всячего сада, превращались в отрывки мелодии, патетические, как вопли желанья, как вопли страдания. Освобожденная от следов вторгшихся в нее суеты и обнищания, руина дворца вдыхала прежнее величие через все отверстия своих ран, дышала, страдая, и умирала, вожделая о самом длинном дне. Под осыпавшимся гипсом изваяния Победы обнаруживали свою железную душу, и протягивали уже не пышные венки, а круги заржавелого железа. Горделивые Орлы держали в когтях гирлянды сгнивших, истлевших плодов.

— Изабелла!

Она шла все вперед, колеблясь, в какую комнату зайти, не зная, где свободнее вздохнет ее душа. А комнаты тянулись одна за другой; и красота сменялась разрушением, и разрушение было прекраснее красоты. И глаза широко раскрывались, чтобы все увидеть, все запечатлеть; и все лицо жило тою же жизнью, какою жил взгляд. И душа начинала припоминать; ибо исчезнувшие формы возрождались и музыкально воссоединялись в ней, и из того, что было несовершенно, она извлекала радость совершенства, радость полноты из того, что было неполно. И чудо удлиняло день, не допуская в то же время никакого промедления; и каждый раз, когда нога вступала на порог, возникала боязнь запрета, но далек еще был порог вечерний.

— Там дальше еще один сад, — говорила она, продолжая идти; — еще один сад.

Через решетку открылся вид на двор, загроможденный обломками и заросший травой, за развалившейся оградой, со следами орнаментов; а по ту сторону ограды блестело болото и снова слышались крики ласточек в небе, и донеслось кваканье лягушек в болоте, и все смешалось в каком-то общем горении. И среди этих голосов раздавался душу раздирающий голос Лета.

— Это не тот сад!

Она с трудом держалась на ногах на полуразрушенном полу, местами позеленевшем от капающей с потолка воды; а над ее головою следы дождя делали более тусклой лазурь потолка, на котором золото, более благородное, более прочное, чем какое бы то ни было золото, богато блестело в волютах, розетках, на куполах, изваянных с чисто римскою мощью. На барельефе фриза, столь властным, что с ним мог бы сравниться ритм великих достопамятных песен, изгибались сирены среди листьев, выдававшихся, как сосцы прекрасных морских чудовищ. И около высоких окон изваяния Победы протягивали на концах своих обрубленных рук круги заржавелого железа.

— Нет, Паоло, нет! Не здесь, не здесь! Я умоляю вас!

Она высвободилась из дрожащих рук спутника. Ее лицо выражало то ужас, то опьянение, то успокаивалось, то опять загоралось. И от порога к порогу, от света к тени, от тени к свету, они вместе гнались за своей бесконечной печалью.

— Здесь? — сказал Паоло, наклоняясь к подоконнику.

Это было мрачное воспоминание другого всячего сада, заросшего крапивою, загроможденного всяким хламом, старыми искривленными водосточными трубами. На продырявленной, загрязненной стене Тритон трубил в свою трубу; кое-где, как затерявшиеся огоньки, пылали цветки мака. И в уходящем в даль небе ласточки казались еще более черными.

— Может ли быть на земле что-либо печальнее этого сада? — сказала она, отступая назад.

Снова тянулось запустение; разрушенный колпак очага, черный от дыма, ряд замурованных окон; коридор,

усыпанный штукатуркой; светлый зал с загрязненными стенами и следами снятых перегородок; потертая каменная лестница; еще один коридор, похожий на узкий коридор заброшенного госпиталя; и снова громадная лестница, спускавшаяся среди пустых ниш к грязной двери, из скрепленных поперечными балками плохо сколоченных досок, которая закрывала доступ к безымянному месту и казалась все же более неприступной, чем дверь из трех бронзовых листов.

— Изабелла!

— Мне страшно, мне страшно.

Ее жизнь мучительно трепетала в гортани. Ни в себе самой, ни во вне, она не находила себя.

— Где мы? Уже вечерет?

Он взял ее за руку, как бы для того, чтобы вести ее. Он не находил себя ни в себе самом, ни во вне, и, как по натянутому дрожащему канату, они ступали по трепету собственного тела.

— Ах, я не могу больше!

У кого из них вырвалось это восклицание? Еще уста их были различны, но одинаково было их волнение, и силы обоих не выдерживали этого волнения.

— Ах, я не могу больше!

И вдруг они вступили опять под золото с лазурью, и опять слышали господствующую мелодию, и опять сверкнул на них блеск самого длинного дня.

— Может быть, может быть, может быть...

К золоту и лазури подняла она лицо свое; ее собственная душа, богатая и загадочная, в бесконечном лабиринте расстилалась над ее головою. Потускневшими глазами читала она страшное слово, повторяющееся бесчисленное количество раз на путях Дедаловых, по полю цвета лазурного.

— Может быть, может быть, может быть...

Это слово прозвучало у него во рту, под языком; оно прозвучало в гортани, над верхушкой сердца: так как он взял ее пальцами за подбородок и устами прервал дыхание, самое глубокое дыхание, дыхание, о котором знают кровь, сновидения и мысли.

То теперь были два существа, что, умирая от зноя в сыпучих песках пустыни, в иступлении одновременно достигают скрытого водоема и вместе спускаются, устремляясь к нему, бросаются к невидимой воде, толкая, отстраняя друг друга в тесном пространстве; и каждый хочет прильнуть к воде первым и выпить больше, и чувствует, как за его влажными губами растет хищная ярость, и тень, вода и кровь смешиваются воедино в ночном кошмаре.

Он выпил первый глоток, и сразу божественный сок наполнил до краев обнаженную чашу; и чтобы не упустить ни одной капли, он, не отнимая пальцев от подбородка, другою рукою схватил ее за шею, под крылышками, покрывавшими затылок, и держал прекрасную голову, как держат амфору без ручек. Он держал ее крепко, слишком крепко, как бы выжимая ее: так инстинкт подсказывал его страсти самый первый жест, который в своей слепоте делает рожденный человеком; ибо ему казалось, что он впервые питает глубочайшие тайники своей нетронутой природы.

Из нее излилась вся сладость, она стала пустой и легкой, точно теплый воздух протекал внутри ее костей, лишившихся бесчувственного мозга; и тихий стон, подобный беззвучной мольбе, сопутствовал этому чуду. Но когда она почувствовала себя совсем обессиленной, она захотела возродиться и слегка тряхнула головою, высвободилась из объятий и от уст отделила уста, и затем снова прильнула к ним сверху, чтобы получить обратно то, что дала. И состязание стало жестоким, как борьба бойцов; каждый из них стремился к чему-то еще более глубокому и сокровенному, стремился достигнуть сердца, достигнуть сил, трепетавших в тайниках жизни, и они чувствовали твердость зубов в окровавленных деснах. И одна единственная капелька окрасила кровью поток любви, который растекался по всему миру.

Медленный поток отделялся от них, поток, порожденный этим слиянием, этой бесконечной радостью, которую они бессознательно сдерживали до этого мгновения. Он затоплял дворец, переливался через неисчислимые пороги, свидетели их волнения, уносил с собою все остатки

красоты, вторгался в сады, виденные ими и не виденные, пересекал болото, оставлял глубокую борозду в равнине, терялся бесследно в беспредельном Лете. И тихий стон, слабый, как плач больного ребенка, сопутствовал этому чуду; так как, даже впиваясь зубами, она не прерывала этой молебны, почти беззвучной, и казалось, что к наслаждению примешивается мука, а вражда смягчена страданием.

— Довольно!

— Еще! Еще!

— Довольно!

Резким движением она отпрянула от любовника. И ее отяжелевшие веки мигали, чтобы рассеять густой туман, чтобы привыкнуть к свету и отличить игру воображения от действительности бытия. Опять отражение в зеркале? Опять взгляд безумия в глазах, переставших быть ее глазами? Неужели это бледность, сопровождающая ее собственную гибель? Ах, она не думала, что может побледнеть так сильно!

То была Вана, Вана, смертельно бледная; но она дышала, прислонившись к притолоке двери, словно боясь упасть, с широко раскрытыми глазами, словно бессильная сомкнуть их. То была ее сестричка.

Говорил голос Ваны, неузнаваемый. С мучительной поспешностью, еще недвижимая, она произнесла:

— Сейчас придет Альдо.

В соседней комнате слышались шаги брата. И согласным усилием они успели оправиться. Молодой человек появился на пороге. Вид у него был раздраженный.

— Ах, вы здесь? Наконец-то мы вас нашли! Почему вы не подождали нас или, по крайней мере, не сообразовали сказать, чтобы нас предупредили у ворот Пу-стерла¹⁾.

— Мы думали, ты сейчас нагонишь нас, — сказала Изабелла, овладев собою. — Нам показалось, что мы слышали твой рожок, Альдо. И, ведь, мы оставили внизу сторожа.

¹⁾ Одни из ворот Мантуи.

— Счастье, что у Ваны дар провидения! Всю дорогу, мы только и делали, что глотали пыль.

— Уезжая, разве я не предложил тебе ехать первым? — сказал Паоло Тарсис.

— Но у тебя настоящая торпеда, а у меня болотная черепаха.

— Она, значит, создана для этой местности.

Паоло хотелось исчезнуть, очутиться где бы то ни было, только подальше. Вот в каком фальшивом оживлении растворилась его пурпурная радость.

— Ну, мальчик, не дуйся на меня. Ты всегда недоволен, — сказала Изабелла, нежно прикасаясь безымянным пальцем к тонким бровям брата, словно подернутым пудрой.

— Иза, обещай мне, что теперь ты поедешь со мною и посадишь Мориччику¹⁾ с Паоло.

— Да, если хочешь.

— Хочу, непременно.

— Ах, как я тебя балую!

— Что у тебя на зубах?

— Что у меня на зубах?

Она закрыла рот и быстро провела языком по зубам.

— И на губе.

— Что такое?

— Немного крови.

— Крови?

Она стала искать свой платок; и отодвигалась назад, как бы желая укрыться, пряча под железными крыльшками лицо, которое должно было быть цвета пламени. С сосредоточенной, бессознательно-жесточкой нежностью брат следовал за ней, протягивал к ней руку, брал большим пальцем и мизинцем нижнюю губу и повторял:

— У тебя маленькая ранка.

Паоло невольно отвернулся в противоположную сторону, разглядывая на камине из красного мрамора зеркало барокко, которое держала вереница крылатых амурчиков; беспокойство терзало его, он боялся, нет ли на нем такого же знака. Он заметил лицо Ваны: оно было

¹⁾ Уменьшительное имя от пога-ежевика.

поднято к лабиринту потолка; слева на него падал сног света. Сердце его глухо забилося, когда он услышал тон голоса Изабеллы, чудесный во лжи. Он познал новую способность этого голоса:

— Ах, да, может быть, когда я упала, вот там, споткнувшись на кирпичном полу.

И она искала платок, чтобы покрыть себе рот, который жег ее, как глубокая рана.

— Вот, возьми, — сказала Вана, подавая ей свой.

Она продолжала глядеть на потолок, словно вся обратилась в слух, в то время, как сторож рассказывал историю Винченцо Гонзага, толкованием к которой были слова Эмблемы; но она ни на минуту не сводила с сестры косого взгляда, светлого зрачка, скосившегося к самому углу век: и в снопе света Паоло видел, как на узком, оливкового цвета, лице резко выделяется белок глаза; он увидел протянутую руку. И в ее лице и в ее руке было столько выразительности и столько света, что они, казалось, выходили за пределы действительности и врезались в самое небо судьбы, подобно тому, как вершина Доломитов горит в сумерках, на фоне всеобщего мрака, и каждый ее выступ врезается навеки в душу того, кто смотрит.

— Может быть — да, может быть — нет! — произнес юноша, голосом, который уже был подернут грустью, читая девиз, вписанный в промежутки изваянного лабиринта. — Иза, почему между каждым «Может быть» веточка, а не крыло, не твое крыло, Тарсис? Крыло Дедала или нить Ариадны? Почему веточка?

— Не знаю, — ответили уста, познавшие поцелуй.

— Не знаю, — ответил прикованный к земле создатель крыльев.

— Почему, Моричика?

— Не знаю, — ответила смуглая девушка, которая хотела, чтобы ее запятнала капля сладострастной крови.

— Не знаю, — ответил сам себе юноша, под гнетом своих молодых, но уже отягченных неведомой скорбью лет.

Никто не знал; и каждый из них почему-то колебался, уйти ли ему оттуда, уйти куда-нибудь дальше, идти впе-

ред, или вернуться обратно, как будто золотые полосы с потолка опускались гибкою лентой и невидимо окутывали и сдавливали их неустанно.

— Пойдем, — сказал Альдо, беря под руку Изабеллу. — Я хочу посмотреть на Парадиз¹⁾ и больше ни на что.

Когда сторож провел их по лесенке о тринадцати ступенях в гардеробную принцессы дома Эсте, когда они снова слышали крик ласточек в жемчужной белизне медлительного дня, химерическая сила жизни поразила их в самое сердце и оживила острую боль и горечь их сокровенных грез. И в полном расцвете своей мужественной силы, изведавшей все опасности и все препятствия, он, свободный от страха и привычек, вооруженный недоверием и презрением, он, познавший долгие дни, когда сила воли, опираясь только на две ступни, позволяла ему жить, — посмотрел на чудесную плоть, уже обещанную ему, и противопоставил предчувствию несчастья образ оргии-освободительницы, памятуя о моряке, который сходит на берег, чтобы, освежившись, на следующий день держать путь на Океан; и его кровь закипела от нетерпеливого желания насытиться. Вкусившая уже наслаждения, жаждущая радости в страдании, увлекаемая к краю самых ужасных соблазнов, одаренная сердцем робким и смелым, нежным и безжалостным, она вдыхала горение окружавших ее душ, подобное запаху серы, приносимому ураганом; она не строила никаких предположений, не готовилась к непредвиденному; она взвешивала на своих ритмически-ровных коленях божественную животность своего тела, взращивала хитрость и сладострастие в своем самом затаенном пылании. Но у девушки и у юноши не было оружия ни против раздрающей муки, ни против аромата магнолии, ни против бесцветности болота, ни против восторженности воздуха; они были во власти враждебных сил, и эти силы глухо волновались, рассеиваясь и возрождаясь при каждом дуновении, обвевавшим какую-то тень, на которую, может быть, нельзя было пристально смотреть без страха.

¹⁾ Так называлась половина Изабеллы д'Эсте, замечательная по архитектуре.

— Вот мой сад, — сказала Изабелла, нагибаясь над подоконником, тем же тоном, каким она произнесла бы первые слова бурной исповеди: «Вот моя вина, вот мой подвиг».

От нее отделялось озлобленное опьянение, искреннее и в то же время искусственное: то говорило ее истинное лицо, то ее маска, то это была игра опытной актрисы, то изящество бессознательного животного.

— Так ли ты представлял его себе, Альдо?

Рядом с ней на горячем камне склонился брат, обняв ее за талию.

— Смотрите, Мориччика. Смотрите, Тарсис.

Вана и Паоло подошли к ним, и Изабелла отодвинулась, чтобы они могли разглядеть кусты роз. Она привлекла к себе Вану, чтобы почувствовать, как дрожит сестра, и, поверх ее наклоненной головы она бросила взгляд любовнику, не молниеносный взгляд, а что-то весомое, что-то текучее, как расплавленный металл. И они стояли все четверо вместе, ощущая зной, вдыхая ароматы, охваченные легким оцепенением, как будто их очаровал какой-то кудесник.

И сам сад, казалось, оцепенел, и словно побелел от глубокого молчания, как мед, как воск, как смола. В нем царило запустение, царила печаль, сгоравшие поздним благоуханием. Зной оживлял ароматы лаванды и розмарина. Перезрелые абрикосы висели в вялой листве; некоторые из них уже потрескались и обнаруживали косточки, источая сок; от кустов роз тянулись такие длинные и такие нежные отростки, что под тяжестью маленькой розы они подгибались; и бледное болото Виргилия открывалось по ту сторону лилий, до такой степени усыпанных цветочною пылью, что цвет их казался потускневшим.

— В мое время, — тихо сказала волшебница, задумчиво улыбаясь какой-то воздушной улыбкой, — этот сад был полон пчел и хамелеонов.

И как раз в это мгновение жужжа влетела пчела. Глаза юноши следили за ней с таким удивлением, будто он присутствовал при чем-то необычайном. Стоя в оконной нише, все четверо прислушивались к блуждающему жуж-

жанию. Затем они быстро взглянули друг на друга, и их поразило, что у них у всех глаза светлые, но различные, словно они впервые замечали это различие в сходстве.

— Ах, как я умела жить! — продолжала Изабелла, увлекаясь собственной игрой. — В моих маленьких залах, на берегу сонных прудов, были заключены видения славных городов. Смотрите, смотрите: вот северные, а вот южные, светлые и темные, белые и серые...

В стеклах оконцев обрисовались пестрые планы городов, окруженных стенами и башнями, омываемых морем, пересекаемых реками, расположенных на холмах: здесь были Париж и Иерусалим, Ульм и Лиссабон, Берн и Марсель, и Алжир, Толедо, Мессина, Мальта, египетская Александрия, действующие на воображение людей, как благоухания, как танцы, как томление, как лихорадка, как волшебные нашивки.

— Иза, Иза, — вздохнул юноша, — почему мы сегодня не в старом Алжире, ночью, на белой террасе; в шелковых одеждах, на мягких подушках, услаждаясь вином, мы бы слушали какую-нибудь длинную непонятную песнь!

— Молчи, молчи, — сказала Изабелла, приложив указательный палец к губам, и приблизилась к следующей двери. — Слушай, как жужжит пчела.

Трудолюбивая работница уже пролетела в соседний зал, и казалось, что ее пение изменило тон, стало более звучным, и ей в унисон звенит какая-то низкая струна.

— Слушай, какая музыка!

— Это звучит виола бордона¹⁾, — едва слышно произнес Альдо, приближаясь на цыпочках и в невольном восхищении подражая жестам сестры.

Волшебница заглянула в комнату, опираясь об обе притолоки двери, посмотрела по сторонам, подняла глаза вверх, и затем молча обернулась к своим спутникам. Ее лицо отражало весь блеск обнаруженных сокровищ и сообщало его светлым глазам других.

Куда попали они? Что это, внутренность золоченного клавесина? или же священное хранилище, построенное

¹⁾ Род скрипки.

первым из мастеров для чудесной арфы из слоновой кости, для арфы святой Цецилии? Жужжание пчелы напоминало дрожание струны клавесина, к которой прикасается воронье крыло в длинной каденце; но с другой стороны, такая тишина, как в этом зале, царствует только в сокровищницах.

— Изабелла! Изабелла! — как во сне повторял юноша, читая повсюду имя божественной герцогини.

А сестра его оглядывалась кругом с радостной детской улыбкой, следя за всеобщим восхищением, подобно тому, как она спрашивала бы их мнение о своем новом платье, о каком-нибудь новом украшении: «Тебе это нравится? А вам? Все это я сама придумала!»

— Когда я жила здесь, — тихо проговорила она, — около этого часа начиналась музыка. Помнишь, Ванина?

— Я помню, — сказал Альдо, двигая левой рукой, как бы перебирая струны на своей виолончели. — Кто знает, может быть, моя *viola da gamba*¹⁾ еще спрятана вот в этом шкафу.

Тоньше филигранной работы были украшения потолка вокруг обоих орлов и трех золотых лилий герцогского герба. По стенам стояли шкафы для инструментов и нот, а резьба по дереву изображала воспоминания старины: и дольцемеле²⁾, и буонаккордо³⁾, и виолу, и вирджинале⁴⁾, и арфу, а рядом с ними виднелись чудесные дворцы с садами, как будто для того, чтобы напомнить о несуществующих краях, к которым, вслед за струящейся мелодией, душа стремится, в каком бы светлом месте она ни обитала. И здесь на маленьком флажке было вырезано сладко-звучащее имя.

— Она должна быть здесь, твоя виола, — согласилась волшебница, не отрывая глаз. — Я отчетливо вижу ее, Альдо. Я всегда завидовала ее красноруму цвету, и мне было даже обидно за мои волосы. Ах, если бы ты мог воскресить ее звуки! А посмотри на эти желтоватые сле-

¹⁾ Род виолончели.

²⁾ Разновидность флейты.

³⁾ Род арфы.

⁴⁾ Старинный инструмент типа клавесина.

ды лака, они прозрачнее янтаря. Или вот, посредине ее остова позолота с полосками, точно у зебры, такая пышная и такая нежная, как шейка тропической птицы! А обратная сторона ручки обтерта твоей ладонью и вся побелела.

— А какая у тебя была чудная виола, когда ты пела, Мориччика, — продолжал Альдо, увлекаясь. — Она была построена на подобие корабельного остова, попеременно из темных и светлых дощечек; она была легче ореховой скорлупы. И отверстие было прорезано так тонко, что в нее едва-едва проникали лучи солнца, когда ты поворачивала виолу к свету, чтобы прочесть имя славного мастера.

Они стояли, прислонившись к шкафам, в каком-то забытии, не желая нарушать таинственный покой. Все как будто становилось музыкальным; и благодаря этому, узкая комната, в которой еще обитал дух давно умершей, терялась в бесконечной дали. Разве не от колокольного звона побелело небо, утомленное своим собственным блеском? И в те мгновения, когда они умолкали, с болот доносились первые звуки лягушечьего хора; и точно обманутые этим созвучием, белыми становились и воды. Белизна и спокойствие царили повсюду; покровы вечера, начинавшие расстилаться по этой реке забвения, еще едва были видны, хотя на кудрях их уже лежали легкие тени.

— Альдо, это небо напоминает мне слова из посвящения Книги Кантат может быть, написанные для меня при моей жизни; ты показывал их мне помнишь?

— Помню... «Само небо, как Творец Музыки, да будет тому свидетелем»...

— Творец Музыки!

— Это была книга Кантат Маццаферрата для одного голоса. И там была кантата на сегодняшний день, для этого часа: «Где с серебряной ножкой...» Она была в переплете из тисненого пергамента, гладкая, как коробочки для пилюль, а на оборотной стороне переплета было написано от руки: «Двойной пыл сжигает меня». Бумага хрупкая, мягкая, с обтрепанными полями, начинала тлеть по краям, как осенние листья. Помнишь? И эта книга должна быть здесь в шкафу.

Изабелла улыбалась мечтам юноши, и ее улыбка покоилась на маленькой ранке губы.

— Ванина, — сказала она, — почему ты не возьмешь свою виолу и не споешь нам песнь вполголоса?

— Канцону Тибо де-Шампань, короля Наваррского: «Любовь побуждает меня начать новую песнь», — сказал Альдо. — Или же английскую нежную песню Бэн-Джонсона, Трагика, что кончается такими словами: «О как бела, о как нежна, о как сладка, сладка, сладка она!» О чем ты задумалась?

Вана промолчала в нерешительности, как бы опасаясь, что потеряла свой голос, как бы думая, что заговорит другим голосом. И она ответила:

— Вы просите меня спеть, а я думала о словах другого твоего поэта, Альдо. «О ласточка, о сестрица, как можешь ты петь сегодня... Прошу тебя, умолкни, хотя бы на одну минутку!» Попросим лучше ласточек успокоиться немного.

— Ты права, — сказала Изабелла.

И действительно, крики птиц раздирали очарование самого долгого дня. По временам тучи пернатых пронеслись мимо окна, как стрелы в бешеной схватке.

— Как мне сегодня нравится твоя грусть, Вана, — сказал Альдо.

— Мне тоже, — сказала Изабелла.

Вана стояла, прислонившись к шкафу, склонив голову к резному дереву, опустив руки без перчаток, полузакрыв блестящую эмаль своих глаз длинными карими ресницами. Она напоминала человека, который, чувствуя, что теряет сознание, хочет удержать свою душу, как бы впиваясь в нее зубами. Рот у нее слегка скривился в улыбку, как это бывает, когда отведаешь едких трав.

— Иза, помнишь ту небольшую картину Чезаре дель Сесто, в прекрасной выцветшей раме, что мы видели во Франкфурте? — сказал Альдо. — Она изображала святую Екктерину Александрийскую, в зеленой одежде на фоне лесов, вод и гор, в то время как она кладет руки на зубчатое колесо пытки. Кончики ее худых пальцев прикасаются к зубцам жестокого орудия. И помнишь, в наши сердца проник музыкальный дух этой картины. Ты ска-

зала: «Ее пальцы так нежно дотрагиваются до колеса, словно это струны арпихорда»¹⁾.

— Да правда.

— Вана выглядит сегодня совершенно так же.

Паоло Тарсис молча слушал этот фантастический разговор. Выражение лица и голос юноши возбуждали в нем глухую ревность, а теснота комнаты, давившие на душу воспоминания о прошлом великолепии и все эти выдумки и нежности угнетали его. Ему иногда чудилась отдаленная равнина и спрятанная под железным и досчатым навесом громадная белая цапля, окруженная его механиками в синих блузах. И все эти музыкальные сны так волновали его, что в его воображении рождались образы туч и облаков, которые должны были придать небу, свидетелю его победы, столько страстной торжественности. А шум ласточек, пролетавших, как стрелы, мимо окна, напоминал ему свист пропеллера в воздухе и раздражал его мускулы.

— Как мне все это нравится! — сказала Изабелла, после короткого молчания. У нее был такой вид, точно она вкусила сочного плода и наслаждается им. Даже всем тонкостям мысли ее голос придавал оттенок чувственности.

— Ведь, мы останемся здесь? — сказал Альдо. — Ты снова вступишь во владение своим Парадизом? Сегодня ночью мы услышим самую громкую лягушечью симфонию; ведь мантуанские лягушки славятся своей музыкальностью и превосходят даже равеннских.

— Сегодня самая краткая ночь.

— И я не хочу спать.

И снова Альдо приблизился к сестре с изяществом пажа. Паоло беспокойно следил за ним. Он был так прекрасен, что оставлял далеко за собой обеих сестер. Его лоб над изогнутыми бровями напоминал чело молодого бога. И достаточно было раз взглянуть на него, чтобы, не отрываясь, невольно и беспрестанно глядеть на эту совершенную красоту. И поэтому, замечая, что все смо-

¹⁾ Арпихорд — старинный инструмент с клавишами и металлическими струнами, напоминавший по форме опрокинутую арфу.

⁴ д'Аннунцио, Может быть да, может быть нет.

трат ему не в глаза, а выше глаз, Альдо испытывал такое чувство, как будто голова его была украшена замечательным венком. И это чувство еще более усиливало вдохновенность его зора и легкость его движений.

— Разве уже пора уходить? — спросила Изабелла. И она еще раз обвела взглядом резной потолок, под которым все еще жужжала забытая пчела, воображая, вероятно, что она около улья.

И в промежутках между узорами Изабелла снова прочла свое имя, благородный девиз, Альфу и Омегу, загадочное число XXVII, нотные знаки, увидела канделябр, треугольной формы, перевитые сиглы, пучек белых листков. *Nec spe nec metu!*¹⁾ Но я надеюсь на то, чего боюсь, и боюсь, на что надеюсь.

— Это для тебя написан мадригал Джероламо Белли д'Арджента, который Вана споеет тебе: «Волны моих мыслей несут мое сердце — то к берегам надежды, то к берегам страха», — сказал Альдо.

Мечты их тускло оборвались. И светлые глаза встретились на мгновение.

— Что означает число двадцать семь? — спросила Вана, которая в своем волнении с суеверным беспокойством следила за приметами и предсказаниями.

— Не помню, — ответила Изабелла. — Но я, может быть, никогда не забуду этого числа.

И она взглянула на того, кто хранил молчание, желая напомнить ему, что двадцать семь — число наступающего великого состязания на Дедаловом празднике. И взгляд этот приказывал ждать, содержал обещание: «После»; и для него он был, как колышющиеся флажки на пилонах воздушного ристалища.

— А связка листков? — спросила Вана.

— Это листки азартной игры, — ответил Альдо, — которые вынимаются из слепой урны рока.

— Они белые?

— Да, белые.

— Уступи мне этот девиз, Изабелла, — сказала Вана.

— А не лучше ли девиз Пауз? — сказал Альдо.

¹⁾ Без надежды и без страха.

— Какой такой девиз Пауз?

— Вот те музыкальные строчки; этот девиз милее всех, Изабелла.

— Ты умеешь толковать картины, прочти же его.

Юноша повернулся и вспрыгнул на широкий подоконник, чтобы быть ближе к карнизу, который тянулся вдоль резного потолка и изображал кольца, розетки, ленты, испещренные всеми девизами, за исключением девиза Пауз; последний повторялся один в тонком орнаменте.

— Если я не ошибаюсь, это ключ контральтовый; дальше идут знаки четырех темпов; затем знаки трех пауз, понижающихся так: двойная, тройная, половинная, дальше пауза, равная миниме; потом снова три паузы в обратном порядке, и, наконец, знак двойного ритурнеля.

Все смотрели задумчиво вверх; светлые глаза старались вчитаться в надпись.

— Это означает молчание, — произнесла Вана.

— Песнь, которой ты не споешь, Мориччика, — произнес брат, не слезая с подоконника, протягивая ей руку и прикасаясь к ее плечу.

— Что за удивительный и в то же время глубоко-мысленный девиз! Иза, ты любила его больше всех других, так что даже на празднике Лукреции Борджа при Феррарском дворце ты появилась одетой в платье, «вышитое этим измышлением темпов и пауз».

— Он и теперь дорог мне, — промолвила волшебница, — он означает то, чего я не сказала, не говорю и не скажу никогда.

Стоя в профиль, она улыбалась, наполовину теряясь в тени.

— С этого дня я снова делаю девиз Пауз своим, — добавила она. — Ну, идемте.

И она повернулась, чтобы пройти в соседнюю комнату.

— Но как мы ее не заметили?! — произнесла она, вскрикнув от удивления, и остановилась.

Перед ней была маленькая мраморная дверца, украшенная геммами, резьбою напоминавшая резьбу дарохранительницы, вышедшей из рук ювелира; барельеф из черных и светлых кругов придавал ей погребальный харак-

тер, точно она вела к гробнице одной из мантиуанских куртизанок, быть может, Ливии или Делии, умершей от поцелуев. Фриз в виде грифов тянулся поверх архитрава; в глубине каемок блестели золотые песчинки, точно в них были вкраплены авантюрины; и фигура в ниспадавшем складками пеплуме, с флейтой Пана в руках, была фигурой Музыки и фигурой Изабеллы. Но кто была та обнаженная женщина на барельефе внизу, опирающаяся на человеческий череп, с закрытыми книгами на голове?

— Вот еще темная аллегория, как и девиз Пауз, — сказал Альдо и стал на колени, чтобы взглядеться в рисунок. — Ты сама внушила ее Тулло Ломбардо?

Опираясь на его плечи, она наклонилась и смотрела.

— Она похожа на тебя, — добавил вполголоса брат.

— Да, правда, — покорно согласилась она.

И оба, не торопясь, продолжали смотреть. Ревность опять кольнула сердце того, кто хранил молчание.

У фигуры, вырезанной в виде камеи, тоже были длинные гладкие ноги; одно колено было выдвинуто вперед, и она шла той легкой походкой, что придавала столько гибкости движениям молодой женщины, под узкой юбкой которой каждый шаг обрисовывал контур бедра и колена.

— Альдо, Альдо, прогони ее!

И она выпрямилась, отмахиваясь руками от невидимой пчелы, которая жужжала около ее щеки. Она перескочила через порог, и под золотым потолком продолжались ее крики, так как пчела неотступно преследовала ее, не обращая внимания на отчаянные жесты.

— Ай! Она ужалила меня!

Раздраженная этими беспорядочными движениями, пчела уколола ее в большой палец левой руки.

— Мне больно! — кричала Изабелла. — Альдо, полюби меня!

Альдо больше не смеялся. Он прильнул губами к протянутой руке Изабеллы.

— Так, так.

Альдо еще сильнее сосал кровь из уколотого пальца.

— Довольно!

И она захохотала, а возбужденному Паоло смех ее казался смутным отзвуком смеха, огласившего берега ка-

нала, по которому плавали кувшинки, после того как они счастливо миновали нагруженную бревнами телегу.

— Довольно. Почти прошло. Только жжет немного.

Глаза Ваны злобно горели. А Изабелла наполняла всю комнату своим весельем, перебегая с места на место с такой легкостью и с таким изяществом, что казалось, из нее излучались золото и лазурь; так павлин распускает свой усыпанный звездами хвост.

— Я узнала, узнала! Разве не здесь стояли шкафы, наполненные моими самыми прекрасными платьями? Разве они не были обиты алым бархатом? — спросила она, обнаружив на одной дверце кусочек драгоценной материи.

— Ведь я же оставила здесь свои парчевые, свои атласные, свои муаровые ткани?

— Изабелла! Изабелла!

Альдо читал имя герцогини на обвитых оливковыми ветвями табличках.

— Ты, ведь, и тогда была самой изящной женщиной Италии, — говорил он своим вкрадчивым голосом. — Теперь твои конкурентки: Луиза Мерати, Оттавия Сантеверино, Доретта Ладдини; тогда же ты соперничала с Беатриче Сфорца, с Ренатой д'Эсте, с Лукрецией Борджа. В те времена маркиза Котроне просила тебя о модели нарядки, как теперь Джачинта Чези просит тебя о модели мантилии. Что были по сравнению с твоим гардеробом Ипполиты Сфорца, Бианки-Марии Сфорца, Леоноры Арагонской? Но, правда, Беатриче Сфорца причиняла тебе постоянные тревоги. Подумай, за два года она сделала себе восемьдесят четыре новых платья! А ты в прошлом году на все четыре сезона заказала их себе девятью три. А у Лукреции, когда она выходила замуж за Альфонса, было двести удивительных сорочек! Но ты превзошла и ту и другую. Ты у своих миланских и феррарских корреспондентов требовала подробнейших донесений о состоянии гардероба обеих герцогинь, чтобы не оставаться позади. Уже тогда ты придумывала разные новшества. Ты изобретала моды. Ты ввела в обиход коляски в Риме. Ты с ума сходила от изящных новинок. Ты напоминала своим поставщикам, чтобы они из-под земли добыли тебе

что-нибудь элегантное. Ты и тогда любила изумруды, и у тебя был самый прекрасный камень того времени. У тебя были дела с ювелирами в Венеции, Милане, Ферраре. И тебе недостаточно было владеть самыми редкими камнями, ты требовала, чтобы они были прекрасно оправлены в кольца, ожерелья, пояса, запонки, браслеты, цепочки, бахромки, печатки. Твоим любимым ювелиром был крещеный еврей, по имени Эрколе де-Федели, неподражаемый в своей чеканной работе, в работе черной; это им, может быть, была изготовлена знаменитая шпига Чезаре Борджа, хранящаяся во дворце Каэтани, и шпига маркиза Мантуанского, та, что находится в Лувре.

Казалось, он испил четырехсотлетнего вина из какой-нибудь халкидоновой или яшмовой вазы, украшенной золотом, которых так много хранилось у Изабеллы д'Эсте в шкафах Грота при Старом Дворе¹⁾. Он опьянел от воспоминаний и испытывал какое-то нездоровое наслаждение, смешивая настоящее с прошедшим, переплетая изысканную и интимную жизнь того времени с действительностью. И как будто желая перестать существовать в настоящем, Изабелла вторила ему с неподвижным взглядом и с неподвижной, гипнотизирующей улыбкой.

— Припомни еще что-нибудь! — твердила она, когда Альдо останавливался, как будто он действительно обновлял в ее памяти картины прошлой жизни, а не творил новые.

— Для Екатерины Чибо, герцогини Камерино, в Мантуе под твоим наблюдением шились наряды, как теперь Джачинта Чези ни за что не пойдет без тебя к своей портнихе.

— Припомни еще!

— Когда ты была во Франции, все восхищались тобой, как и теперь парижанки пожирают тебя глазами, когда ты выходишь из театра, или появляешься в модном салоне. Даже Франциск I попросил у тебя несколько платяев для подарков своим придворным дамам; а твоя соперница Лукреция Борджа принуждена была обра-

¹⁾ «Казино делла Гротта» — домик в саду при «Палаццо дель Та», другого мантуанского дворца.

титься к тебе с просьбой дать ей веер с золотыми палочками и черными страусовыми перьями, после бесплодных попыток воспроизвести твою прическу в виде тюрбана, ту самую, с которой ты изображена Тицианом.

— У меня были такие же каштановые волосы?

— Да, каштановые, с очень светлым отливом, а так как ты столько времени причесывала их пышно, тюрбаном, то теперь ты сплетаешь их в две косы вокруг головы, сжимаешь их гребешками, и головка у тебя поэтому маленькая-маленькая, но так она мне нравится гораздо больше.

— Красивые руки?

— Теперь они еще красивее: они у тебя похудели и сделались длиннее. На портрете Вечелли, где у тебя кольцо на указательном пальце, на твоей правой руке пальцы тонкие, но пясть немного пухлая. Ты отыскивала самые маленькие, самые острые ножницы, самые тонкие напильнички, чтобы ухаживать за своими ногтями. А перчатки ты заказывала себе в Оканье и в Валенсии, самые мягкие и самые пахучие перчатки на свете.

— Ведь, я и тогда любила духи.

— Ты с ума сходила от них. Ты сама изготовляла их. Ты хотела заслужить прозвище «совершенной парфюмерщицы». Твои «изготовления» стояли на недосягаемой высоте. И каждый умолял тебя уделить ему хотя бы флакончик. Ты дарила их королям, королевам, кардиналам, принцам, поэтам. А когда твой Федерико¹⁾ жил во Франции, то всякий раз, как он просил у тебя денег, он просил также прислать ему духов, и не знаю, что ему было нужно чаще.

— Ты, ведь, правда, был тогда Федерико? Я узнаю тебя.

Оба громко рассмеялись, взявшись за руки и заглядывая друг другу в светлые глаза.

— Но сплошь да рядом, вместо денег, ты присылала флакончик, так как у тебя была уйма долгов.

— О нет!

¹⁾ Сын Изабеллы, впоследствии герцог Мантуанский Федерико II (1519—1540).

— Да, да! Ты по уши была в долгах, ты утопала в них.

— Федерико!

— У тебя постоянно было безумное желание скупить все, что тебе нравилось; а платить оказывалось нечем. И в результате — долги за долгами.

— Неправда.

— Ты задолжала даже Его Святейшеству, и Сермонете, и Киджи... Я все знаю. Ведь, сохранилось твое письмо к Триссину: «Крайняя нужда в деньгах»...

— Из меня выжимал все соки Федерико.

— ... «вызванная тем, что я еще не вернула большого количества дукатов, взятых взаимобразно...»

— Федерико!

* *

— И ты закладывала свои драгоценности.

Они смеялись, как дети, и их неудержимая веселость разрушала очарование, и в их глазах светилась плутовская улыбка, точно они были одни и забыли о тех двух, которые, стоя в амбразуре окна, присутствовали словно при игре мимов.

— А маски, а маски?

— Какие маски?

— Как ты любила их! Ведь сколько их изготовлялось в твоей Ферраре. Ты отправила целую сотню герцогу Валентино; подумай, сто масок для Чезаре Борджа!

— Мне это очень нравится! — сказала Изабелла, вдруг изменив тон, потому что она чувствовала за собой растущее раздражение безмолвных Паоло и Ваны и опять была готова мучить их. — А что, если ты найдешь в шкафах завалявшуюся маску?

— Старую маску, старое платье и старую цепочку. Конечно, открывай!

Она открыла один из шкафов: затхлый запах оттолкнул ее.

— Там все полно паутины, — сказала она и захлопнула дверцу.

— О нет, это вероятно только замечательные вышивки

той маленькой гречанки, которую тебе подарила Костанца Авалос.

И это была последняя улыбка их фантазии: из открытого шкафа пахло грустью и вместе с нею духом Пауз, песней без слов, горением, лишенным гармонии.

— Идемте, идемте.

И она прошла в дверь с геммами, через золоченый ящик клавиатура без клавишей, и по лестнице в тринадцать ступенек спустилась вниз. Остальные молча следовали за ней. Гулко звучали их шаги по длинному белому коридору, по другой пустой лестнице, по темному зеленоватому залу, напоминавшему морскую пещеру с нишами на подобие раковин. Дверь скрипнула на ржавых крюках, и сквозь изодранную паутину им навстречу сверкнула вечерняя звезда. Вдруг им показалось, что паутина ожила с обоих концов, это они спугнули черную летучую мышь и серую ящерицу, которые лежали на камне около двери и теперь встрепенулись.

— Очарование все возобновляется, — вздохнул Альдо, и, подойдя к открытой галерее, он глубоко втянул в себя воздух. — Неужели красота не сжалится над нами, не даст нам передохнуть?

И все наслаждались небом Виргилия, разливавшим свое неизмеримое спокойствие на взволнованные сердца.

— О бесконечный день!

От ив и тростников пахло прохладой, словно из рта лесного божества, которое утолило жажду в ледяном лесном ключе большими глотками, не утираясь.

— Что же мы будем делать?

Теперь они все поднялись на окруженное железной решеткой возвышение, откуда открывался вид на болотистую равнину. Позади них в полной тишине покоился громадный двор, служивший раньше для турниров, а теперь заброшенный и поросший травой, с колоннадами по бокам, под которыми некогда раздавалось эхо дико ржавших арабских коней. Перед ними растекался безупречно чистый воздух, как в каком-то ином мире, свободном от тени; и волны света звенели, теряясь под куполом неба.

— Сестра, сестра, ты разве не видишь?

Какое-то бесплодное волнение опустошало душу юноши, а потом внезапно наполняло ее безудержно, как толпы закованных в латы рыцарей, с криками появляющихся неизвестно откуда и наводняющих землю.

— Иза, у тебя рука из чистого мрамора!

И в самом деле, восхитительны были ее обнаженные, словно отточенные руки, покоившиеся на ржавых перилах: воистину мраморные, как будто в них не было ни капли крови, и какое-то высшее искусство преобразило их. Она вся трепетала, волновалась от печали, желаний, воспоминаний, от неясного страха и неясных надежд, а руки ее были безжизненными руками статуи.

— Тебе еще больно от укола?

— Нет, только жжет слегка.

— Ты поранила себя два раза. Жди третьего.

Мраморная рука сделала жест, как бы молясь красному, светлому вечеру, и затем нежно прикоснулась к губе, на которой уже больше не было видно крови. В неподвижном серебристом воздухе опять пронеслись тучи ласточек. Голова Альдо склонилась на плечо любимой сестры. Он ждал дара, сам не зная какого, и не получал его. И громок был вопль души его, хотя незначительны были слова:

— Что мы будем делать? Вы меня запрете там, в гостиной? Но я не хочу спать.

Паоло Тарсис всматривался в лицо этого молодого развенчанного бога, которого так жестоко мучили человеческие страсти. И, глядя на красоту этого юноши, беспокойную, как лихорадка у выздоравливающего, он все сильнее досадовал на свои тридцать пять лет, закаленные в лишениях и в опыте жизни. От всякого движения юноши, обращенного к сестре, ему становилось не по себе.

— Приходи ко мне на равнину, — сказал он.

— Чтобы бодрствовать, как Икар, перед полетом?

— Чтобы дожидаться зари.

— Под крылом твоей большой цапли?

— На заре я совершу пробный полет. Первые и последние звезды благоприятствуют моему искусству.

— Вesper — твой добрый гений?

Альдо не смотрел на создателя крыльев, но, прислонившись головою к плечу Изабеллы, не отрывал взора от неба Виргилия. Чистота разливалась кругом, как в самой божественной эклогe поэта. Неподвижны были тростники, камыши и красные головки мака, и неподвижно было зеркало вод. И только хор лягушек своим ритмом, подобным вибрациям света, напоминал о движении.

— Существует ли более чистое небо? Сегодня вечером ты бы мог улететь в бесконечность. Ах, научи меня!

Как во сне, он повернулся и поглядел на Тарсиса. И он снова увидел отпечаток смелой воли во всем его теле, желчное лицо, изможденное стремлением к победе, молниеносные зрачки хищника, резкие клинообразные черты лица, созданные для устранения препятствий, и твердые челюсти, на которых еще резче выделялась краснота губ, как мягкий плод в стальных тисках. Внезапный страх овладел им, ибо Тарсис не был ему ни учителем, ни другом.

— Я научу тебя, — сказал Паоло Тарсис, с некоторой снисходительностью, как будто говоря с ребенком, просящим игрушку, и улыбнулся.

Вдруг в глазах Альдо потемнело, шум наполнил его уши, и сердце забилося нестерпимо. Улыбка Тарсиса обнаружила между двумя зубами тонкую струю крови, едва заметный сгусток и легкую белую опухоль на приподнятой от улыбки губе.

— Альдо, что с тобой? — спросила Вана. — Как ты победнел!

С быстротою молнии в его воображении обрисовалась картина дикого поцелуя.

— Я выгляжу бледным? Это просто от освещения. Со мною ничего нет особенного. Вы также кажетесь бледными.

Но он не мог подавить слепой страх. Какая-то слабость растекалась по его телу. Он наклонился над перилами, и ему казалось, что сердце его бьется о железо, как молот о наковальню. Неистовые ласточки улетели и пропали где-то над болотом, а ему слышалось,

что они возвращаются к галлерее, как шумная всепокрушающая сила, которая должна увлечь его в своем вихре. И за эту минуту ожидания он вспомнил самые отдаленные моменты своего детства. А затем стремительный полет птиц потряс его истерзанную душу.

«Прощайте! Прощайте!» — повторял он про себя, не отдавая себе отчета, как это слово складывалось в нем и отделялось от сердца; это был какой-то внутренний стон, похожий на нечленораздельные звуки, исторгаемые пыткой из трусливого тела. «Прощайте! Прощайте!»

Он несколько собрался с силами, чтобы оправиться и скрыть свое волнение; он выпрямился и повернулся, делая вид, что хочет осмотреть заброшенный двор, поросший травой; потом осторожно сделал два шага по направлению к двери, которая начинала завлакиваться мраком. Он чувствовал, что в груди его накапливаются слезы отчаяния. Безумное желание исчезнуть охватило его, и он побежал вдоль незнакомых стен, от одной двери к другой, по коридорам, из комнаты в комнату, теряясь в разрушавшемся лабиринте. Сначала он бежал задыхаясь, с трудом различая дорогу, как человек, на котором загорелось платье, и который пылает все сильнее от быстрого бега. А затем все эти остатки мертвой старины выступили из мрака и напали на него, черпая силу в его горе: и громадные красные тела на батальных картинах напоминали своими движениями охватившую его тревогу; трещины, щели, кучи мусора как бы говорили о его собственной гибели, а золотые узоры потолка, потрескавшиеся и нависшие над его головой, знаменовали конец его величественных мечтаний. И он продолжал бежать от одной двери к другой, по коридорам, из комнаты в комнату, теряясь в разрушавшемся лабиринте. Иногда, как порывы бури, его настигали крики с болота, шум пролетающих птиц, звон вечернего благовеста, и сильнее всего — стон его собственной души. «Прощайте! Прощайте!»

Ночной мрак проникал не извне, но рождался в самом дворце, вытекал из каждого углубления, заполнял все ниши, возрастал, как кучи темного пепла, становился все непроницаемее, как безмолвная толпа людей. Здесь дверь

шептала угрозы, там лестница была исполнена ужаса; какой-то коридор открылся на подобие пропасти.

— Изабелла! Изабелла!

Гулкое эхо ответило ему, как из пещеры. Но вслед за этим тишина еще увеличилась и стала более грозной и разнообразной.

— Изабелла!

Никто не отозвался на крик, который прозвучал слабей, изнемогая. Сквозь расщелину в потолке виднелось фиолетовое небо; в темноте бесшумно порхали летучие мыши. Какие-то ледяные струи пронизывали мрак, как будто через щели в стене просачивалась вода из застывших прудов.

— Изабелла!

И теряясь в заброшенном лабиринте старого замка, он спотыкался о неровности пола, об обломки балок, дрожа переступал через пороги, ощущая холодные стены, в лихорадочном ужасе ожидая столкнуться с чем-то таинственным. И ужаснее всего — образ дикого поцелуя, кровавого наслаждения, открывался перед его умственным взором и исчезал, как кошмарное видение больного. Ведь, может быть, там, где он сейчас стоял, или где он только что пробежал, их уста слились в жестоком поцелуе. И в его слабой груди волновалось море слез, заливая его беспредельную душу. Чтобы сдержать рыдания, он повторял то имя, которое еще так недавно звучало в его смехе, как рассыпающиеся зерна развязавшегося ожерелья.

— Изабелла!

— Альдо, Альдо, где ты, где ты? Ты заблудился?

Он вздрогнул, услышав голос, полный мучительной тоски, который так хорошо отвечал его собственной муке. Он обернулся и в глубине мрачного коридора заметил какую-то тень, отделявшуюся от тени.

— О Вана!

И они бросились друг к другу навстречу. Они не могли произнести ни слова, так как рыдания душили обоих. Кругом никого больше не было, только где-то слышались осторожные шаги старого сторожа. И не глядя друг на друга, они крепко обнялись в безысходном отчаянии.

2.

В это время латиняне вспоминали о давно забытом первом крыле человека, упавшем в Средиземное море, о крыле Икара, созданном из ореховых прутьев, из сухого воловьего тука, из перьев хищных птиц.

«Пылай, крыло, на море одиноко»

воскликнул поэт, охраняя достоинство своего народа¹⁾.

«Кто воскресит его? Скреплением лучшим

«Кто воссоздаст разбросанные перья

«Для нового, безумного полета?»²⁾

И они вспомнили о видении второго Дедала, создателя образов и машин, Прометея, не познавшего пытки, того, кто заключал в себе корень и цвет совершеннейшей воли³⁾, о коршуне, посещавшем его колыбель; и колыбель эта казалась им гнездом сверхчеловеческих желаний, повисшим над бездной неизвестного. И, сверкая как слава, над холмами, над озерами, над полями прекрасной Италии появились новые крылья людей, обогранные кровью бесстрашных; они раздирались, как человеческие тела, дробились, как кости, падали недвижимые, как сама смерть, оставаясь бессмертными, как жажда полета в человеческом духе.

Варвар Германец⁴⁾ осмелился вызвать из моря тень Икара, придал ивовым прутьям изгибы жизни и покрыл легкий остов еще более легкою тканью, изучил ветер и вдумался в слова Предтечи: «Этому созданию недостает только души птицы, — поэтому необходимо последнюю заменить душой человека». И он это сделал, взвился на воздух, полагаясь только на свою живую силу, пролетая ежедневно все дальше, поднимаясь все выше, пока, наконец, не обрел смерть на суровой почве Германии,

¹⁾ Д'Аннунцио цитирует свой собственный сонет «Крыло над морем» из сборника стихов «Альчоне» (1908).

²⁾ Перевод Н. С. Гумилева.

³⁾ Леонардо да-Винчи.

⁴⁾ Отто Лилиенталь († 1896).

как некогда Афинянин связал со своим цветущим именем лазурь эллинских волн.

Появились ученики, подобрали обломки, построили новые машины, улучшили их; они скрывали свой секрет в отдаленных, пустынных, холмистых местах, и не один раз крепко натянутое полотно и соединенные прутья оросились алою кровью.

Надежда на победу над выпуклым небом возросла и окрепла не на светлом юго-востоке Средиземного моря, а под неустанным ветром океана. В стужу зимнего утра, над обнаженными дюнами, окаймляющими океанскую бухту, наконец, свершил чудо. Два молчаливых брата, сыны мирного Огайо, неутомимые во все новых и новых попытках, укрепили упорство своих сердец мощью двух пропеллеров, чтобы даровать движение крылатой машине¹⁾.

И теперь латиняне приходили на помощь. Новый аппарат, казалось, возвышал человека над роком и не только давал ему небывалую власть, но даже наделял его шестым чувством. Как молниеносная колесница, сотканная из огня и железа, победила пространство и время, так создание Дедалово к этим победам присоединило победу над силою тяжести. Один за другим рушились запреты Природы. Алмазный взор дерзаний смело впивался в темную маску таинственного. Демон соревнования приводил борцов до края самых глубоких обрывов. Смерть обратилась в Цирцею, но в другом роде: своими опьяняющими напитками эта солнечная волшебница обращала жалких в героев. Возрождались священные летние игры, как в то время, когда вся Эллада устремлялась к венку из масличных листьев. В каждом крике толпы было начало нового гимна: шум рассекаемого ветра обрывал его на первом слог.

Человек готов был бороться с ветром и с соперником в воздухе; но не бронзовый диск был теперь его оружием, а крыло из тонкого полотна. Небесный купол образовывал над равниной беспредельное голубое ристалище, ограниченное облаками, горами, лесами. Толпа шла на

¹⁾ Братья Райт.

невиданное зрелище, как будто ожидая преобразования человеческого рода. Опасность стала как бы осью, вокруг которой вращалась высшая жизнь. Чело каждого должно было подняться ввысь.

Точно собираясь решать вопрос о войне и мире, стекались громадные толпы людей. Местность походила на арсенал, или крепость. Длинный ряд ангаров, сколоченных из балок и наклоненных досок, напоминал те палатки, под которыми в былые времена прятались разоруженные или чинящиеся галеры. Над мачтами, над высокими пирамидальными пилонами, над сторожевыми башнями развевались разноцветные знамена и флаги, как на особо торжественных праздниках. И, подобно старинным щитам городских пехотинцев, кровли сверкали веселыми красками: национальными цветами разных народов, знаками мастерских, именами небесных кормчих.

Изображая вечность среди всего преходящего, внося совершенство красоты во все эти безыскусственные постройки из свежего дерева, в центре поля над римской колонной возвышалась благородная статуя Победы, покрытая слоем веков, пропитанная духом земли. Ее освободили из мрачной темницы музея, наполненного жертвенниками, плинтусами, чашами, спустили вниз по заросшим травой ступеням, и она явилась сюда не на триумфальной колеснице, но на простой деревенской телеге, на плаустрине римских землепашцев, запряженном шестеркой упрямых ломбардских волов. По пути на родину Виргилия ее сопровождал смелый народ. И водруженная на коринфскую капитель, с облупившимися листьями аканта, она жила теперь снова под небом Италии, как тогда, когда ее молодая голова, могучие плечи и вершина орлиного крыла украшали фронтон храма, построенного у подножья Киднея Флавием Веспасианом, основателем амфитеатров. Зеленая, как лавр, желтая, как лист дикой маслины, она на своем стройном пьедестале, с глубокими канелюрами, протягивала вперед таинственным жестом руки с обрубленными пальцами, на которых еще блестели остатки римского золота.

Новые борцы не узнали ее, не поклонились ей, но они боялись ее, как препятствия для полета. Все смо-

трели только на мачту сигналов и на развевающиеся на ней флажки.

— Какой сегодня ветер? — спросил Паоло Тарсис, наклонившись над своей машиной и испытывая напряжение стальных нитей, между тем как главный механик, пустив в ход мотор, внимательно прислушивался к шуму семи цилиндров.

— Больше десяти метров в секунду, — ответил Джулио Камбиазо, посмотрев на семафор и заметив белый диск рядом с черным и красным квадратом. — Сегодня не будет полета.

Из-за ограды доносился крик нетерпеливой толпы.

— А что, если мы попытаемся? — сказал Паоло Тарсис.

Он вышел на порог ангара, взглянул на колыхавшиеся сигнальные значки и стал пристально исследовать пространство своими глазами охотника и моряка. Дул свежий юго-западный ветер; небо было величественным небом морских сражений, когда нос и флаг корабля, подобно облакам, проникнуты героизмом. Под огромными светлыми облаками темной вереницей тянулись к озеру Гарда синие горы, а на горизонте обрисовывались волнообразные линии покатых холмов, и блистала серебристая линия топей на границе Гедской равнины. Воздух был пуст и безмолвен. Ни одна птица не пролетала по нему, не было слышно ни одного птичьего крика. Природа ждала человека.

— Ветер стихает, — сказал Паоло. — Я сегодня постараюсь победить Эдгара Гауланда в продолжительности, скорости и высоте полета.

— Я тоже, — сказал Джулио Камбиазо.

И они взглянули друг другу в благородные глаза, улыбаясь — соперники и братья. Их братская дружба началась в самой ранней молодости на палубе военного корабля; тогда они, еще совсем юные офицеры, в начале каждой весны надеялись, что вот, наконец, настало время направить пушки бронированных башен на настоящую военную цель, а не на учебную мишень в Гаэтском рейде. Они закрепили свою дружбу в аду подводных лодок, где для человека есть только два поста: пост

управления и пост борьбы, среди копти горелого масла и паров бензина; они вместе задыхались в соединениях водорода и кислорода, порождаемых электрическими аккумуляторами, подвергались постоянной опасности погибнуть от взрыва, внезапно погружались в темноту, вызванную коротким замыканием тока. Здесь в постоянной борьбе внимания с усыпляющей атмосферой угольного ангидрида, в молчаливом наблюдении за стрелкой указателей в течение долгих часов, долгих, как дни, прислушиваясь к голосу аппаратов и рычагов, они приобрели чувство третьего измерения, управляя устойчивостью лодки, которая от малейшей причины поднимает нос из воды, или стремительно опускается на дно.

Но, не вынеся внешней дисциплины и мечтая о более свободной деятельности, они одновременно вышли в отставку и предприняли большое путешествие по Дальнему Востоку. Они проехали всю Корею, Китай, Монголию, обогнули Великую Стену, взбираясь на горы, подымаясь вверх по течению рек, пересекая степи, останавливаясь то здесь, то там, внутри страны или в прибрежных городах; затем по Филиппинам, по Архипелагу, Зулу, по Австралии они совершили свой великий морской путь вокруг островов; изучали быт туземцев в Торресовом проливе; затем через Тасманию, Индию, Аравию достигли Египта. От души и тела они требовали все возможное, и даже сверх того. Решительность обратилась у них в инстинкт, подкрепляемый быстротой мысли; выносливость точно срослась с ними, как спинной хребет; они закаляли себя в холоде и зное, нося легкие одежды, как на жестоких Корейских снегах, так и под тропическим зноем Минданао. И в четыре дня они покрыли сто тридцать миль в безлюдном Алтае, безо всякой пищи; в тридцать два часа пешком прошли около восьмидесяти миль на острове Негрос, чтобы во время наступить на берегу моря испанскую шхуну, которая вернулась бы только через полтора месяца. В течение недель, не чувствуя утомления, они по восемнадцати часов в сутки верхом пересекали степи. В приключениях, в труднейшей борьбе они приобрели ловкость, которая

умножает силы, указывая, куда и как направить их. Они изучили анатомию и знали, в какое место тела наносить удары. Один из них поднял в индийском храме невероятно тяжелый камень только потому, что знал, как сохранить его равновесие. Он же придумал своим рукам такую гибкость, что, будучи закован в цепи на острове Люсон, высвободил их из железных пут; а в пальцах выработал такую силу, что они могли давлением своим показать девяносто восемь английских фунтов и раздробить самую крепкую кость. И тем не менее, сколько раз, когда воля и тело уставали от путей земных, они тосковали по очарованию подводной лодки и снова переживали молчаливые дни под поверхностью моря.

Сколько раз при виде самых сказочных зрелищ они вспоминали незабываемые минуты военных маневров: лодка подымается из воды, волны ударяются о палубу, стук моторов, вспышки пламени в металлической каюте; над поверхностью виднеется капитанская рубка, высматривающая врага; затем — только застекленная верхушка рубки на-стороже; вот вся лодка скрылась под водой, за исключением перископа с его чудовищным стеклянным глазом; наконец, все исчезло, направление установлено, цель выверена, в носовом отделении готова торпеда; роковая погоня в подводной тишине, скрытое нападение на киль гигантского корабля!

Как-то случайно в Каире, около городской бойни, они натолкнулись на странного человека, с легкой полотняной повязкой на голове. Не моргая, как будто его глаза были защищены третьим веком, он смотрел на ослепительно-яркое небо, наблюдая полет воронов, коршунов и ястребов, которые кружились на большой высоте. Был ли это неистовый авгур? Нет, это был орнитолог, стремившийся похитить у хищных птиц секрет полета без взмаха крыльями. Имя его было Леон Дорн.

— Некоторое время оба друга вместе с ним ревностно предавались новым исследованиям. От управления подводными судами они обратили свое чувство трех измерений к небу.

— *Alis non tarsi*¹⁾, — говорил бескрылый птицевед, делая каламбур из фамилии Паоло.

О вы, острые утесы Мокаттама, ярко-белые, как алебастр мечетей, где по утрам рыжие ястребы сушат на солнце свои покрытые росой перья и заботливо чистят молодые перышки, время от времени расправляя крылья, чтобы испытать их крепость, а чуть слышат дуновение ветерка, вдруг устремляются вниз, как брошенный пращею камень, без единого взмаха, и сразу взвиваются кверху и затем спускаются, держа клюв по ветру, и крутятся в воздухе, и неподвижно застывают в вышине, и снова поднимаются, и снова спускаются, не взмахнув ни разу крыльями! Зеркало Мареотидских болот, покрытое крупными плавучими кувшинками, которые вдруг взлетают с шумом, напоминающим крики испуганных лебедей: это — пеликаны, красноглазые, важные пеликаны, с полосатым зобом, как листья георгины, и раздаются их крики, хриплые, как хрип умирающего, и хруст широких лап, оседающих на илистую отмель; и снова громкий шум, когда, спрятав шею в плечи, как цапли, они устремляются еще выше, против ветра, сменяя степенность болотных обитателей на воздушную грациозность, и не на веслах, но на парусах плывут поверх облаков! Беспрерывные сыпучие ландшафты Барари, заросшие тростником, тамарисками и соленой травой, там и сям перерезанные грудками кирпича и черепков, забытыми развалинами царственных городов, утративших свои имена и обратившихся в бесчисленные гнезда новых династий — воробьев, где над сборищами водяных птиц реет гриф, исследуя берега каналов, не прибудет ли к ним течение труп буйвола; а между тем, ястребы и вороны — тени смерти — стремительно проносятся, словно влекомые всеведущим голодом к неведомым полям, усеянным трупами у крайних пределов пустыни! Страстное горение пустыни, видимое дрожание пламени над волнующейся засухой, пространство, насыщенное электричеством и ожиданием, когда одинокий орел взлетает с красных башен Хамсина и в одно

¹⁾ Вместо *alis non tardis*, то-есть не на медлительных крыльях.

мгновение исчезает из глаз человека, подобно миражу из песка и душевной тоски!

— *Alis non tarsi*.

Целыми днями оба друга не сводили глаз с этих зрелищ, мечтая о подвигах в воздухе. Затем, вернувшись на родину, они с пылким упорством принялись за дело.

Сначала они занялись постройкой простых машин, настоящих созданий Дедала, лишенных двигательной силы, подобных машинам первых исследователей, которые держались сопротивлением воздуха и сохраняли равновесие только благодаря инстинктивным колебаниям повисших над землею предметов. Местом для своих испытаний они избрали в Лациуме плоский туфовый утес Ардеа, прозванный так по имени высоко летающей птицы, художественное создание природы: там некогда возвышался итальянский замок царя Турна. Выбрать лучшее место для опасного опыта они не могли. Все в этой старинной стене города, основанного кучкой аргиев, которых к берегу прибил южный ветер, говорит о величии и силе; долина Инкастро — это раковина, полная того же безмолвия, которым залиты пустые гробницы древних рутулов; кольцо из гор — от аричинских до ланувинских, от альбанских до велитернских, подобно циклу окаменелых мифов; кажется, что в эпическом сиянии дня движутся духи славных поколений, и громадные квадратные утесы как бы покоятся на словах Вергилия: *Et nunc magnum manet Ardea nomen*¹⁾.

Более чем где-либо в другом месте, оба друга почувствовали, какая радостная работница — смерть.

После ряда испытаний, неудачных и успешных, они построили легкую и мощную машину, тень которой напоминала тень цапли. И они дали ей прекрасное итальянское имя: Ардеа, а вместе с именем — стремление подняться за облака.

И теперь две одинаковые машины трепетали в двух смежных ангарах, дожидаясь приказаний человеческой воли.

¹⁾ И теперь остается великое имя «Ардеа» (Вергилий. Энеида. Песнь 7, стих 411; правильное чтение: *tenet* вместо *manet*). Слово *ardea* означает «цапля».

— Нужно отправляться, прежде чем поле будет заполнено пылятами, — сказал Паоло Тарсис, намекая на многочисленные шумливые пыхтелки, которым никогда не удавалось подняться с земли.

— Знаешь, — сказал смеясь Джулио Камбиазо, — знаешь, даже сам чернокожий «Король кулачных борцов», сам Мак Ваа собирается лететь?

— И жокей О'Нейл.

— И чемпион марафонского бега Шребб.

— И велосипедист Мазан.

— И пловец Джо Рид.

— И конькобежец Де-Конин.

— И игрок в баскский мяч Чикито де-Камбо.

И они засмеялись тем дружным смехом, который столько раз оживлял их часы отдыха под навесом или в палатке: они скрывали этот смех от других людей, так как он был одним из средств их общения, одним из выражений их горделивого презрения к людям и жизни. Уже в них было живо аристократическое чувство превосходства по отношению к большинству новоявленных летчиков, с которыми им приходилось сталкиваться.

— Ты видел орнитоштер Адольфо Падо?

— А мультишлан Гвидо Лонги?

В новых ангарах, фасады которых напоминали старинные щиты, хранились разнообразные машины, построенные из самого разнородного материала, измышленные самыми несходными умами. В глубине просторных полотняных палаток, колыхавшихся от приведенного в движение пропеллера, по временам появлялись причудливые очертания химер, лишенных красоты и внутренней силы, рожденных на свет упорством безумия или самообманом невежества и безнадежно обреченных на то, чтобы только вздымать облака пыли и врезываться в почву; изогнутые, заостренные крылья, каждым движением своим производившие скрип, похожий на скрип заржавелых дверных крюков; четырехугольные ячейки, соединением своим напоминавшие груды коробок с провалившимся дном; легкие остовы, придавленные досками; вращающиеся мачты, снабженные полыми цилиндрами, наподобие отверстий в решетке пекаря; длинные железные

веретена, с большими кольцами по концам, из парусины, прибитой к прутьям, и напоминавшие лопасти колеса пловучей мельницы; сочетание дощечек и лопаток в роде тех вентиляторов, что применяются внутри помещений в колониях под тропиками; самые замысловатые сцепления снастей, балок, трубок, шестов, переключков; всевозможные соединения дерева, металла и ткани, предназначенные для неосуществимого полета.

И внутри каждой машины помещался ее создатель, как внутри паутины гнездится паук, и нельзя было отделить одну от другого. Сидя над крыльями или под ними между двумя резервуарами в виде гаубицы, позади одинокого пропеллера или на ящике радиатора, то скрытый, то на виду, то возвышаясь над машиной, то прячась под нею, человек был во власти чудовища, им самим порожденного. Один с упорством маниака двигал рычаг, оборачиваясь постоянно, чтобы следить за его действием, и при этом обнаруживал то спереди, то в профиль бородастое лицо добродушного звездочета с выпуклыми глазами, опухшими и покрасневшими от бессонницы, от пыли или от слез. Другой, чисто выбритый, круглый, румяный, усмехался сам себе, опираясь крупными ногами на педали, уверенный, что его тучное тело поднимется к звездам. Третий, изможденный и просветленный, как аскет, казалось, сидел перед мысленным станком и все ткал свою бесконечную мечту. Четвертый, с выражением мрачного упрямства и затаенного бешенства глядел на безжизненный скелет, который надсмехался над десятилетними усилиями; он казался навсегда пригвожденным к своему сидению и к своей мысли: «ты не тронешься с места, но и я не тронусь с места». Пятый, бледный и кроткий, как раненый на носилках, время от времени в отчаянии встрахивал головою. Шестой, в перерывах между шумом ослабевшего мотора, громко изрыгал проклятия, и на его бычьей шее надувались жилы. Трагическое и шутовское чередовалось под ангарами, как в палатах сумасшедшего дома. Одноглазая тень Зороастра из Перетолы с состраданием наклонялась к копошившимся на земле людям. Какой-то невидимый насмешник время

от времени выкрикивал резким голосом: «Икар! Икар!» И тогда гул нетерпеливой толпы сменялся дружным взрывом хохота.

— И все-таки, — сказал Джулио Камбиазо, — эти многокрылые Икарчики, что спокойно остаются на земле, нравятся мне гораздо больше, чем охотники за деньгами, облаченные в шаровары ландскнехтов и с нахлобученными на лоб кожаными шлемами, которые ежесекундно закуривают папироску бесстрашия.

Это были мастера махового колеса, победители гонки на круте, которые смотрели на новую машину, как на упрощенный экипаж о трех эластичных колесиках, снабженный простой или двойной парусиной, вставленной в спицы. Находясь на службе у фабрикантов искусственных птиц, они отдавали внаймы свои кости и свою смелость, почуяв всеобщий интерес к этому новому зрелищу. У них уже был свой мундир, своя повадка, свой жаргон, своя манера хвастаться, шарлатанствовать, интриговать.

— На что ты смотришь, Паоло?

— Ни на что.

— Сегодня на трибуне больше перьев, перышек, плюмажей, чем на Сандалекском «коме»¹⁾ или среди цапель Мальальберго. Смотри, с дозволения комиссаров, начинается исход за ограду.

— Ветер меняется. Опускается красный квадрат, подымается черный: от семи до десяти метров. Поднят белый флаг.

— Жалко, что мы не догадались принести сюда наших цапель-покровительниц в клетках из папируса, чтобы подвесить их к балкам ангаров, на развлечение дамам и молодым девицам.

— Ты становишься женоненавистником?

— Я шучу. И все же есть что-то злое в некоторых сфинксах, которые скрывают свою загадку между жестянками для бензина и койками механиков.

— Ты строже Дедала, а он ведь обнаружил снисходительность к Пасифае.

¹⁾ Пески.

— О, это мудрость хитрого Афинянина! Разумное распределение ролей! Он построил ей преступную корову и поручил быку наблюдение за нею. А сам, специалист в полете на небольшой высоте, подобно Генри Фарману, снизился в Сицилии, не подвергшись той же опасности, что его сын. Пример, достойный удивления!

— Ты хочешь предостеречь меня?

— И в мыслях у меня этого не было. Обратил ли ты внимание на подругу Роджера Недэ? Это критянка, вышедшая только что из коровы и облачившаяся в кожу змеи «работы Калло».

Она поистине была ужасна. Почти всегда скрывалась в глубине неотесанного ангара, словно в тени мягкого алькова, позади стальной проволоки, за пыльной завесой, которую ветер пропеллера вздымал с красноватой почвы, среди шума моторов, среди синих блуз механиков, пропитанных потом и маслом, в узком платье в обтяжку, облежавшем ее, как кожа, богатая изысканными черточками, изысканно жившими в ней, как ее ресницы, как ее ногти, как пушок на затылке, как мочки уха. Гладкая, пахучая, скользкая, и рот у нее был накрашенный, и на нем как бы запечатлелись слова: «Из сердца, сжатого стыдом, — я выжала сладость плода — плода смертоносного, и от него — осталось только семя смерти». И другие, подобные ей, существа появлялись там, где люди были готовы ставить ставку, которая могла оказаться ставкой из огня и из крови: живые и деланные, похотливые и неуловимые, то близкие, как угроза, то отдаленные, как привидения, похожие на нее и друг на друга своими масками, позами, манерами, вызывая этим сходством образ гигантского невидимого Порока с сотней видимых глаз. Их головы, прикрытые широкими шляпами, поднимались над длинными футлярами тела, как над длинными шеями Лернейского зверя.

Но другие ангары превратились в гинекеи, столько там было законных жен, цветущих детей, даже кормилиц и гувернеров. Трепеща от волнения, семья следила за чудесной птицей, зачатой в ее лоне, утирала дорогие капли пота с гениального чела; множество рук затыкало множество ушей от шума, предвещавшего чудо,

уже пересчитывало в воображении золото заслуженного приза, толкало орудие будущего счастья на ниву; вдыхало свои надежды в бесчувственную машину, а затем вталкивало обратно под навес чудесный плуг, оплакивало жестокость неба и непостоянство поршней.

— Ветер меняется — почти с запада, — сказал Паоло Тарсис. — Он дует порывами, готовя нападение в ответ на нападение. Я отправляюсь. А ты?

Он издала узнал волнообразную походку Изабеллы Ингирами: какое-то беспокойство, близкое к страху, охватило его. И не задумываясь о причине, он, как и прежде, снова захотел помешать встрече своего друга с нею.

— А ты, Джулио?

— Сейчас же вслед за тобою.

— Ты переменял пропеллер?

— Да.

— Ты готов?

— Да.

— До скорого свидания в поднебесьи.

— Надеюсь, что догоню тебя.

Они пожали друг другу руки, перед тем как пойти исполнить каждый свою задачу, а именно: победить друга, всех остальных и себя самого. Но Паоло Тарсис сделал несколько шагов вслед за Джулио и еще раз простился с ним.

Он как будто желал наполнить свое сердце великим мужественным чувством дружбы, упиться им, еще раз насладиться даром, который ему уделаила могущественная судьба. Почти всегда человеческая дружба основана на принципе львиной доли: один берет больше, нежели дает, другой же жертвует и отказывается, подчиняется и унижается, подражает и соглашается на все, терпит покровительство и тиранию. Но их дружба была построена на двух равных основаниях, состояла из двух равных сил; их свободу и взаимную верность ничем нельзя было подавить. Каждый из них измерял свою силу силою друга, познавал свой характер по его характеру и знал, что самый упорный противник не устоит, если один придет на смену другого. Сколько ночей провели

они среди засад и опасностей, держа наготове оружие, причем один сторожил сон другого, попеременно! И для них не было ничего более приятного и более важного, чем это бодрствование, когда временами казалось, что в величественных южных созвездиях для спящего создавался более глубокий жребий.

А теперь в глазах друга Паоло Тарсис читал настойчивую, но безмолвную мысль: «В какие руки вверяешь ты свою жизнь? Какие блестящие ногти станут раздирать твою твердость?»

И он последовал за ним, собираясь ответить на этот безмолвный вопрос: «Помнишь ли того пастуха, который на базаре в имении Чезарини, без чьей-либо помощи, связывал все четыре лапы молодому быку и затем подымал его с земли, из простого удалства? Так и я поступлю с мрачным зверем, который начал расти во мне и грозит моей свободе. Я скручу его и подниму и заклеймлю знаком рабства. Я встряхну себя и подам тебе руку, и мы пойдем вместе, свободные, к новым победам». Но Джулио Камбиазо, охваченный неожиданной грустью, не взглянул на своего друга.

3.

Сквозь перегородку до Джулио Камбиазо доносился голос Изабеллы Ингирами, богатый оттенками, диссонансами, внезапными переливами, паузами, как чарующая песнь; он звучал то низко, то высоко, иногда как голос ребенка, несколько жеманно, иногда мужественно, даже резко, переходя время от времени в звонкий и глухой, неровный, ломающийся; это было что-то замечательно живое и необычное, даже невероятное, привлекавшее и отталкивавшее его одновременно. Он взял пропеллер за обе лопасти и пустил его в ход. От поднявшегося шума задрожали стены, заколыхалась перегородка, закружилась пыль. Вдруг в развевающейся занавеске появилось чье-то смуглое лицо, цвета оливы, и продвинулось немного вперед. Ветер качнул шелковые розы на фессалийской шляпе и защекотал длинные ресни-

цы, которые сомкнулись над испуганными светлыми глазами.

— Пожалуйста, будьте осторожны, синьорина! — закричал он, сделав резкое движение рукой. — Не стойте там!

Вана не отступила, но, наоборот, сделала несколько шагов вперед, раздвигая волнующуюся материю.

— Разве это опасно?

— Если пропеллер сломается и разлетится в щепки, то сила самого маленького осколка может вызвать неизмеримые бедствия.

Она широко раскрыла глаза, бледные, как опалы чистейшей воды. Механики смотрели на нее, держа черными маслянистыми руками бруски вала. Косой луч солнца проникал, как и тогда в залах герцогского дворца в Мантуе, через щель в стене, освещая часть крыла, сверкая в стальных снастях, переливаясь в четырех металлах мотора: белом, желтом, коричневом, красном.

— Правда? А если он сломается во время полета?

Ее голос немного дрожал, и ей казалось, что соломенная шляпа с цветами звучала в ответ, как медный колокол.

— Молите небо, чтобы этого со мной никогда не случилось! — ответил небесный кормчий.

Он чувствовал себя в каком-то перерыве действительности, перед этим почти незнакомым ему существом, как бы припоминая что-то неясное.

— Значит, смерть всегда там?

— Там и повсюду.

— Там больше, чем где бы то ни было.

— Она — спутница всякой игры, которая стоит быть сыгранной.

— Она ужасна.

Вдруг мотор остановился. Складки занавесок перестали колыхаться, пыль улеглась; мускулы грубых рук расправились, и божественный пропеллер превратился в вертикальную ось воздушного цвета. Молчание точно убило фантастическое чудовище, только что наполнившее собой все пространство, на подобие сверкающего ангела, который сопротивлялся под крышей и пал на землю, как

тряпка землистого цвета. И полоса света стала грустной, как в тот день, в зале герцога; стали видны печальные и красноречивые предметы: сложенные железные койки, покрытые полинялыми простынями, серые шерстяные одеяла; грубые порыжелые запылившиеся сапоги, старое платье, развешенное по крючкам, говорящее о грусти и утомлении; а там и сям жестяные ящики, обрывки бумаги и лоскутья, умывальная чашка, губка и пустая бутылка.

— Будьте осторожны, — выговорила Вана, понизив голос, который все еще дрожал, как бы навязчиво моля о чем-то.

— Осторожность ни к чему. Только инстинкт, смелость и счастье имеют значение.

— Ваш друг...

Она остановилась, и вдруг заговорила поспешно.

— Ваш друг Тарсис отправляется раньше вас?

— Да, механики уже перевезли его аппарат на место полета.

— Он слишком смел.

— За него никогда не надо бояться.

— Почему?

— Неизвестно почему, но есть люди, рождающиеся для опасности, которая делает их невредимыми.

— Вы так думаете?

— Конечно.

— Также и про себя?

— Также и про себя. В Мадуре, в тени храма Вишну, какой-то предсказатель с бритой головой, жуя светлые листья бетеля, обещал нам, что, прожив одинаковую жизнь, мы умрем одинаковой смертью.

— Вы верите этому предсказанию?

— Конечно.

— А почему вы улыбаетесь?

— Потому что я вспомнил...

— Что вы вспомнили?

Издали доносился крик толпы, то удаляясь, то приближаясь. Заржала лошадь жандарма, и мимо палатки промчался патруль солдат; копыта глухо стучали по земле.

— Джованни, резервуар наполнен? — спросил Джулио Камбиазо человека, который наливал бензин.

Он почти что подавил наполнявшее всю его жизнь неопределенное чувство блуждания и отдаленности, чтобы обратить внимание на действительность. В мыслях перед ним вырисовывались ограда пагоды, бассейны, наполненные нагими телами и бритыми головами, оскверненная испражнениями бесчисленных летучих мышей толпа добрых и злых богов, и разных чудовищ в длинных и темных галлереях, в нишах, в молельнях и на колоннах. Ему слышался рев быков и слонов, которые становились на колени в собственном навозе.

— Еще немного не хватает, — ответил механик, вытаскивая из резервуара маленькую тростинку, служившую для измерения количества жидкости.

— Наполните его до самого верху.

Стоя на лесенке, обливаясь потом, механик снова принался тихонько цедить бензин из баклаги через воронку, обернутую желтоватой парусиной. Луч солнца как раз освещал жидкость, протекавшую сквозь твердые пальцы.

— Что вы вспомнили? Скажите! — прибавила Вана с робкой настойчивостью, слегка покраснев под своей фессалийской шляпой.

— Я вспоминаю, как во время предсказания, изливавшегося из ароматных уст, молодая индуска с серебряными запястьями, которая стояла около скамьи одного торговца, повернулась к нам.

Он глядел на Вану, как во сне, как-то растерянно улыбаясь.

— Лицо ее, умщенное корнем шафрана, было оливкового цвета, и черты его были так правильны, что напоминали индо-персидские миниатюры, где красавица наклоняется, чтобы вышить душу розы, в то время, как мимо проезжает рыцарь в золотых одеждах на голубом беломом коне. Как вы на нее похожи!

— О нет!

— Когда я закрываю глаза, я вижу ее, как живую. Но стоит мне открыть их, как я вижу ее еще более живой.

— О нет!

— Сегодня она без драгоценностей; тогда же их у нее было множество, по случаю праздника. Она покупала как раз пурпуровый шафран, порошок миндаля и гирлянду желтых роз.

— О нет! Неужели те же, что у меня?

Если на шляпке у нее были цветы из безжизненного шелка, то в пояс ее был воткнут пучек свежих роз.

— Да, вот эти. Но они были предназначены для жертвы, для кумиров. Мы слышали звон серебряных колец на ногах, когда она направилась к двум большим изображениям богов, уже наполовину засыпанных цветами. Одна из роз скатилась по голубому платью на плиты пола, в которых отражались босые ноги. Я быстро нагнулся, чтобы поднять ее, но пилигримка опередила меня.

— Вот она, — сказала Вана, оторвав желтую розу от своего пояса, голубого, как поблекший ультрамарин перловных розеток.

И подала ее мечтателю. И ее поразило, как это слово и этот жест вылились из наполнявшего ее таинственного настроения, говорившего о чем-то давно минувшем. Но когда она увидела розу в петлице этого почти неизвестного ей человека, она захотела крикнуть: «Нет, нет! Я пошутила, я не знаю, зачем я это сделала. Отдайте мне ее, бросьте ее. Я просто глупый ребенок».

И все-таки она находила удовольствие в этой игре. Как и сестра ее, вообще, как всякая женщина, она любила царство фантазии, любила вселяться в новые образы, в воображаемые формы жизни. И чтобы продолжить очарование, ей хотелось прибавить. «А после? Куда пошла миниатюрная индуска с серебряными запястьями? Что сделала она со своим шафраном, со своим порошком, со своей гирляндой?» Она ощущала оливковый цвет своего собственного лица, его тонкую овальную форму; ей рисовался холодный плитчатый пол, в котором отражались босые ноги; и в каком-то тумане ей являлось нечто неясное, в роде безотчетной надежды или безотчетного страха, в роде чего-то огромного и скрытого, что стоит вне времени, как громадные каменные идола, засыпанные цветами. И не менее чудесным ей казалось ее при-

существование здесь. Неужели ее лицо стало более похожим на лицо индуски у прилавка торговца в пагоде Вишну с тех пор, как она раздвинула занавеску и подошла к созданию Дедала в наполненном шумом ангаре?

Мысли отделялись от нее, как лепестки оставшейся в ее поясе розы, которые падали теперь по складкам платья. «Неужели возможно, чтобы и я тоже помнила это? Но это все мечты. Зачем я здесь? Это, ведь, тоже мечта. Изабелла ищет меня, Альдо тоже. Ветер пропеллера захватил меня, как соломинку. Никто меня не видел. А, я умею прятаться от вас. Я далеко, далеко. Что это: внезапная великая любовь? Ведь, иногда, чтобы принести розу, любовь идет с края земли, с босыми ногами. Это брат Паоло. У него чистые, маленькие зубы, как зубы ребенка. Я больше не хочу плакать. Неужели я утешусь? Иногда рождается ветерок и приносит наш истинный жребий. А что сказал бы Паоло? а Изабелла? Они тоже огорчатся. Может быть, он меня уже любит. Какая я глупенькая. Но как все это было бы странно! Вот он поднялся, вот он летит, унося на небо мою желтую розу; роза осыпается, лепестки падают, кто знает, куда они летят; и все кончено, все забыто... Когда-нибудь я получу книгу миниатюр. Ах, может быть, Паоло уже полетел. Не надо за него бояться. Но почему? Они умрут одинаковой смертью. О, Паоло вовсе не нежен теперь с Изабеллой. Впрочем, какое мне дело? Какая мне от этого польза? Я не хочу видеть, не хочу знать. У него светлокارية глаза. Что он думает обо мне? Я пришла из Мадур, вместе с предсказателем, который жует листья бетеля... Ах, неправда! Мое сердце не здесь. Должна ли я пожать ему руку, уходя? Будет ли он меня искать после? Захочет ли он свидеться со мною снова? Свет раздражает меня, толпа тоже. Я могла бы остаться здесь, сесть на одну из этих коек, с книжкой миниатюр, и ждать его возвращения... Ах ты, пустынькая Ванина, маленькая индусочка с серебряными запястьями!»

Так рассыпались ее легкие мысли по сердцу; но внутри все еще кипело мучительное беспокойство, которое привело ее к этому неизвестному месту, как к убежищу.

«А, я умею прятаться от вас, я далеко, далеко». Она была вдали от своих мучителей, вдали от орудий пытки; и она снова начинала свободно вдыхать какой-то благодатный ветерок, который мог унести ее еще куда-нибудь дальше. И в ее страдание, смешанное с удивлением, в ее страх, смешанный с надеждой, в воспоминания и предчувствия проникало какое-то мстительное удовлетворение, когда она замечала, что его светлокارية глаза загораются фосфорическим блеском, а маленькие белые зубы сверкают на фоне рыжей бороды, напоминавшей медь, с которой сходит позолота. Только это одно удовлетворение было достоверно, все же остальное смешалось. И ее молодость казалась ей бессмертной.

— Одна роза потеряна, другая найдена! Кто прислал вас ко мне? Неужели вы из Мадур? Как совершили вы такой длинный путь? Ведь, я впервые поднимаюсь с цветком к небу. Как вы думаете, будет он легок? Он, может быть, весит, сколько два человеческих жребия. Я с ним поднимусь высоко, высоко. Я обещаю вам, что поднимусь сегодня на такую высоту, за облаками, которой еще никто никогда не достигал.

— О нет?

— Разве вы не для этого подали мне розу? Разве не потому у вас голубой пояс? От самого малого я поднимаю ее до самого большого круга синего цвета.

Необычайное возбуждение оцепеняло его, и чудесная улыбка смягчала выражение решимости и грусти на его лице. Казалось, что неожиданное появление этого существа, мечтательного и вызывающего мечты, разбудило в его душе победную музыку, от которой мир становится необыкновенно блестящим, свободным, торжествующим. Прежнее недоверие и презрение покидали его. Какой-то новый рок охватил его душу и тайно освещал ее, как ночная лампадка светит сквозь окутавшую ее богатую ткань. Что за добрый дух привел к нему это существо, которое было сестрой женщины, овладевшей сердцем его друга? Было ли здесь какое-нибудь тайное значение?

— Будьте готовы к отправлению! — приказал он своим людям и поправил розу в петлице.

Что это? Неужели сверкающий ангел снова поднялся с земли и наполнил палатку шумом? В ангаре поднялся оглушительный вихрь. Пропеллер завертелся звездообразно. Механики, соединив веревкой вал с указателем и привязав последний к столбу, измеряли силу пропеллера; и веревка натягивалась, как будто великая Ардеа с нетерпением стремилась улететь из неволи; один из рабочих, стоя на коленях, следил за стрелкой измерительного прибора.

— Готово, — отозвался радостный голос на слова приказания.

И пропеллер остановился. Ардеу отвязали, как только прекратилось биение ее семикратного сердца. Ухватившись за перекладки корпуса и за дуги крыльев, люди стали толкать ее по направлению к месту полета. Легкие занавески раздвинулись, впуслав в палатку поток мягкого света, говорившего о самых отдаленных золотых нивах Италии. Громадная туча, янтарная и белоснежная, плыла по небосклону. Крики толпы разливались по равнине, как морские волны. Между небом и землей висел человек, хрупкий и непобедимый, — выдаваясь грудью из своей цапли, резко вырисовываясь на белом фоне широких крыльев. И светлые глаза первыми узнали его.

4.

Как орел не сразу устремляется с песчаной долины, а бежит быстрыми шажками, размахивая крыльями сильнее и сильнее, отделяется от собственной тени и, плавно поднимаясь, отдается, наконец, свободному полету, увлекаемый ветром; сначала когти глубоко вонзаются в землю, затем постепенно все легче и легче, чуть-чуть задевая лишь отдельные песчинки, а последний след совсем незаметен: так и машина, катясь на трех легких колесиках, окутанных голубоватым дымком, как будто сухая трава горела под ними, покидала землю.

Она быстро поднялась. Движение рычага высоты заставило ее нырнуть носом, чтобы избежать маленьких вихрей, вызванных раскаленностью почвы, от которых

она качалась в разные стороны. Она устремилась против ветра, подобно чайке, колеблясь, как акробат на канате, наклонилась к первому пилону, выпрямилась: затем прямо и быстро, как стрела, понеслась мимо зеленых тополей Гэди, перелетела над постройками, постоянно борясь с воздушным течением, держась все к ветру, и очутилась под белыми облаками, прекрасная, как изображение солнечного бога из Эдфу, как крыло-эмблема, висящая у дверей египетского храма.

Еще ни разу в жизни Джулио Камбиазо не ощущал такого полного согласия между собой и машиной, между своей закаленной волей и этим изобретением мысли, между своими инстинктивными движениями и механическими движениями аппарата. Все летящее создание, от лопасти пропеллера до ручки руля, как бы продолжало и дополняло его собственное существо. Когда он склонялся к рулю, чтобы справиться с порывом ветра, когда он отгибался назад, чтобы давлением тела изменить положение парусов и придать машине вращательное движение, когда, держась к ветру, он сохранял равновесие безошибочным колебанием вокруг центра устойчивости, и ему удавалось передвинуть ось полета, тогда ему казалось, что он соединен со своими белыми трапециями живыми связями, похожими на грудные мускулы ястребов, которые на его глазах падали с утесов Мокаттама, или поднимались над равниною Сакха.

«Брат, брат, мы одни, мы свободны, мы вдали от мучительной земли!» думал Паоло Тарсис, совершив первый круг, и теперь в четверть ветра догоняя своего друга. «Я больше не хочу быть печальным, не хочу больше терзать свое сердце, не хочу дольше таить от тебя свои муки. Я должен позвать тебя, кликнуть свой клич, услышать твой голос. Твоя победа будет моей, моя — твоею победой. О, как мужественно небо сегодня!»

Он оставил на земле волнение своей страсти, возбуждающий смех Изабеллы, лихорадочный и враждебный взгляд юноши, тщеславие приятельниц и глупость людей, все то лишнее, что охватило и угнетало его. Он снова был в своей пустыне, среди своей тишины, делаю свое дело.

— Ардеа!

Тысячи и тысячи голосов кричали прекрасное латинское имя. С трибун, из-за оград, с повозок, остановившихся на дороге в Кальвизано, на дороге в Монтикиари и на перекрестках, с деревьев, куда взмоштились люди, с крыш ферм, покрытых кучками людей, из всего этого моря голов, с восхищением обращенных к путям божественным, поднимался крик, подобный грому и шуму потока.

— Ардеа!

Паоло Тарсис догнал друга, пронесся совсем близко мимо него и был захвачен вихрем от братского пропеллера, но повернул, качнулся, уклонился с дороги стремительным движением, спустился вниз, как ястреб, поднялся почти вертикально, как дикая утка, сверкая своими белыми крыльями, и обогнул пилон так близко, что задел согнутым крылом кончик колыхавшегося флажка. И он издал крик привета и тревоги, который был знаком другу по набегам, по охотам, по опасным ночевкам. Донесся ли этот крик до цели, или же ответ потерялся среди шума?

— Ардеа!

Толпа повторяла свой крик, опьяняясь этой изящной и ужасной игрой, этим тонким и бесстрашным состязанием, этим взаимным вызовом, брошенным двумя равносильными борцами. В полукруглом голубом пространстве посреди янтарных облаков, они нагоняли друг друга, как два аиста на длинных прямых крыльях, и пропали где-то, совсем белые, в белом пространстве. И побуждаемые их примером, другие устремились, поднялись, погнались за ними. Все ангары загудели и задули, наполненные бурей, как дома Эола. Мускулистые руки влекли парусолеты на поле, мускулистые руки сдерживали их. Неукротимыми, звездообразными пропеллерами увлекались они один за другим на победу над великолепным небом, желтоватые, как ястребы, красноватые, как фламинги, или пепельного цвета, как журавли. Они взвивались, как лесные птицы, кружились, как хищники, скользили, как длинноногие, то напоминая шум голубиных крыльев, то медленные взмахи лебедей, то бурное движение орлов. Все

силы фантазии наполняли сердца людей, созерцавших преобразование человека. Его безграничная душа переступила через порог веков, ускорила время, углубила познание будущего, положила начало новой эре. Небо стало его третьим царством, которое он покорил не глыбами титанов, но поработанною им молнией.

И небо жило одною жизнью с толпой, как и она, опьяненное восторгом и радостью, гордостью и благоговением, страстью и чем-то бесконечным. Это было великолепное небо Италии, в один час возрождающее то, что в продолжение веков было изображено художниками на сводах дворцов и на куполах храмов, создающее и уничтожающее величественные образы, примиряющее мягкого Веронезе со страшными изваяниями Буонаротти. Как толпа людей или как грандиозное здание, теснились облака, как творения ваятеля или гончара, как сонмы ангелов, как племя чудовищ, как цветочный рай. Из-за гор поднимались и собирались они и раздирались над верхушками тополей. Подобные мутному водовороту, они сверкали на солнце, как нежно-прозрачные существа, в которых брезжит свет бестелесный. Подобные плоти Юноны, преобразованием своим обманувшей опьяненного нектаром Лапифа, они вдруг бороздились струйками крови и внезапно покрывались бледноватыми пятнами, как мертвая чешуя пораженной проказою кожи. То как будто на станке гончара, невидимыми пальцами обрабатывающего прозрачную глину, они принимали форму урны; сбоку выростала ручка и, послушно изгибаясь, прилипала к горлышку, и синева неба в этом маленьком отверстии превосходила синеву всего бесконечного пространства. Другие облака напоминали другие образы, другие существа, другие легенды и другие искусства. Мир сказок и снов, пробужденный новым невиданным зрелищем, опять заполнял небо.

И тогда можно было увидеть, как одна из больших птиц Дедала наклонилась, приподнялась, встрепенулась, но, желая изменить направление, коснувшись земли и неподвижно легла на сломанное крыло, подняв вверх другое: безжизненные остатки прутьев и полотно, загрязненных черным маслом. Человек выскочил из-под обломков, от-

рыхнулся, посмотрел на окровавленную руку и улыбнулся.

И тогда можно было увидеть, как другой парусолет, подобный ночным хищным птицам, ослепленным солнечным светом и разбивающимся о препятствие, устремился на ограду среди громких возгласов, опрокинул ее, перевернулся и остался лежать на земле с разорванной парусиной, разорванными скреплениями, поломанным остовом, безмолвный и окруженный ужасом, покоясь в развалинах на своем еще горячем и дымящемся металлическом сердце. Испуганная и жадная до зрелищ толпа ждала увидеть труп, чьи ноги, запутавшись в стальную проволоку, торчали наружу. Но его высвободили из пут, вырыли из могилы, поставили на ноги. Бледный, как смерть, он покачнулся, склонился, сдавленный крик вырвался из его зубов, когда пальцы людей прикоснулись к телу. У него была раздроблена печень. Двое солдат уложили его на спину на доску из ограды, опрокинутой столкновением. Глаза его были устремлены к облакам, и над их отчаянием пронеслась тень победного полета.

И тогда можно было увидеть, как вдруг бесцветным огнем загорелись другие крылья, и как быстро чернели и исчезали клочья материи и буковые и ясеневые брусья, потрескивавшие, как хворост. Они пылали быстрым пожаром, и из полуоткрытых клапанов исторгалось пламя. Подобно зажигательной стреле, обернутой в промасленную ткань и устремленной тетивой баллисты, аппарат изо всей силы ударился о земь и зарылся в песок. От толчка взорвался резервуар, и из него жидкость разлилась по поломанному остову и по живому телу. Челнок горел, словно брандер. И на корме, подобной нарезке стрелы, оглушительно потрескивали снасти руля.

И тогда можно было увидеть, как живой факел, обьятый бесцветным огнем, закружился по сухой траве, в бешенных страданиях ударяясь головою о рыхлую землю. Толпа заревела, потрясенная не состраданием, но неистовством смертоносной игры. Но другой человек, пролетающий среди облаков, смелым движением руля высоты, спустился вниз, как ястреб на свою добычу; в нескольких футах от земли он изменил направление, на-

блюдая за мучениями несчастного, который все еще продолжал кататься по земле; наклонился, стараясь узнать его; увидел, как тот остановился, потушив пламя; затем быстро взвился на воздух, переливаясь голубыми и золотыми цветами в тени и на солнце, и продолжал свой путь. Рев безумствующей толпы настиг его.

— Тарсис! Тарсис!

А тот, кому удалось погасить огонь, встал на ноги, весь почерневший и покрытый гарью и маслом, с обожженными волосами, с истлевшей одеждой, с руками, покрытыми язвами, продолжая жить ужасною жизнью. В двухстах метрах от него лежали остатки погибшей машины: разбитый мотор и скрученные оторванные трубки. И он посмотрел на свои руки, которые подавили мятежное пламя.

Тысячи глаз, обращенных к небесному ристалищу, налились кровью жестокого безумия. Страсть к кровавым зрелищам снова наполнила трепещущие сердца. И близость смерти ускорила биение жизни. Казалось, что крылья человека рассекали уже не бездушный воздух, но самую сущность народа, полноводную, как океан, всеми помыслами обращенную к сфере полета. Порабощенные стихии, покоренные божества, все силы природы были каждую минуту готовы подняться и разорвать на части, уничтожить хрупкого победителя, подобно зверям, бросающимся в клетку на укротителя, как только он сомкнет глаза или отвернет от них свой острый взгляд. Борьба шла не прекращаясь, опасность везде поджидала свою жертву. Как кровожадная Ортия в древней Тавриде, Неизвестное стояло во весь рост на своем алтаре, требуя новых человеческих жертв. А жертвы осмеливались смотреть на него, не отвращая взора, проникая им до самых пределов царства мрака. Что были в сравнении с этим игры амфитеатров? Человек боролся теперь не со зверями на узкой арене, но со смертоносными машинами на путях земных, морских и небесных. Угроза *pollice verso*¹⁾ постоянно висела над ним. Трагическая тень и трагиче-

¹⁾ «Обращенный книзу большой палец», — на поединках гладиаторов означал приказание добить побежденного.

на лет.

ский свет попеременно затемняли и озаряли пространство.

— Тарсис! Тарсис!

Ардеа продолжала свой путь и в пятнадцатый раз огибала пилон. Латинянин был готов вырвать первенство из рук варвара. В непостоянной, смешанной толпе затрепетали вековые корни расы.

Сердца всех окрылились, чтобы поддержать героический полет. Из всех уст, как ускоряющее бег звонкое дыхание, вырывалось имя храбреца, приказывая ему вернуться с победой.

— Тарсис!

Терпением своим он поддерживал полет, лихорадочным горением — усиливал его быстроту. По временам на фоне облачка или небесной лазури верхняя часть его туловища вырисовывалась, как бы заостренная, точно он старался уклониться от сопротивления воздуха, принять форму веретена или стрелы. И острый или хорошо вооруженный глаз мог различить его непокрытую голову, с которой ветер сорвал шлем, мог различить его тонкое лицо, источавшее, казалось, пламя усилий, как из крылышек цилиндра исходило тепло, это лицо, словно сотворенное из текучей силы, как будто ветер отбрасывал назад не только волосы со лба, но и все фибры видимых мускулов от подбородка до висков.

— Тарсис!

Он был теперь совсем один. Небо начинало пустеть. Там и сям парусолеты спускались на землю, как утомленные странники, или же падали ниц или на бок, как раненые соколы.

По необработанному полю расстился желтый свет, отдаленное отражение зрелых колосьев. Еловые доски ограды сверкали, как чистое золото. Стены ферм, фасады вилл и церквей, верхушки колоколен и башен горели вдаль. Тени пилонов, балок и мачтовых рей становились длиннее.

Он был один. Он ничего не видел, кроме пропеллера, вертящегося в звездообразном вихре; ничего не слышал, кроме ровного стука мотора. — Где был его друг? Что с ним случилось? Почему он спустился? — Он вдруг ощу-

тил перебой в одном из цилиндров, затем в другом, затем с перерывами еще несколько перебоев; и сердце его сжалось, и ему показалось, что он истекает кровью через металлические трубки. — Неужели судьба внезапно изменила ему? — Он повернул к ветру, изо всех сил сопротивляясь его порывам, обогнул предпоследний пилон, на расстоянии нескольких дюймов от рей, и из своей воли сделал твердую стрелу, одну из тех стрел, что бойцы называют «цельножелезными», так как из железа — и древка, и острое, и нарезка; мысленно провел более прямую линию, чем способны провести мастера ниткой синопля. И когда дух его, освободившись было от чувств, возвратился в сердце, он услышал спокойную работу цилиндров, их энергичное и ровное трепетание. Совсем инстинктивно, как будто бы его друг был близко, он издал гортанный крик, который на их причудливом наречии выражал удовольствие; они переняли его в своей полной приключений скитальческой жизни от прирученных зверей и диких народов. Он усмехнулся при мысли о том, как в это мгновение должно было колыхаться громадное Адамово яблоко в пересохшей гортани Джона Гауланда. Ему припомнился странный смех орнитолога, друга ястребов, подобный тому треску, который производят своим клювом аисты: *Alis non tarsis*. Невольные и неясные мысли блуждали в его мозгу, как будто его внимание испарилось, и все утратило для него какое бы то ни было значение. И вдруг перед ним предстал образ Изабеллы: он увидел ее лицо, полное очарования и угрозы под широкими полями шляпы, украшенной белой папелей с длинными дрожащими перьями, он увидел движение колен под пепельного цвета юбкой, которая двумя, чудодейственными складками напоминала взмахи двух крыльев, и какое-то опьянение, страсть к мести обуяла его. Еще день ожидания!

Но этот момент рассеянности прошел, он опять овладел своей силой. Он снова почувствовал, будто его позвонками сильна вся машина, и будто воздух из легких проникает в остов его крыльев, подобный остову птицы. И он еще раз вообразил, что он не человек на машине, но что они составляют одно неразрывное тело. Новое, неве-

роятное чувство стало руководить всеми его движениями. Он как бы летел над своей радостью. Новое и радостное поколение жило в нем.

— Ардеа! Тарсис!

И он увидел на сигнальной мачте круг, возвещавший о его победе. Он услышал, как внизу волновалось бурное море. И он взглянул на серую толпу людей, на бледные лица, на поднятые руки. И хотя он уже спускался, огибая столб, ему казалось, что он стремительно поднимается, перелетая через неподвижную громаду. Он наклонился, сделал поворот и пролетел, приветствуемый торжествующими громом, весь белый и легкий и звучный, сверкая в снопах света сталью и медью, принося на землю весть о более полной жизни.

5.

В то время, как победитель продолжал свой путь, чтобы превзойти самого себя и уничтожить в побежденном всякую надежду реванша, на сигнальной мачте взвились два черных треугольника, обозначавших Джулио Камбиазо, и красный и белый квадрат, провозглашавший состязание на высоту полета.

В толпе все еще не прекращалось волнение, которое сопровождает бурю. Тот, кто уже раз исчез среди тени и света, чтобы водрузить свою терму в неизведанных пространствах, оставил глубокий, трепещущий след в сердцах людей, горевших ожиданием. И новый вечерний полет обещал нечто великодушное и ужасающее. Поэтому, когда друг Паоло Тарсиса взшел на свою Ардеу, все притихло; раздался шум пропеллера.

«Роза из Мадур, вновь обретенная роза! Я впервые поднимаюсь с цветком к небу. Где ты, маленькая смуглая индианочка? Может быть, она смотрит на меня и боится, может быть, ее нежная душа содрогается, под голубым поясом, под шляпой с цветами... Какое странное посещение! Увижу ли я ее опять, встречу ли я ее еще раз, когда спущусь на землю? Паоло снова найдет предлог, чтобы устранить меня... Желтая роза из Мадур! Я поднимусь с ней высоко, высоко».

Небо посредине было безоблачно, напоминая купол амфитеатра, опирающегося на колонны и своды. Облака, которые уже не горели больше на солнце, поддерживали его, на подобие громадных портиков. Тайнственный дух созидал на фронтонах неясные фигуры, которые вытягивались кверху, склонялись, падали навзничь, как Ночь и Заря на гробницах Медичи, как Пророки и Сивиллы в Сикстинской капелле. Деревянный поселок со всей своей пустою мелочностью исчезал, а все великое ширилось с падением мрака и ростом волнения. Статуя Победы гордо возвышалась на своей римской колонне.

«Я поднимусь сегодня на такую высоту за облаками, которой еще никто никогда не достигал». И Ардеа описала широкий круг около позеленевшей бронзы статуи. Ее прямое крыло было прекрасно, как солнечное крыло, обоготворяемое египтянами. И народ, который привез богиню на телеге и снова дал ветру обвеять ее дорический пейдум, почувствовал двойную красоту и прокричал первый слог гимна без лиры. Жестокая радость начиналась для него.

Волнообразно описывая круги, Ардеа поднималась все выше и выше. С каждой волной, с каждым кругом, шум становился все менее слышным, с минуты на минуту менее резким: как удар трепалки в гумне, как жужжание пчел около улья, как те легкие звуки, которые убаюкивают нас в поле, как удаляющиеся песни, что, удаляясь, отверзают перед нами бесконечность печали и желаний; казалось, что шум становится синим вместе с машиной и человеком; наконец, он умолк для всех, кроме одного.

Люди все отделились слуху, все сосредоточились в зрении, удерживая дыхание. Постепенно ослабевая, шум создавал ощущение дали настолько глубокое, что даже глаза, казалось, проникали в неизмеримую высь, следя за тем, кто совсем отделился от себе подобных, в таком одиночестве, в каком никогда никто не был, в такой беспомощности, какой никто не испытывал, переступив через границы жизни, как усопший. И ужас перед неизвестностью обуял сердца всех.

«Не надо больше, не надо!» — твердил страх. «Еще!

еще!» — говорило страдание, жадное до новых страданий.

«Довольно! Ты уже слишком высоко, высоко до головокружения».

«Еще! Поднимайся! Коснись хотя бы края того облака».

«Довольно! Ничтожное дуновение, пустая причина может убить тебя: разорвавшаяся проволока, перерыв во взрывах мотора».

«Еще! Не сдавайся! Там, где ты теперь, уже был другой человек. Ты должен переступить его границу и завоевать новое небо».

«Довольно! Ты сейчас упадешь».

«Еще! Смерть восхищается тобою».

И всеобщий вопль полетел к бесстрашному: на оснащенной мачте развеялся белый знак победы. Ардеа устремила в неведомое небо.

«Довольно! Ты победил!»

«Еще! Победи себя самого».

Возбуждение, охватившее толпу, трясло ее, как лихорадка, и оно передавалось бесчувственному небу и достигало крыльев человека. Величественное и дикое одушевление превратилось в новую стихию, которая ворвалась в старую, исказила ее природу и создала из нее неожиданно новую форму жизни. Небо приняло обликдвигающегося рока.

«Еще! Еще!»

Казалось, что нарушенный закон не мог быть больше восстановлен, что за перейденной гранью не существовало опасности, что избыток бесстрашия делал человека безнаказанным и неуязвимым. Аппарат выглядел, как стрелка, каким-то чудом повисшая в бледном небе. Время как бы остановилось. В глубоком молчании тысячи зрачков были устремлены на небо, как бы ожидая появления нового мифического созвездия.

— Он спускается!

Очарование было нарушено. Сначала тихо произнесенное слово обратилось в неровный крик.

— Он спускается!

Видно было, как увеличивается стрела, как быстро она снова становится крылатой машиной. Что-то светлое и непрозрачное, — то слабое сверкание, то неясная тень, — рассекало под нею воздух. Таким, быть может, было первое перо, упавшее в море с плеча Икара.

Испуганный голос закричал:

— Пропеллер! Лопасть пропеллера!

И ужас об'ял всю толпу, не передаваясь из уст в уста, но пронизывая ее насквозь. Подобно тому, как бледнели облака, толпа побледнела, стала неузнаваемой. Это была одна нераздельная бледность, с широко раскрытыми глазами, прикованными к судьбе человека.

— Он падает!

Шум, голоса людей неестественно звучали, не в воздухе, а как бы в самой их душе.

— Он падает! Падает!

И никто больше не крикнул, все затаили дыхание. Все слились в одно истерзанное лицо, в один пристальный взор: и увидели, как дрогнули крылья человека, закачались из стороны в сторону, словно в сильную качку, как движение руля выправило челнок, как затем он нырнул и стал опускаться, еще удерживаясь в равновесии, на одно мгновение возбудив надежду на спасение, и как вслед затем устремился вперед, ничем не удерживаемый пал на землю, как мертвое тело, ударился с треском, который опустошенным душам показался ударом грома.

Никто не крикнул, не шевельнулся. Несколько мгновений все оставалось неподвижно, подобно беловатой куче брусьев и лоскутьев, этому великому погребальному савану, валявшемуся теперь в десяти шагах от римской колонны. Уже не сияние вечера освещало людей и предметы, а свет, рожденный подвигом героя. Равнина стала похожей на океан, тучи — на кольцо гор, небо — на непроницаемый алмаз. Господство вечных сил было восстановлено.

А затем послышался топот коней, люди хлынули из-за ограды, желая увидеть кровь и изуродованное тело. И над толпой, которая в диком ослеплении уже теснилась и проталкивалась к месту жестокого зрелища, одиноко возвышалась колонна и на ней статуя, два бессмертных созда-

ния смертного художника, венчая красотой непобедимую гордость человека. Бронзовые крылья брали под свою защиту полотняные крылья.

— Он умер? Он дышит? Разбился? Раскроил себе череп? Сломал ноги? Переломил спину?

Мрачные вопросы усиливали всеобщий ужас. Оттесненная конной стражей, толпа волновалась, шумела. Коня били копытами, фыркали; их бока были покрыты потом, уздечки пеной. Самые любопытные протискивались под лошадыми, пролезали между всадниками, которые сжимали их своими шпорами.

Когда удалили обломки, распутали веревки и приподняли полотно, открылось безжизненное тело героя. Затылок был прижат к ящику мотора, и семь цилиндров, с маленькими крылышками, образовывали страшный ореол, с комьями окровавленной земли и травы. Светло-карие глаза были открыты и неподвижны; рот, спокойный и свежий, не свидетельствовал ни о малейшем волнении, ни о малейшем страдании, и чистые зубы, как у молодой борзой собаки, сверкали, окруженные рыжей бородой, мягкой, как пух. Из виска, рассеченного стальной проволокой, как бритвой, лилась красная струя, проникая в ухо, за воротник, в углубления искривленного радиатора, в полусжатый кулак. Врач, склонясь к сердцу, переставшему биться, коснулся щекою свежего лепестка розы.

— Тарсис! Тарсис!

Новая дрожь пробежала по подавленной и опьяненной толпе, как будто горе оставшегося в живых друга заразило ее. В глубоком спокойствии вечера ясно раздавался шум неутомимой машины, которая огибала пилон.

6.

Городские улицы напоминали вечер после сражения. Огонь и кровь, вторгшиеся в героическое состязание, возвысили души самых смиренных. Неизгладимым оставался в памяти образ мертвого тела, обернутого красным сигнальным знаменем, на носилках, окруженных безмолв-

ной толпой, на печальной равнине, под прорезавшим сумерки сиянием новой луны.

Все улицы превратились в ад из огня и железа. Один за другим проносились шумные машины, неистовствуя от сдерживаемого бега, бесформенные тени и ослепительный свет. Среди взрывов и всплесков, глухие гудки и мрачные завывания сирены перекликались, как голоса, кричащие об опасности, о близости врага. В поясах резкого света вихрем клубились дым и пыль; воздух был насыщен острым ядовитым запахом. Фигуры седоков появлялись и исчезали, как тени из подземного царства, теряясь среди необузданно несущихся чудовищ.

— Ах, какой ужас! — бормотала Изабелла Ингирами, закутавшись в свою мантилью и шаль, крепко прижимаясь к Ване, у которой зубы стучали, как в лихорадке. — Мы никогда не доберемся. Альдо, проезжай вперед, скорее, скорее!

Сердитое нетерпение звучало в ее словах. Казалось, что они никогда не сдвинутся с места, не выберутся из этого ада.

— Но направо канава.

— Ничего не значит!

— Ну, едем.

Машина продвигалась немного и упиралась фонарями в резервуар предыдущей, затем она останавливалась, вся содрагаясь; гудели сирены. На краю канавы завывала собака: глаза ее, пораженные лучами фонарей, горели демоническим блеском, блеском изумруда, играющего на солнце.

— Вана, у тебя стучат зубы?

— Мне холодно.

— Так холодно?

— Да.

— Тебя не лихорадит ли?

— Не знаю.

Лица обеих были закрыты густыми вуалями, они не могли различать друг друга. Влажный июньский вечер был насыщен электричеством. В направлении Гардского озера сверкали молнии. Вана держала на коленях розы

из своего пояса, чтобы не помять их. Она вся горела упорством и смелой решимостью.

— Тебе, может быть, дурно?

— Нет.

— Я дам знать Джачинте Чези, что мы не будем у нее обедать.

— Хорошо. Но ты, может быть, пойдешь одна?

Вана уже таила новое намерение.

— Ты думаешь?

Обе темные фигуры чувствовали, как их голоса исполнены страданием, подобно тому, как ощущаешь боль от вывиха или от ожога. Не обнаруживая своих мыслей, они осторожно нащупывали друг друга словами, как будто дотрагиваясь до больного места, которое не выносит самого легкого толчка. Случай в мантуанском дворце оттолкнул их друг от друга, как ударом ножниц разрезается натянутая нить, и теперь сестра следила за каждым движением сестры. Под их обыденным внешним покровом тлеи инстинктивные страдания, ложь и сопротивление, при чем одна черпала свои силы в зловещем терпении, на котором было основано ее существо, другая же изнывала в неожиданностях, в противоречиях, в томлениях своей девственной жизни, неведущей и в то же время знающей столько. Но иногда безотчетная нежность овладевала ими и побуждала их броситься друг другу в объятия, излить на сестриной груди тайную муку. Крепко прижавшись, они молча вспоминали спокойствие своих колыбелей, теплую материнскую ласку и боялись двинуться, словно больные, чтобы не разбудить заснувшую боль. И в то же время они чувствовали, как постепенно по жилам, по костям, в легких и в сердце, слившихся в одну неразрывную массу, растекалось и снова отвердевало то, что заставляло их страдать и притворяться друг перед другом.

— Ах, Вана, не стучи так зубами!

— Прости. Это нервный озноб. Я не могу подавить его.

Вана впиалась в вуаль зубами, и попыталась сдержать свой рассудок, как держат голову, которая болит и склоняется. Но мысли ее разбегались, растворялись, превращались в образы, отчетливые и резкие как действитель-

ность. То она видела зубы Джулио Камбиазо, мелкие и белые, растерянную улыбку человека, который перестал существовать, движение губ, произносящих слова мечтаний: «Одна роза скатилась по синему платью на плиты пола, в которых отражались босые ноги». Ведь и в глазах, которые на него смотрели, тоже было что-то от смерти; ведь и этот взгляд, любовавшийся его улыбкой, замер; и озноб, охвативший ее, происходил от его мертвого тела. «Ведь я впервые поднимаюсь с цветком к небу. Как вы думаете, будет он легок? Он, может быть, весит, сколько два человеческих жребия. Я с ним поднимусь высоко, высоко»... Не эта ли роза убила его? Роза из Мадурь?

Она вздрогнула всем телом.

— Боже мой! Что с тобой, Вана? Как ты взволнована! Успокойся.

— Потерпи немножко, Изабелла. Я успокоюсь. Не обращай внимания на мои нервы.

— Мне очень жаль тебя, бедная, бедная Ванина!

Теперь просто нежность звучала в ее голосе.

Она привлекла к себе младшую сестру, как бы баюкая ее. Внезапно автомобиль остановился с резким толчком... Сестры упали друг на друга. Вана заметила, что Изабелла держит ее за талию, и все, что накопилось у нее в груди, вылилось в коротких, глухих рыданиях. Она чувствовала теперь только свое отчаяние да несчастье, наполнявшее роковую ночь. Она тихо зарыдала, под своей гирляндой желтых роз.

— Бедное, бедное дитя!

Но уже это смутное сострадание тяготило ее дикую гордость. Размягчившийся было комок в груди опять сжимался, становился вдвое тверже. «Ты жалеешь меня? За что? А знаешь ли ты, отчего я страдаю? Ты ничего не знаешь, ни того, что я сделала, ни того, что я намерена сделать. Ты жалеешь меня, потому что сама меня губишь, побеждаешь меня, мешаешь мне жить? Но ты увидишь, увидишь».

В аду из огня и железа завывали сирены, как в туманные вечера при входе в гавань, освещенную лучами маяка

и отравленную смрадом корабельных трюмов. В спертom воздухе невозможно было дышать.

— Вана, Вана, мужайся! Мы приехали, я поберегу, убаюкаю тебя.

Сирены замолкли, заиграли трубы. Военный оркестр проходил по улицам, расцвеченным флагами, залитым толпой. Зловещий крик раздавался среди этого шума: «Смерть! Смерть!» Издали, вблизи, ему отвечал другой голос. «Победа! Победа!» Люди со всклокоченными волосами, наклонившись на бок, словно изувеченные тяжестью бумаги, которую они держали в руках, бежали вперегонки, выкрикивая имя жертвы и имя победителя, размахивая листом, на котором еще не успели засохнуть чернила, — отвратительного вида люди, покрытые грязною пеной, пропитанные запахом вина. Но башня Паллата, Лоджа, Бролетто, Мирабелла, бульверк Замка Висконти, старые камни Комуны и Синьории горели, разукрашенные огнями, на фоне побежденного неба. И весь славный город, как во времена консулов и тиранов, был полон шума, огня, смерти и победы.

7.

— Альдо, — тихо проговорила Изабелла после продолжительного молчания, в течение которого души этих трех людей, связанных общими страданиями, пережили сильную внутреннюю бурю; неподдельное волнение звучало в ее голосе: — Альдо, тебе следовало бы вернуться ночью в Монтикияри, к Паоло Тарсису, спросить его, не можешь ли ты чем-нибудь помочь...

— Как я могу помочь ему?

— Ты скажешь, что мы с ним вместе, что мы разделяем его горе.

— И ты думаешь, это утешит его?

— Не знаю, утешит ли его это, но мне кажется, что ты должен так поступить.

— Но какое ему до меня дело? Какое ему дело до всего света? Ты уже раз посылала меня. Если бы ты

его увидела, то сама бы поняла, что лучше оставить его в покое.

Какое-то мрачное чувство давило юношу: он завидовал силе этого скорбного подвига и всем своим бурным сердцем стремился к недостижимому одиночеству, в котором пребывал дух Тарсиса. Он всего требовал от жизни, так как всего была достойна молодость, одухотворявшая его прекрасное чело. Он негодовал при виде чужого наслаждения или чужого страдания, как будто его лишали чего-то, ему одному принадлежащего.

Он страдал невыразимо, очутившись снова в старом номере гостиницы, заставленном чемоданами, пропитанном томным запахом от раскиданных повсюду женских платяев, от вуалей, перьев, перчаток, от всех этих прелестных, хотя и ненужных предметов; в то время, как там, на пустынной равнине, под простым навесом, победитель сторожил тело своего друга, покоящееся на походной кровати под знаменем, которое развевалось на состязании; и благородное горе делало похожим этот еловый ангар на навес, построенный Мирмидонянами из соломы и ели, куда Ахейцы принесли останки Патрокла Акторада.

— Он хочет остаться один. Он отослал всех, кто предлагал стоять по очереди на почетной страже. Он кратко приказал своим рабочим загородить вход. А когда я обратился к нему, он посмотрел на меня, как будто видел меня впервые.

И самому Альдо казалось тоже самое. Он никогда раньше не видел Тарсиса таким странным, отчужденным от всех, словно он возвышался над другими, принадлежал к особенной расе. И ни разу в жизни ему не приходилось наблюдать вблизи человеческое горе, которое по силе своей приближалось бы к этому, до того необычайно оно облагораживало Тарсиса, до того непохоже оно было на живую скорбь: это было что-то мощное и непроницаемое, как тяжелое вооружение, как твердая, цельная статуя.

— Если ты пойдешь со мной, то и я отправлюсь туда, — сказала вдруг Изабелла, глядя в глаза брату с какой-то страдальческой решительностью.

Сердце Ваны судорожно сжалось. Она лежала на по-

стели, полузакрыв глаза и прислушиваясь ко всему; и мысли ее, казалось, приподнимали огромные тяжести, которые опять падали и давили ее.

— Ты с ума сошла, — резко и быстро ответил Альдо. — Ты думаешь, что ты нужна ему?

— А если он мне нужен? — сказала Изабелла; голос ее звучал покорно и в то же время властно, как замаскированный удар.

Альдо побледнел, а она бросила украдкой взгляд на постель, на которой лежала белая Вана. Любовь с новой силой возгорелась, забушевала в ней, препятствие раздражало ее, а безумная ревность восстанавливала ее против этой великой печали, которая отнимала то, что принадлежало ей одной. Почему Паоло не спросил о ней, не постарался свидеться с нею, хотя бы на одно мгновение, не подал ей никакого знака? И почему он как-то скрывал свою дружбу, старался никогда не говорить о друге и не показывал его, как бы смутно опасаясь чего-то, или инстинктивно предохраняя себя от опасности или колдовства? Неужели дружба была ему милее любви? Неужели горе подавило любовь, принесло ее в жертву тени брата?

Жестокие и сладкие впечатления Мантуи снова зажгли ее кровь. И она еще раз услышала загадочные слова, сказанные ею самою в зале с резным потолком, в золоченом остове клавесина, когда Вана спросила у нее, что означает число XXVII; и она снова ощутила под веками свой взгляд, которым велела ему ждать и указала на незабываемый предел ожидания.

«Завтра, завтра!» думала она, содрогаясь, словно не в силах дольше терпеть после мучительного ожидания. «В состоянии ли я буду заставить его забыть печаль? Ведь губы мои ему знакомы. Что сделает он? Уедет? Проводит прах своего друга и не вернется больше ко мне? Или вернется, но когда?»

Теперь она любила его всеми силами своей жизни, любила безумно; и она требовала от своей любви беспредельной мощи, жаждала волшебных чар. «Вы вошли, как человек, который открывает дверь и приказывает незнакомцу: — оставь все и следуй за мной! — и не со-

мневается в успехе». В ее памяти вставали слова, сказанные Паоло на опасном пути, после того, как они миновали нагруженную бревнами телегу. И она говорила своему сердцу, которое вдруг сделалось сердцем младенца: «Вот я иду в поле, подхожу к его ангару, раздвигаю занавески и заглядываю внутрь. Он сидит около смертного ложа. Он слышит, что кто-то вошел, смотрит, поднимается и движется, как лунатик; я беру его за руку, он забывает обо всем, идет за мною в ночь, навстречу зарю».

Брат не ответил ей, не проронил ни слова. Защищая рукою глаза от света ламп, он глядел на сестру, на ее тонкое лицо, изменявшееся от всякого тайного чувства, как воздух, вечно одинаковый и вечно различный, на это лицо, одухотворенное и прекрасное, на котором мысль оттеняла подбородок, или брови, или щеку, а другая мысль стирала старый рисунок и возобновляла его с более тонкою линией, более красноречивою тенью, более резким рельефом. «Почему ты бьешь меня? Почему ты мучишь меня?» Ее лицо было теперь ликом любви, страдающим от тысячи волнений, похожим на огонь, который под дождем слабеет, но не гаснет. Это был лик страсти и очарования; полузакрытые глаза ее притягивали невидимое, а темно-фиолетовые веки не закрывали взора, потому что они сами смотрели как веки Христа на некоторых картинах: если вглядываться в них, кажется, что круги под глазами обратились в незабываемые зрачки. Ее черты олицетворяли наслаждение и жестокость, и губы ее складывались так, словно они были готовы прильнуть к таинственному страданию; как к одному из тех бледных плодов, которые становятся кроваво-красными от прививки. «Зачем ты бередишь мою рану?»

Сомнения несколько успокоили его; он убедил себя, что мог ошибиться, что никакого поцелуя и не было; и продолжая держаться на стороже, он немного утешился. И вот, она прямо сознавалась в своей любви, скорее даже немим выражением лица, чем неожиданными словами: она больше не сдерживала себя и была готова на всё. И стон, который раздался в его ушах, когда он бежал по залам дворца, снова зазвучал в его памяти: «Прощайте! Прощайте!»

Иногда с улицы доносился звук рожка, грохот бешено прорезавшей ночь железной машины, призывный свисток, резкий взрыв голосов. Город не мог заснуть.

— Мать Джулио Камбиазо жива еще? — спросила Изабелла, очень нежно, так как и она жалела о своих последних словах. — Альдо, ты не знаешь?

— Не знаю.

— Если она жива, то кто скажет ей о ее несчастье?

— Какой-нибудь грубый крикун, на заре, под окном. В полусне ей покажется, что она слышит его имя; затем душа, которая просыпается раньше тела, станет прислушиваться. Она не поверит своему слуху и будет еще ловить удаляющийся пьяный голос. А в перерывах между криками ласточка будет щебетать ей под крышей, как всегда. И похолодев, еле дыша, изнемогая, с широко раскрытыми глазами, она увидит, как в темную комнату проникает сквозь щели весь ужас дня...

— Ах, зачем ты придумываешь все эти ужасы?

Вана, дрожа, присела на постели.

— Вана, мы тебя разбудили? Ты заснула?

— Да, — немного погодя ответила сестричка притворно-сонным голосом.

— Ты видела сны?

— Да.

— Ты не хочешь ли лечь совсем?

Вана снова упала на постель, как-будто не имея силы бороться со сном.

— Дайте мне поспать еще немножко так! — пробормотала она, глубоко вздохнув.

— И я тоже изнемогаю от усталости и печали. Я пошлю Киау раздеть тебя.

— После, после тебя...

Она отрывисто бормотала эти слова, как-будто сквозь сон. Когда Изабелла подошла к ее постели легкими шагами, она, казалось, уже заснула. На столе в вазе с водой светлые пахучие розы оживали. Изабелла наклонилась, едва коснувшись губами волос спящей и отошла в сторону.

— Ступай спать и ты, Альдо, — нежно проговорила она, подставляя щеку для поцелуя. — Ты тоже, вероятно, очень устал.

Он сделал вид, что целует ее, но не коснулся губами ее лица.

— Ты сердился? — спросила она с грустной улыбкой.

Он собирался уже выходить, но вернулся и, не улыбаясь, как она, схватил ее голову обеими руками и, страстно сжимая, наклонил ее, глядя обезумевшими глазами на этот лик любви.

— Альдо! — вскричала она, и сердце ее глухо сжалось от прикосновения похолодевших рук брата.

Он оторвался от нее и бегом бросился из комнаты. Она же остановилась, прислушиваясь к дыханию сестры. На улице все было тихо, только издали доносился грохот телег. Бессвязные представления сменялись в ее уме, ей чудились странные вещи. Образ друга возник перед ее глазами, искаженный, как в выпуклости фонаря, с чудовищным обезглавленным торсом, с громадным кулаком в красноватой перчатке. Она не спала, но кошмар всею тяжестью давил ее, словно усталость повалила ее уже на землю. Мрачный страх овладел ею; роковые силы ночи набрасывались на нее, как бы собираясь ее растерзать. И она направила свое тело, — где жила не одна, а тысяча душ, — к жалкой гостиничной постели, в которой столько неизвестных путешественников оставили немного своей теплоты и отпечаток своих тел. Когда она села перед зеркалом, и служанка взяла ее косы, крепко сплетенные, как морские канаты, она с удивлением вгляделась в свою красоту, которая казалась преображенной, созревшей от пережитых ею страданий. Поэтому, когда распущенные волосы покрыли ее, мешая видеть в зеркале ее слишком обнаженное лицо, она почувствовала облегчение, словно ее обдала струя свежей воды.

Оставшись одна, Вана раскрыла глаза. Она прислушивалась, оглядывалась. Пробудившийся глубокий инстинкт заслонил все другие чувства и мысли: она уже думала не о своей печали, а об искусном плане, об успехе задуманного. Затаенная радость, что она уже сумела усыпить внимание сестры, подавляла ее волнение. Ее хитрость была легка, как дыхание, и разливалась по всему телу энергию и бодрость. Она напоминала собой молодого зверя, который, миновав с трудом неровную и незнакомую

местность, возвращается в свои владения, в свои джунгли или родные степи. Она осторожно вслушивалась в обманчивые модуляции своего голоса, обдумывала подробности своих движений. Она хотела предупредить всякую ошибку.

И, лежа на боку, глядя на вазу с розами, которая была поставлена около ее изголовья, она принялась ждать. «А вдруг Изабелла опять вздумает ехать? вдруг она теперь готовится ехать одна или с Киареттой!» И сомнение разбудило все ее печали. Она стала думать, как бы помешать этому. Ей казалось, что она ни в каком случае не должна отказаться от своего намерения, так как оно уже обратилось во властное требование души, которому надо покоряться под страхом возмездия. Ей было необходимо в эту же ночь снова увидеть того, кто с ней вместе ушел своей последней мечтою; ей было необходимо положить к ногам уснувшего еще живой букет роз, букет, от которого она отделила розу для самого высокого полета. Ее лихорадочное воображение связало в таинственную цепь неясные и трепетные возможности, вызванные их разговором, таким недавним и в то же время таким далеким. Она как бы дала обет тайного обручения. В шумном ангаре она, улыбнувшись, сказала себе самой: «Вот он поднялся, вот он летит! И роза осыпается и все кончено, все забыто...» Но дух смерти сохранил стебелек осыпавшейся розы, и этот стебелек в непобежденных руках стал для нее залогом верности. И не улыбаясь больше, она уверяла себя: «Я тайная невеста Тени». Один только друг сторожил окровавленные останки; и только одно существо, кроме него и кроме матери, имело право на последнее прощание: это право принадлежало той, которая совершила такой длинный путь, чтобы принести одну розу. И ее удивительное чувство разгоралось от таинственности, которой она окружала его; ведь она скрыла от всех эту странную встречу и этот странный разговор, она придумала какой-то предлог, чтобы объяснить свое отсутствие, ни о чем не проговорила, как бы подчиняясь клятве. А когда произошла ужасная катастрофа, она тоже спустилась в царство мрака, упав без сознания: ее душа последо-

вала за своим тайным женихом вплоть до врат смерти. Разве это было не так? Разве это было не так? Слыша, как Изабелла вспомнила о далекой матери, и как Альдо рассказывал свои жестокие фантазии, она с самой нежною болью в сердце подумала: «Кто, если не я, расскажет ей о ее несчастьи? Кто поплачет с нею, если не я? Я слышала его последние слова, видела его последнюю улыбку, его последнее нежное движение. Его друг уже совершал над землею свой подвиг. Судьба послала меня к нему со знаменем, о котором ни я, ни он не подозревали. Но он признал меня. И мы вспомнили все. Мог он быть нежен, когда хотел? Не знаю. Это знает мать, которая дала ему маленькие детские зубки. Но, быть может, он был так нежен только со мной, и только в это мгновение, которому равного ни для него, ни для меня никогда еще не существовало. Я начинала испытывать такое спокойствие духа, что не могла уйти оттуда, как будто бы меня удерживали серебрянные запястья на щиколотках, запястья маленькой индианки из Мадур. Он улыбался, казался немного растерянным, даже опьяненным; ведь, может быть, эта нежность впервые появилась на его лице... Ах, кто, если не я, сумеет все рассказать матери?» И она опустила на подушку, храня свою тайну.

Но не помешает ли ей что-нибудь исполнить обет? «Я пойду пешком совершенно одна; отыщу дорогу; и мое отчаяние и моя воля помогут мне добраться до него. Но что я скажу тому, кто сторожит прах погибшего? И еще раз все в ней смешалось.

Киара тихо вошла и приблизилась к постели.

— Позвольте раздеть вас!

Глаза Ваны были закрыты, лицо спрятано в подушке. Она вздрогнула со вздохом, легким, как стон.

— Это я, Киара. Позвольте раздеть вас?

Вана сделала вид, что борется с непреодолимой сонливостью.

— Ах, это ты, Киарета? Изабелла уже легла? — спросила она голосом сонной девочки.

— Да, синьорина.

— Ты раздела ее?

— Да, я все сделала. Я теперь к вашим услугам.

Вана замолчала. Казалось, она опять погрузилась в глубокий сон. Когда она почувствовала на затылке прикосновение пальцев, старавшихся расстегнуть воротник, она жалобно пробормотала:

— Нет, оставь. Я слишком устала. Оставь меня, как есть. Я разденусь сама. Ступай спать.

— Нет, вы лежите, а я постараюсь раздеть вас, не беспокоя.

— Нет, нет. Оставь меня.

И она нетерпеливо заворочалась на постели, повернулась к стене, спрятала лицо в подушку, бормоча невнятные слова. Клара повиновалась. Немного погодя все умолкло. Прошел уже час после полуночи. Нужно было решаться без дальнейшего промедления; нужно было выйти из комнаты, спуститься вниз и разбудить шоффера Филиппо, распорядиться тоном, не допускающим возражений, и отправиться в путь не от дверей гостиницы, а прямо из гаража. Малейшее случайное препятствие могло испортить все. «Изабелла спит? Альдо, может быть, вышел на улицу. Вернулся ли он уже? Вдруг я его встречу на лестнице! Он подумает, что я сошла с ума». Опасность возбуждала ее лихорадочную смелость.

Она взяла шляпу, накидку, вуаль. И когда она была одета, схватила голубой пояс и двумя надрезами ножниц сделала из него ленту, которой обвязала стебли роз.

8.

Паоло Тарсис бодрствовал у праха своего друга, под сенью короткой ночи. Глаза его были сухи. Самая драгоценная ветвь его жизни была обрублена, была разрушена самая драгоценная часть его общества, и обезображена для него красота борьбы. В этих глазах никогда больше не загорится смелость его собственной силы, твердость его собственной веры, быстрота его собственной решительности. Его сердце должно навсегда отказаться от своих обеих мужественных радостей: прозрачного молчания в совместном натиске и тихой гордости при охране

спокойствия себе равного. Он уже оберегал не сон усталого, под палаткой, разбитой среди засад и нападений; нет, он дожидался зари, чтобы заключить между четырьмя досками жалкие обескровленные останки друга, изуродованного до такой степени, что даже алчные коршуны не могли бы растерзать его так ужасно.

Он ни разу не заплакал, и теперь тоже его глаза были сухи. От великого горя человек как-то весь леденеет: дух становится твердым и прозрачным, как самый высокий глетчер, а печаль освещает его, как огонь, зажженный на недостижимой вершине. Он чувствовал себя свободным и ясным, как никогда раньше. В нем не оставалось ничего постороннего, никакое желание не волновало его. Он был какой-то зловещей мировой силой. Он верил, что то, что он будет делать, приказано ему свыше.

От времени до времени он вставал и смотрел в темноту на равнину по направлению к победной колонне, где воткнутый в землю шест обозначал место падения. Иногда он видел, как отсвечивали обнаженные сабли четырех всадников, стороживших Победу. Сырая ночь была насыщена электричеством. За Монте Бальдо сверкали зарницы. Ветерок, легкий как вздох, долетал до него, в вышине проносились тучи, похожие на конские гривы, и в них были влетены звезды. Изредка начинали падать крупные, теплые капли, предвещая ливень, затем все затихало. В тополях кричали совы. Где-то в деревушке выла собака. С большой дороги доносился скрип повозки. Ему казалось, что он когда-то, очень давно, пережил такую же ночь, и она в круговороте лет опять возвращалась на землю.

И он снова оборачивался к распростертому на походной кровати телу усопшего; оно было окутано красным знаменем, а голова обвязана черным платком, чтобы скрыть рану на виске и перелом темени. Он глядел на этот величественный облик аскета-искателя приключений, на этот истинный отпрыск здоровой лигурийской расы мореплавателей и ваятелей, тонкий, как аристократические портреты Антонио Ван-Дейка, что светятся в полумраке генуэзских дворцов, подернутый тусклой позолотой, которая уже темнела вокруг ноздрей и век;

и он казался еще более благородным и гордым под погребальным покровом, напоминавшим свисающий на лоб четырехугольный суконный берет, берет Дориа, знак древних адмиралов.

Четыре свечи из собора Монтикиари горели у четырех концов постели. За ними следил моряк, заведывавший сигналами на состязаниях; он был родом из Сиракуз и раньше служил под начальством Джулио Камбиазо на миноноске дальнего плавания. Это он несколько часов назад поднял на мачте белый диск, провозглашавший победу.

— Кто едет? — спросил Паоло Тарсис, услышав звук рожка и шум приближающегося мотора.

Через занавеску из соседней палатки доносились тихие звуки осторожной и усердной работы. Иногда увеличенная тень рабочего выделялась на полотне, с поднятой к кровельным балкам рукой, готовой стремительно опуститься; затем тень уменьшалась, исчезала. Скрип рубанка, визг напильника и удары молотка звучали глуше из уважения к смерти.

— Кто это едет в такой час? Пойди, Чингрия, посмотри, — сказал он сурово, услышав, что автомобиль остановился у калитки.

Когда моряк удалился, в голове его сверкнула мысль, что это могла быть Изабелла. И он почувствовал только холодное желание запретить ей войти и коснуться ногою печального места. Он вспомнил, как в последний раз простился с другом, узнав издали волнующуюся походку искусительницы; он припомнил свой вторичный прощальный привет, и колебание, и медленные шаги, и непронесенные слова, и таинственную грусть.

— Кто-то с закрытым лицом хочет вас видеть, — сказал тихим голосом моряк, возвращаясь.

«Изабелла?» Он сделал несколько шагов вперед, вышел на воздух. В темноте он различил женскую фигуру. Сердце его болезненно сжалось. Но едва он подошел еще ближе, кровь его, прежде чем он сам увидит что-либо, подсказала ему, что это не Изабелла. Но кто же это был в таком случае? Может быть, какая-нибудь незнакомка, несущая герою свидетельство любви и состра-

дания? Какая-нибудь благородная женщина, тайно пришедшая умолять, чтобы ее допустили к усопшему? Запах роз донесся до него во мраке ночи.

— Я — Паоло Тарсис, — сказал он своим странным голосом, лишенным всякой теплоты, и поклонился. — Что могу я сделать для вас, синьора?

— Простить, простить меня. Это — я, Вана.

Она произнесла эти слова сдавленным голосом и приподняла вуаль с лица, как с живой раны; жизнь вся сосредоточилась на этом лице, как боль в растравленной язве.

— Вы здесь, и одна? Как так? Что случилось?

Ее глаза, привыкшие к темноте за время пути, хорошо различали его на фоне освещенных ангаров; она пожирала его взором, насыщалась им, как будто нашла его после бесконечных поисков и долгих ожиданий. Все, что она оставила за собой во мраке ночи, представлялось ей смутным сном. Старый пыл, который внушил ей это решение, начинал спадать, и воля, такая напряженная до этого мгновения, слабела, терялась. Смертельное желание взять его за руки и расцеловать их охватило ее, — расцеловать руки, бросить на землю розы, упасть самой к его ногам, чтобы он перешагнул через нее.

— Я сейчас скажу... Дайте мне вздохнуть.

Она тяжело дышала, как будто всю дорогу совершила пешком.

Но что могла она сказать ему? Сколько слов возникло в ее душе за время пути, и она берегла их до самого конца, но теперь не была в состоянии найти их.

— Как пришли вы сюда, совершенно одна? Кто-нибудь есть с вами?

— Нет, никого нет, кроме Филиппо.

— Но что случилось? Говорите же.

— Я сейчас, сейчас скажу.

Она хотела ответить: «Я пришла сюда, потому что не могла больше жить, не узнав, что такое горе на вашем лице». И она стала искать другие слова; слова рассеявшегося сна, которые было необходимо найти и произнести, потому что розы в ее руках знали и требовали их.

Голос ее зазвучал как-то необычайно, подобно под-

водным течениям, которые выносят на берег вещи, забытые исчезнувшей Сиреной.

— Я тайная невеста того, кто лежит там за занавеской без дыхания.

Паоло почувствовал, как более резкий холод пробежал по его телу. Ему почудилось, что он слышит голос безумия, и страх и жалость охватили его. Он наклонился ближе к бедному обезумевшему лицу. Вся ночь казалась ему преисполненной бедствий.

— Я должна положить эти розы к его ногам. Я для этого пришла сюда.

За Монте Бальдо сверкали зарницы.

— Они были сегодня у меня за поясом. Я вошла сюда, пока моя сестра была с вами; я вошла неожиданно, сама не знаю зачем, словно меня принес ветер.

Ветерок, легкий как вздох, долетал до них.

— Мы говорили о вас, и он передал мне предсказание прорицателя из Мадур: обоим — одинаковая смерть.

В вышине проносились тучи, похожие на конские гривы, и в них были вплетены звезды.

— А затем, он вспомнил, кто я такая, вспомнил, что я — молодая индуска, которая стояла тогда у скамьи торговца и покупала гирлянду желтых роз; она повернулась к вам обоим.

Крупные, теплые капли начинали падать, предвещая ливень.

— Он сказал, что индуска была похожа на меня. Это правда? Он закрыл глаза, чтобы лучше увидеть ее; а когда открыл их, то увидел ее еще более живою, так как я была перед его глазами. И он сказал мне, что когда она сделала шаг вперед, одна роза скатилась по голубому платью. Это правда?

Дождь перестал.

— И он сказал мне, что быстро нагнулся, желая поднять цветок; но было поздно. «Вот она!» воскликнула я тогда, отрывая розу от своего голубого пояса.

В тополях кричали совы.

— И он взял ее и сказал: «Неужели вы из Мадур? Как совершили вы такой длинный путь? Ведь я впервые поднимаюсь с цветком к небу. Как вы думаете, будет он

легок? Он, может быть, весит, сколько два человеческих жребия. Я с ним поднимусь высоко, высоко».

Где-то в деревушке выла собака.

— А затем этот ужас, эта смерть! Когда вы его взяли на руки, то на его окровавленной груди была еще роза из Мадур, моя роза? Скажите, скажите же!

Она чувствовала, что ее слова привлекли, очаровали душу этого человека, который смотрел на нее с удивлением и беспокойством. И вот, ослабевший было пыл разгорался в ней снова; мечты, которые было рассеялись, снова собирались вместе: и этот пыл, и эти мечты приближали ее к одинокому сердцу лучше, чем ее могли бы приблизить слова любви, облакали ее во что-то роковое, делали ее величественной и загадочной.

— Скажите же, Паоло!

— Не знаю, не видел; это не могло быть.

В его холодное горе вдруг вкралась какая-то новая дрожь, и неясное чувство внутри его рождало неведомые образы, которые приходили и удалялись по тем путям, где он раньше двигался вместе с братом, и где он теперь был один. Необыкновенные картины рисовались перед ним, независимо от его воли и затем сразу стирались. И в глубине его души колебалось и росло смутное предчувствие; и он думал, что достаточно было бы ему остановить его и вникнуть в него, чтобы найти ключ своей судьбы. Кто-то внутри его прислушивался ко всем этим звукам и провожал их до самых глубин жизни. В тополях кричали совы. Где-то в деревушке выла собака. С большой дороги доносился скрип повозки. Ему казалось, что он уже когда-то, очень давно, пережил такую же ночь, и она в круговороте лет опять возвращалась на землю.

— Но, может быть, хотя бы стебелек еще остался, — сказала покорным голосом смуглая девушка. — Кто знает, чьи руки первыми коснулись его!

И она сделала шаг к занавеске, за которой мерцал огонек.

— Хотите войти? — спросил он, как во сне.

Она приподняла свой букет, и они пошли рядом. Когда они достигли порога, и Паоло захотел раздвинуть мате-

рию, она прижалась к нему, дрожа от страха. Он подержал ее и подтолкнул вперед. Они вошли внутрь.

В темноте пустой комнаты Вана заметила прежде всего дрожание четырех погребальных свечей. Ангел, который она перед тем видела занятым расправленными белыми крыльями, показался ей пустым, громадным и зловещим, как катакомба. «Где же сверкающий ангел?» Она закрыла глаза и задрожала, как огонек свечей, сознавая, что силы покидают ее, что она не в состоянии совладать со своим страхом. Она чувствовала, как Паоло поддерживает ее; и ей захотелось не ожить больше никогда, но слиться с ним, потонуть в нем.

— Вана! Вана!

Он звал ее тихим голосом, слегка тряся ее за руку. И услышав свое имя, произнесенное его скорбью, она почувствовала такое божественное спокойствие, что начала тихо плакать. Ему были дороги эти молчаливые слезы, которые орошали его затвердевшее сердце, как будто они лились внутри его самого. И из бесконечной дали в его сердце вернулись старинные, хорошо известные слова одного друга к тени другого: «Но подойди поближе, чтобы мы хоть немного, обнявшись, могли насладиться плачем смерти».

Тогда и она вдруг полюбила покойного великой любовью, потому что Паоло так любил его; и сквозь слезы, она посмотрела на бездыханный лик, который светился такой красотой, какой она никогда не видала на живом лице; и это выражение глубоко запечатлелось в ее душе; и она стала вдовой Тени.

Силы вернулись к ней; но это были не ее силы, они вливались в нее из рук, которые поддерживали ее, из сердца, которое билось рядом с нею. И сделав несколько шагов, она протянула букет и положила его на сжатые ноги, обернутые красным полотнищем. Она чувствовала, что каждая ее слеза и каждое движение были дороги мужественной скорби, и что девственность делала ее достойной приблизиться к смерти.

Она сказала совсем шопотом:

— Я знаю, что стебель моей розы еще там, на его груди.

Паоло оставил ее, приблизился к телу друга и остано-

вился в нерешительности. Она стояла, выпрямившись и без движения, и ей казалось, что он шалгал по ее бющему сердцу. Бледные губы покойника были раскрыты над чистыми, детскими зубками. Когда Паоло поднял дрожащую руку, она взглянула на него, и на его лице она тоже увидела мертвенную бледность. И страшное предчувствие охватило ее так сильно, что она едва удержалась, чтобы не броситься в слепом порыве к тому, кто остался в живых, и не удержать его на краю пропасти. Она слышала, как скрипит рубанок, и визжит напильник, как стучит молоток за занавеской, которую она раздвинула в тот раз, влекомая ветром; и все это тихо, как во сне.

Дрожащая рука Паоло осторожно-осторожно подняла с неподвижной груди край покрывала; стебель и чашечка без лепестков лежали на ней.

И тогда все стало похожим на таинственный обряд. Вана упала на колени и коснулась лбом железных перекладин смертного ложа. Она молилась своему богу; но ее воображение помещало в темном углу позади, где белели роковые обломки, два огромных каменных идола, засыпанных приношениями, и бритого предсказателя, жующего листья бетеля. Шум невидимой работы доносился до нее, чрез освещенную занавеску, на которой иногда вырисовывалась тень чьего-нибудь тела, повторявшего то же движение, и вызывал в ней мрачные мысли. Ей казалось, что, строя крылья, рабочие сколачивают из того же материала гроб для трупа. От одного более резкого удара она вздрогнула и встала на ноги.

— Что они делают? — спросила она, боязливо пододвигаясь к Паоло, который задумался о неизяснимых вещах.

— Чинят крыло.

— Чье крыло?

— Мое.

Так как моряк больше не следил за свечами, то они сильно нагорали и дымили, а капли воска с глухим звуком падали на подставки канделябров. Воздух становился все более темным и непроницаемым, и в нем двигались красноватые тени.

— Почему ваше?

— Спускаясь слишком быстро, я сломал его, ударившись о землю левым боком.

Он привлек Вану к занавеске, ощутив вдруг желание увидеть хоть немного света. Она бормотала, дрожа всем телом.

— Я как раз отсюда пробралась в то время, как пропеллер колыхал полотно, поднимая тучи пыли.

Они заглянули в соседнее помещение. Лихорадочная жизнь кипела в освещенном электрическими лампочками ангаре. Раненая Ардеа занимала все пространство. Рабочие заменяли ясеневые дуги новыми, накладывали свежие куски полотна, прикрепляли новые бруссы, натягивали проволоку, заколачивали кромку мелкими гвоздями. Как сама гибкая жизненная сила восстанавливает сломанное или поврежденное крыло ласточки, так и здесь пыл работы быстро и чудесным образом исправлял крыло человека в эту короткую ночь.

— Но к чему такая спешка? Почему они работают ночью? — спросила Вана, глядя на грустного победителя своими беспокойными просящими глазами.

— Чтобы быть наверняка готовыми во-время, чтобы поспеть к утру.

Они вместе повернулись к бледной тени, к пустому пространству, на котором белели печальные обломки, освещенные четырьмя погребальными свечами.

— Для чего? — спросила она, и ее бледное лицо, изможденное страстью и утомлением, выражало неподдельный ужас.

Ее глаза не отрывались от его уст, ожидая ответа с такою настойчивостью, что душа его разрывалась, как от взгляда убитого друга; ему даже хотелось закрыть их, прикрыть веками и ресницами взор, который мог длиться вечно. Он сделал неопределенный жест, но ничего не ответил.

— Для чего? — повторила Вана; она уже утратила свой человеческий облик, обратилась в какой-то скорбный дух, как-будто сила ее собственного чувства уничтожила ее; она походила на столб песка, на мгновение

поднимающийся над открытым со всех сторон берегом моря.

И в этом месте, где царило молчание, он заговорил совсем шепотом.

— Разве я не обязан подняться туда, куда поднялся он? Повторить совершенный им путь?

Так тихо звучал иногда его голос в прежние ночи, когда он боялся разбудить друга.

— Ах, нет, вы не сделаете этого! Я умоляю, заклинаю вас этой разможенной головою, этим бескровным лицом, этими устами, которые не простились с вами! Ах, поклянитесь, что вы не сделаете этого! Послушайте! Я ничто, ничто для вас; но судьба пожелала, чтобы я приняла его последнюю улыбку, его последнее нежное слово. Пусть это, хотя бы одно это, даст мне право — не стать дорогой вашему сердцу, о нет, а только умолять вас, не возбуждая в вас гнева. Послушайте! Мне страшно, мне страшно!

Ужасные образы, зловещие крики, вызванные предсказанием, терзали ее; но крики эти звучали внутри ее и поглощали ее голос, который был едва слышен. И Паоло принимал ее в свое сердце, нежно берег ее.

Он взял ее за руки и ласково повел на открытый воздух, в бледнеющую ночь. И он как-будто уговаривал ее: так успокаивают горести ребенка.

— Нет, Вана, не надо так бояться. Ничего не случается, ничего не случится... Возможно, что крыло не будет исправлено, да, конечно, оно и не будет исправлено... Успокойтесь, успокойтесь, дорогая детка, вы совсем устали, вам пора ехать. Скоро начнет светать. Как вы попали сюда? Кто-нибудь знает об этом, ждет вас?

Она качала головою, не глядя на него, так как из-под ее горя поднималось чувство счастья, которое тяготило ее более, чем какая бы то ни было мука. Он держал ее за руку, утешал, называл «дорогой деткой»! Почему же это слово не в силах было переродить и умертвить ее тут же? Почему она должна вернуться в противную гостиницу, может быть, встретить на пороге ту, которую она обманула, опять бороться, опять обманывать, опять

окупаться в отравленную, невыносимую жизнь. «Дорогой, любимый», говорило ее безнадежное счастье, «позвольте мне еще остаться здесь, побыть здесь с вами немножко! Я хочу остаться здесь в тени, где дымятся свечи, и витает смерть, чтобы не видеть восхода солнца над холмами, чтобы не расставаться с вами под последними звездами, не зная, что новый день начинается вдали от вас, дорогой мой, любимый мой! Я обессилела. Я умираю от усталости. Оставьте меня где-нибудь здесь в углу, рядом с этими обломками. Никто меня не увидит. Я смешаюсь с этими обрывками полотна, не буду дышать, не буду шевелиться. Я только прошу вас повторить это слово. Я подложу под голову руку, и головой, и рукой, и всем телом прильну к этому слову; и закрою глаза, которые светлы, как ваши, и засну, чтобы проснуться только, когда меня разбудите вы, которого люблю я, — только одна я».

Прежде чем покинуть священное место, прежде чем пропустить его вперед, она повернулась и окинула взором грубую походную кровать, спокойствие, запечатленное на горделивом лице, неподвижное тело под красным покрывалом, розы, возложенные на сжатые ноги. И, поклонившись, она перекрестилась.

Но когда она приподняла занавеску и очутилась на ночном воздухе и взглянула на меркнувшие предзвездные звезды, она не могла удержать дольше слезы. Она остановилась в волнении. Колени подгибались под нею, вся она как-то таяла. Так как любимый человек стоял с нею рядом, она склонилась к нему на грудь, плача без рыданий, как будто изливая всю свою жизнь, от самой колыбели. И слезы ее текли, как ручеек под камнем, неслышно.

9.

Паоло Тарсису были знакомы хребты самых высоких гор, течения самых полноводных рек, песчаные, каменистые пустыни, заросшие сухим кустарником; и тени знойных земель, которые сперва кажутся черными, а затем, когда

глаз привыкает к ним, становятся яркими, как новоявленный свет; и самые разнообразные поколения людей на самых разнообразных путях, с их поклажей, с их оружием; и застывшие племена, что, склонив подбородок на колени, дремлют на старинных стенах; и племена властные, которые всегда стоят, выпрямившись во весь рост, потрясая мир своей безумной отвагой; и огонь высоких вулканов, рождающий потоки железа, затопляющего молодые города; и одинокие тщедушные огоньки, поддерживаемые сухим пометом животных; и ужасающие тучи пыли, которые поднимаются во время великих движений человечества; и те знания, что дремлют в народе, подобно зародышу, гнездящемуся в чреве матери... И на его глазах повсюду вставали эти странные образы, о которых говорит Мистик, образы, которые Божественный случай порождает в существах и событиях, таинственных, как пестрые пылинки в мраморе, как многогранные фигуры кристаллов, как сталактиты в пещерах, как кучки опилок вокруг магнита, как связь между числом тычинок и числом лепестков цветка.

Его воинствующая воля, привыкшая управлять материей и властвовать над нею, проникала бесстрашно за такие пределы, где, казалось, она теряет силу; и он знал то, что не могут выразить уста, то, что не могут изъяснить глаза. Он встречал на гранитных стенах загадочную Эмблему Пауз, которую прочел в золоте и лазури мантуанского дворца. Поэтому, презирая все привычки, он соблюдал привычку молчания и привычку внимания.

Однажды вместе с отрядом американских всадников, на острове Сулу, он и друг его увидели вдали человека в белых одеждах, который шел к ним навстречу, потрясая длинным сверкающим ножом. Это был один из тех магометанских фанатиков, которых испанцы называют *juramentados* — дикие миссионеры, что из Аравии, Бухары, Туркестана проходят по всей Азии пешком, пересекая Индию и Малакку и оттуда на пирогах переплывают море до острова Борнео, объятые неистовой страстью, опьяненные от заклинаний, алчущие только христианской крови. И он шел на всадников по залитой пальцами

солнцем площади, держа в руках нож, таёя в сердце одно только желание убить. В него полетел град пуль. Он не упал, но продолжал идти на свою жертву. И Паоло Тарсис заметил устремленный на него взор неподвижных зрачков. Пуля попала безумцу в бритую голову. Прежде, чем упасть, он метнул нож в наметченную цель. С быстрой молнии пара шпор вонзилась в бока одного из коней, который бросился в сторону, взвился на дыбы и принял грудью острое лезвие. Изогнувшись на седле, Джулио Камбиазо припал щекой к гриве.

И теперь не в памяти своего ума, а в гораздо более глубокой памяти, оставшийся в живых смешивал бритую голову странника с головою предсказателя и, в ощущении бесконечной отдаленности, — роковое значение ножа со значением розы. И все являлось единением и связью в неизведанном моменте его жизни. И в наивысшем круге его души, как мистическое эхо, звучал вопрос: «Вы совершили такой длинный путь?»

Подвиг, который он должен был совершить на глазах толпы, представлялся ему молчаливым религиозным обрядом, указанным повелительной необходимостью, над которой он не задумывался, но которой никакая сила, ничье убеждение не могли устранить. Шел ли он навстречу предсказанию? Или бросал вызов смерти, или даже искал ее? В нем не было ни беспокойства, связанного с предчувствием, ни возбуждения, сопровождающего подвиг; ожидание и горе вселили в него уверенную силу, как-будто он направлялся на давно желанное свидание с дорогой тенью брата. Его наполнял тот странный холод, что сопровождает волю, когда она переступает обычные границы, как бы превращая душу в алмазную гору, на острой вершине которой есть место только для орлиной мысли.

Но все внешние обстоятельства были ему ясны, как воинский долг. Он был записан в состязание и не мог уклониться. Отдав погребальные почести другу, он возвращался на равнину. Потом, исполнив полет, он отправится сопровождать его прах на Стадьенское кладбище.

Когда Ардеа с починенным крылом была выведена из

ангара, толпа умолкла, как и в тот раз: какая-то особенная дрожь пробежала по ней, словно она составляла одно тело с одним и тем же спинным хребтом.

Был облачный день. Молодое лето сражалось на небе, как мужественная амазонка, устремляя на врагов своих белых и серых жеребцов, осыпая их серебряными и золотыми стрелами. Облака сходились и расходились, разбегались и бросались одно на другое, как толпа всадников, вооруженных щитами. По временам легкий и звучный дождик падал сверху, среди отвесных лучей солнца. За холмом, окутанным свинцовыми тучами, гремело. Кое-где показывались клочки синего неба, как бы обещающие успокоение.

Омытая ливнями бронзовая Победа на стройной колонне зеленела, как листья лавра, желтела, как дикая маслина. Множество венков висело на шесте, воткнутом в место, освященное падением героического потомка Икара и напитанное благородною кровью; другие, в еще большем количестве, лежали вокруг на траве, как бы украшая славную могилу.

ПроPELLер завертелся в тишине. Летчик прислушивался к дружному биению семи цилиндров: оно было ровно и мощно. Увлеченная порывом, Ардеа поднялась на воздух, исполненная роком, как цапля, имя которой она носила в честь старого покинутого утеса.

Вдруг она очутилась одна, стала прозрачной, как воздух, и светлой, как сияние дня. «Неужели я узнаю его путь?» спрашивал он сам себя, ощущая повсюду кругом то же благоговение, которое накоплялось в его сердце. «Неужели это его огненный след?»

Еще ни разу, ни разу тень брата не была так близка к нему: ни тогда, когда его усталые затекшие руки поддерживали окровавленную голову, ни тогда, когда он поднимал недвижимое тело, чувствуя, как трещат сломанные кости, ни когда он обернул его красным знаменем и положил на походное ложе, ни когда в течение всей ночи он наблюдал на его лице красоту, которой больше не было в его собственной жизни, ни тогда, когда он в своем сердце ощущал слезы темной девушки. Эта тень парила между обоими крыльями, подобно духу ветра, подобно

незримому лоцману, который указывал ему путь и звал его ввысь.

И чем выше он поднимался, чем упорнее он боролся, тем яснее обнаруживалось присутствие этого духа. «Докуда долетел ты? Где ты остановился? Где настигло тебя дуновение смерти? Ты ведь поднялся еще выше? Все исчезло. Земля — непроницаемая туча. Небо принадлежит нам с тобою». Небо жило и волновалось, как беспокойная молодость. Оно иногда смеялось шаловливо, и смех этот обращался то в дождевые капли, то в снопы света. Полосы дождя были теплы, как лучи солнца, и наоборот, лучи солнца иногда были свежи, как прохладные капли; испарения раздирались на части, как края туники под ногами танцующих. Тучи плясали с дерзким весельем среди раскатов грома. А неподвижное облако — земля — было охвачено неистовством и посылало к небу крики, которые не достигали цели. А сверху героическая мощь разливалась, как дождь из дотоле невиданной тучи. Уже не одна Победа, но слава всего народа возвышалась над римской колонной: еще раз миллионы глаз увидели на сигнальной мачте знак победы.

«Еще выше?» спрашивал герой у незримого лоцмана и взглянул на колеблющийся указатель. И неиспытанная еще дрожь пробежала по его сердцу, дрожь, которая впервые сотрясала человеческое тело.

Не был ли это последний круг, которого достиг его товарищ? Сердце у него забилося сильнее. Он оставил рычаг высоты, и крылья стали парить, не поднимаясь больше. Тень стояла лицом к лицу с ним, смешивала свое дыхание с его дыханием; она жила более настоящей жизнью, чем всё, что окружало его в молчаливой вышине, была живее его собственного горя. «Не это ли твое место? Ты еще выше хотел подняться, еще выше унести цветок твоих упоительных мечтаний, когда безмолвный удар остановил твое стремление, подрубил твою смелость. Ведь ты позвал меня? Ведь ты искал меня в пространстве? Вот, теперь я с тобою там, где ты был один».

И сердце его забилося сильнее, так как он замыслил подняться еще выше.

«Ведь ты хочешь? Ты хочешь?» Его героическое же-

ление приняло для него образ Тени, и он говорил с нею и с удивительным беспокойством ждал ответа от этого призрака. Конечно, он ни за что не поднялся бы выше, если бы увидел тело, распростертое на постели или покоящееся в гробу, он не согласился бы вырвать победу у павшего. Но над ним парило сверкающее бессмертное существо, побуждая его. «Ведь ты хочешь?»

И сердце его забилося сильнее, так как все повелительнее становилось желание подняться еще выше.

Пока он кружился по последнему кругу, на ровных крыльях, ему показалось небесное видение, легкое, как светлый дух, слабый спектр, на котором обрисовывались цвета крови, золота, фиалки. «Это твой знак?»

И спектр изогнулся, вырос, охватил все пространство между облаками, венчая тучу, как семицветная триумфальная арка.

Это была радуга.

И Тарсис, неся над своей дерзкой отвагой бессмертное горе, поднялся выше победной грани.

* * *

КНИГА ВТОРАЯ.

1.

— О Лунелла, о Лунелла,
Что ты в памяти лелеешь?
И сестру каким подарком
Ты подаришь за напевы?
Перед ней в ответ на пенье
Ты какое сновиденье
Снегом ласковым развеешь?
Говори свои мне сказки
Волшебством блестящих ножниц,
Пока еще ты помнишь,
Пока я не забылась¹⁾!

Качая в такт своей роскошной головкой, Лунелла слушала импровизаторшу; карие глаза, с длинными ресницами, были серьезны, и едва заметная улыбка играла на ее немного сердитых губах, губах Антиной. Она, держа в руках лист белой бумаги и тонкими ножницами вырезала из него различные фигуры. Она сидела на круглой ограде, окружавшей патриархальный дуб в саду Ингирами; Вана стояла на коленях тут же на траве, усыпанной мелкими темными желудями, и следила за сказочной работой. Из-за потемневших черепиц старого дворца виднелись облитые знойным июльским солнцем серые и желтые башни Вольтерры. Ласточки тучами пересекали воздух между собором и замком.

— Если ты споешь мне еще, я сделаю тебе кошку с котятами, — сказала девочка, отделяя кончиками ножниц вырезанную из бумаги картинку и кладя ее на колени Ваны. — А то брошу.

¹⁾ Пер. М. Лозинского.

— О Лунелла, о Лунелла,
 Без когтей орленок нежный,
 Сев ты сеешь белоснежный,
 Я собираю всход багровый.
 Если лилий ты белее,
 Амаранта я темнее.
 Провожай мои напевы
 Снов неспешных белизною,
 Взора темного грозою,
 Пока еще ты помнишь,
 Пока я не забылась!

Так играла Вана со своей скрытой печалью и со своей дикаркой сестрицей, стоя на коленях на траве и подбрасывая ладонью, как игральные косточки, и ловя затем обратной стороной руки маленькие блестящие желуды, выпавшие из высохших чашечек. А кончики ножниц в это время отделяли от бумаги миниатюрные изображения, вырезанные так отчетливо и искусно, что казалось, будто контуры были очерчены не на память, а по тени настоящих котят.

— О, какой ты молодец! — воскликнула Вана, держа картинку над коротко скошенной травой и восхищаясь ими.

Вся прелесть кошечек была воспроизведена с такою смелостью линий и правильностью перспективы, что была достойна настоящего художника, напоминая тонкие рисунки старинных восточных мастеров из жизни животных на длинных свитках шелковой бумаги.

— Если ты мне споешь еще, — сказала дикарка, касаясь чистого листа своими волшебными ножницами, — то я сделаю тебе золотую курочку с тринадцатью цыплятами, которая живет внутри Вольтеррской горы, но которой еще никто не видел. А то больше ничего.

— Королевна, королевна,
 Сделай крылья мне большие,
 Чтоб лететь мне от Вольтерры,
 От Утесов прямо к морю.
 Если ж это свыше меры,

То навей мне сны другие
 Чарой пальцев вдохновенной,
 Чтобы я в стране блаженной
 К счастью мертвых приобщилась,
 Пока еще ты помнишь,
 Пока я не забылась¹⁾!

Молодая художница качала в такт головою, но она вся была занята курочкой из Вольтеррской горы. Брови ее немного приподнялись над глазами, которые Вана называла грозными, сердитые губы сжались, она вся была покрыта распущенными волосами, густыми, как волосы ангела у Мелоццо, темнофиолетовыми, как кисть черного винограда. Над нею, колеблемый полуденным ветерком, шумел дуб, покачивая своей темною зеленью над девятью узловатыми ветвями, отделявшимися от здорового ствола. Сучья, суставы, следы надрезов, обломанная кора, все эти знаки глубокой старости и долгой борьбы делали дерево почтенным, как опору непобедимого народа. И до того здорова была его жизненная сила, что он в течение веков сохранил пышную зеленую листву, которой могла бы позавидовать роща молодых дубков на вершине холма около моря; но его кора была тверда, как самый старый этрусский утес, обращенный на север, и таким почтенным выглядел он, что, казалось, только народный Кабан, возвышающийся на консоле Башни Подеста мог бы точить клыки о его подножие.

— Если ты мне споешь еще... — начала снова Лунелла.

— Ах, нет, больше не надо.
 — Почему?
 — Я больше ничего не знаю.
 — Почему?
 — Я растеряла свои неровные рифмы.
 — Почему?
 — Их у меня заклевали ласточки.
 — Неправда.
 — Пусть теперь поет дуб. Слушай.

¹⁾ Пер. М. Лозинского.

Ветер, колыхавший этого благородного старца, прилетал с коварных приморских песков, с горбатых, чешуйчатых меловых гор, с бесконечных известковых равнин, с обрывов и ям, со всего запустения бесплодной земли, окружавшей каменный город, палимый полуденным солнцем. Иногда казалось, что пыль погребального алебаstra белела в нем, что он приносил с собою печаль последнего пути, последнего прощания, которая отпечатывается на фигурах урн, скрытых в катакомбах. Вана думала о том молодом всаднике, который скачет в подземное царство, весь закутанный в плащ, закрывая полою свои онемевшие уста, и крылатый дух летит рядом с ним, а навстречу ему идут души умерших.

— Когда вернется Иза? — спросила с досадой Лунелла.

— Не знаю.

— Куда она уехала?

— Она мне не сказала.

— Но ты, наверное, знаешь, Мориччика.

— Я тебе говорю, что нет.

— В этом году она не повезет нас на берег моря?

— Должно быть.

— Итак, ты ничего не знаешь?

— Ничего не знаю.

— Она рассердилась на тебя.

— Ты ошибаешься.

— Она стала дурная, очень дурная.

— Ты так думаешь?

— Вот курочка из Вольтеррской горы.

И из рук маленькой волшебницы на ладони Ваны упали готовые картинки, как хлопья снега на горячие уголья.

Кто вложил в нее это искусство? Какой таинственный инстинкт водил ее точными ножницами и указывал линию жизни? Что за проникаемость была в этих светлых глазах, которые иногда становились строги даже суровы, как глаза Божественного Младенца, что, играя в мастерской назаретского плотника, вдруг замечает тень Креста.

— Ты творишь чудеса сегодня, — сказала Вана. — Я спрячу их в книгу.

У нее была книга с черными листами, куда она вкладывала эти белые картинки, книга белая и черная, как фасад Баптистерия, как своды св. Михаила, как цоколь св. Августина, как черная и белая клавиатура, как ее собственное дикое сердце, как день и ночь.

2.

Было поздно. Уже бледная луна поднялась за Вольтеррской тюрьмой. Одинокaя магнолия в заросшем мускусом дворике насыщала своим ароматом ночную тишину, не уступая своей хрупкой власти старому дубу, вся хрупкая в своей восковой плоти. Во дворе уже закончили работу слуги. Уже Вольтерра безмолвная, как ее гробницы, успокоилась, тяжело дыша своими каменными пещерами.

«Кто знает, как поют соловьи у ворот Доччюла!» думала Мориччика, стоя у окна; ей не хотелось спать, ей тяжело дышалось, точно дыханием своим она должна была приподымать стены своей комнаты. «Кто знает, как они поют у ключа Мандринга, у Аббатства!» Она мысленно увидела Аббатство, непроницаемую тень в расщелинах Утесов, журчание ручейка, просачивающегося в страшную пропасть, и освещенные луной известняки, напоминающие кору потухшей планеты.

«Что делает там Аттиния? Почему она не приходит? Баюкает своего ребенка? Или спит спокойно?» Она думала о крестьянке, носившей имя нежной мученицы, скромной привратнице разрушенного Аббатства. И в мечтах она направлялась к ней, проходила по торной дорожке, пересекающей поле, как пробор в волосах; сворачивала налево по заросшему травой склону холма, под стеной, где выступают поломанные искривленные дубы, оставшиеся карликовыми дубами под порывами ветра, напоминая безруких нищих-калек, которые выстраиваются в ряд на повороте дороги, прося милостыню; она прислонялась к стене, глядела вниз и видела, как на краю обрыва дрожат жалкие желтые цветочки, любезные покорному сердцу Св. Гречинианы и Св. Агатинии, этих двух девственниц-сестер перед богом и перед пыткой. Холод

пробежал по ней; и она, вся дрожа, пробиралась вдоль неровной стены.

«Как это странно! Эти обрубленные дубы — внутри меня, эта облупившаяся стена — внутри меня. Я только что касалась ее, ощущала холод ее камней. Неужели мне это приснилось на яву? Закрывать глаза, сплести за спиной руки и нагнуться вперед... Через сколько времени цветочки услышат глухой всплеск воды? Спустя бесконечное время. Падаешь, падаешь целую вечность, до самого сердца земли... Ах, если бы я это сделала!» Жажда мести вдруг поднималась в ней и мучила ее разум. Она искала средство как-нибудь обидеть тех, кто мучил ее, и своей собственной смертью раз'единить их. «Но и это, даже это не помогло бы. Как мало времени продолжалась скорбь о незабвенном друге! Не через пять ли дней они сошлись над свежей могилой? Разве они не забывают обо всем, не топчут все святое?» Душа ее была полна горечи. И когда до нее из Крепости долетел слабый звон колокола, не дающий заснуть часовым, она сравнила свою судьбу с судьбой заключенных. Ведь она тоже — несчастная узница. Ведь она тоже томила в постыдной неволе. Осужденные на праздность, а не на труд, они ведь все трое — Вана, Альдо, Лунелла — жили в этом чужом доме, как в золоченой темнице.

После смерти матери и вторичной женитьбы их отца Курцию Лунати на его любовнице, старшая их сестра, овдовев после Марчелло Ингирами, оставившего ей болезненное состояние, спасла их от нужды и унижений новой семейной жизни. Почти обнищав от постыдной расточительности отца, они жили теперь только на средства сестры и, хотя не знали нужды, однако, находились в какой-то замаскированной зависимости от нее, потому что всякое свободное движение и свободное слово могли показаться непризнанием, забвением всех милостей, могли вызвать тягостные упреки в неблагодарности. У них не было других средств, другого прибежища. Они были связаны с жизнью сестры, с ее судьбою. Всегда и везде она давала им приют и содержала их. Но если бы кто-нибудь из них захотел стать самостоятельным, он очутился бы нищим на улице, или должен бы постучаться в не-

навистную дверь, которая еще, может быть, и не открылась бы.

Теперь новая опасность угрожала им, и они принуждены были ждать ее без надежды на спасение, подобно томящимся во мраке, которые неминуемо погибли бы в случае пожара.

«Сложить руки за спиною, как тогда, когда я пою у рояля, закрыть глаза, нагнуться и полететь вниз в бесконечность, как мне порою кажется, если я сплю на левом боку... Завтра утром я пойду в Аббатство к Аттини, посмотрю на свою стену, нарву желтых цветков. Желтые розы из Мадур, желтые цветочки с Утесов! Но не я их понесу на этот раз; их понесет другая вестница...» Вдали закричала сова — где? На стене старой Крепости? Нет, дальше, там около Ворот Арко? И слезы подступили к горлу Ваны; вдруг кто-то постучал в дверь. Она вздрогнула.

— Кто там?

— Это я, Мориччика. Ты уже легла?

— Нет еще.

— Можно войти?

— Войди, Альдо.

Это был ее брат. Он вошел, как бесплотный дух, бесшумно. На нем была тонкая шелковая рубашка, на босых ногах деревянные сандалии. От него пахло свежей водою и запахом папироски, продушенной опиумом.

— И ты тоже не спишь. Что ты делала, Мориччика?

— Ничего, я стояла у окошка.

— Мне не хочется спать. Я хочу еще музыки.

— Еще?

— Как ты пела сегодня!

— Хорошо?

— Ты пела не как добро, а как зло. Я не могу притти в себя.

Он опустился на низенький диван рядом с загроможденным книгами столом. Его бледная рука нервным движением взяла одну из книг и сейчас же бросила ее.

— Каждая твоя нота звучала, как вопль, нарушающий молчание. Иногда ты напоминаешь мне своим пением тот вечер, когда ты упала у Альберини и сломала себе

руку. Мы были еще детьми. Ты помнишь? Всю дорогу ты только и делала, что кричала, и казалось, будто из твоей груди молодого щегленка по всему миру разливается ужас. Казалось, вот-вот ты кончишь, но затем крики возобновлялись. Ты теперь так же поешь иногда.

Она засмеялась через силу.

— Это ужасно, бедный Альдо! А я воображала, что кое-чему научилась!

— Не притворяйся, будто не понимаешь меня. Ты отлично поняла, что я хотел сказать. Ты пела это потрясающее „Vom Tode“¹⁾ Бетховена, как если бы, отделившись от плоти, ты говорила новые слова свое душе и всем другим внеплотным душам. Твой голос звучал, как над пропастью. Я думал о том, что бы было, если бы ты спела звездною ночью „Säume nicht, denn eins ist Not“²⁾ на краю Утесов. Кто знает, кто ответил бы тебе из глубины!

Она села на стул около стола, оперлась на оба локтя, а сквозь сплетенные пальцы глядело ее лицо, более таинственное, чем этрусские урны с неизбежными руками усопших на краях высокой крышки. Она также была покрыта пеплом и погребальным золотом.

— Может быть, я сама отвечаю себе.

Альдо пристально посмотрел на нее, упиваясь ее патетической красотой, от чего его молодые глаза казались еще глубже. И он погрузил свое горе в ее восхитительное отчаяние. И повелительное желание вскрыть тайную рану, прикоснуться к ней, разбередить ее и покрыться ее кровью охватило его. Но его сердце билось чересчур сильно.

— Какое у тебя лицо, Мориччика! — сказал он, называя ее этим пахучим именем, которое он дал ей в шутку. До сих пор ты еще не была собою. Ведь внутри нас есть кто-то, кто постепенно вает нас. И за последние дни он дал последнюю отделку твоему лицу. Оно волнует меня — достаточно взглянуть на него.

Голос его звучал горячо и цельно, но он не мог тем

¹⁾ «О смерти».

²⁾ «Не медли, так как одно только необходимо».

не менее подавить дрожь, которая прорывалась то тут, то там. А дерзость его взгляда придавала неожиданную новизну его обыденным отношениям к сестре.

— Не смущай меня, Альдо. Я беззащитна, — сказала она, опуская веки, как будто желая прикрыть все лицо своими ресницами.

Он отвел глаза.

— Сколько книг на твоём столе в беспорядке! Существует скорбь, которая собирает вокруг себя книги, как усталый собирает солому, чтобы улечься. Эта скорбь мне знакома.

Он трогал книги, поднимал, перемещал их, складывал в порядок, снова бросал их; но эти видимые движения напоминали движения человека, который хочет схватить громадный предмет и вертит его во все стороны и со всех сторон исследует его, чтобы найти наиболее простой способ.

— О, самая пламенная книга любви! Духовные стихи Якопоне. Где ты достала ее?

Бессознательным движением она накрыла рукой старый выцветший пергаментный переплет книги стихов Христова Безумца¹⁾.

— Я нашла ее в библиотеке Изабеллы.

— Позволь мне взглянуть.

— Нет, Альдо.

— Почему?

— Не знаю: потому что я глупая.

Она пробовала смеяться, как будто смех мог свежим дуновением загасить на ее лице красное пламя румянца.

— Когда мессер Яко бросился к обломкам потолка, под которыми оказалась погребенной его жена во время пира, и извлек ее оттуда полумертвой, он попытался расшнуровать на ней платье, но она сопротивлялась остатками сил своих, пока не испустила дух. Когда платье было снято, на теле нашли скрытую власяницу.

— Я тоже не позволяю из-за власяницы?

— Не знаю.

¹⁾ Jacopone da Todi — францисканец, итальянский поэт XIII века по прозвищу Pazzo di Cristo.

— Я, как певица, люблю эту книгу. Ни один поэт не поет так звучно, так открыто, как этот францисканец. Если он безумен, то безумен, как жаворонок.

Альдо гладил ее руку, и она уступила. Тонкая пелена нежности окутывала его лицо; но иногда у него захватывало дыхание, в то время как он открывал кожаные застежки на книге с красноватым обрезом, на котором еще виднелись золотые пятна. Колеса и орлы герба Ингирами были выдавлены на пергаменте вместе со следующим двустишем:

От безумного — мудрость,
От шипов — роза.

— Ты найдешь между страницами множество трилистников и четырехлистников — говорила Мориччика голосом нежным, как флейта, который бывал у нее, когда она становилась смирным и очаровательным ребенком. Мы с Лунеллой находили их почти каждый день в поле у Бассейна. А эти другие значки — музыкальные воспоминания. Здесь есть строфа, которую можно было бы петь на мотив Гуго Вольфа к словам Фортунато *Jesu benigne a cuius igne...¹⁾*

Она торопилась говорить, как торопится тот, кто миганием желает прогнать назойливую галлюцинацию. Ей казалось, что из приоткрытой книги сейчас поднимется привидение, от которого некуда скрыться. Она встала, обошла вокруг стола, приблизилась к брату, коснулась своей щекою его щеки. В ушах у обоих шумело.

— Этот ты нашла как раз сегодня.

— Да.

То был большой, еще свежий трилистник, закрывавший первую строфу первой сатиры.

«Слушайте о новой власти
Душу мне объявшей страсти:
Я возжаждал умереть». ²⁾

¹⁾ «Иисусе милостивый, от огня твоего...»

²⁾ Перевод всех стихов Якопоне — М. Лозинского.

— Мориччика, Мориччика, — сказал Альдо, кладя книгу и обнимая сестру: — ты часто думаешь о смерти?

— О нет!

— Ты сегодня видела ее повсюду.

— Я видела ее, когда пела.

— Она была прекрасна.

— Да, прекрасна.

— Есть две прекрасные вещи на свете.

— Две прекрасные вещи.

— Но одна только имеет значение.

— *Eins ist Not.*

— Я знаю, какая.

— Я тоже знаю.

Она зажмурила глаза и сквозь узкую щелку видела прекрасное лицо юноши, опьяненного горем. И печать Мрака переходила с молодости одного на молодость другой и преувеличивало их затаенное несчастье. Узы смерти соединяли их обоих. Мелодия бетховенской песни окружала их гибким кольцом, сливаясь с биением их сердец. И вблизи, и издали на них глядел тот же ужас, который охватил их в старом мантуанском дворце, когда они безмолвно обнялись, не глядя друг на друга, так как тот же рок делал зловещим Город камней и ветра, нависший над своей адской ямой, между исполненными преступления стенами крепости и зданиями Сан-Джироламо, исполненными безумия.

— Но скажи мне, что не пойдешь одна.

— Ты хочешь идти со мной?

— Поклянись, что скажешь мне.

— Ты хочешь идти со мной?

— Поклянись мне, Вана.

— Ты очень страдаешь?

— Да.

— И нет больше сил сопротивляться?

— Да.

— Но отчего же, Альдо?

Они говорили еле слышно, с бледными лицами, как два раненых, на тех же носилках, расспрашивают друг друга о своих страданиях, смешивая черную кровь из ран, о которых они не подозревают.

— Отчего? — повторила Вана сдавленным голосом, так как новое волнение поднималось из глубины ее души, оставаясь еще вне сознания.

Он отнял от нее руки, опустил их и отошел в сторону; ужас сдавливал его дыхание. И он оглянулся, как бы желая убедиться, что чудовищное признание осталось невысказанным; ему вдруг показалось, будто оно сорвалось с его языка, жило, дрожало, дышало, пылало.

— Отчего? — в третий раз спросила Вана.

— Ах, не спрашивай. Тебе не стоит знать. Но ты? Но ты!

Он, защищаясь, переходил в наступление.

— Ты доверяешься этой книге, а не брату.

И он снова раскрыл книгу Христова Безумца.

— Ты срываешь эти трилистники счастья под кипарисами. Вот еще один. О чем говорит пятая песнь?

Вана со страхом следила за его неожиданным порывом.

Он прочел:

«О, любовь немая,
Что боится речи,
Тайну охраняя».

Слова, которые он должен был произнести, которых он не мог удержать, жгли ему губы. Он был, как в бреду, заставлявшем его искать мучений. Он начал говорить, останавливаясь на каждом слове, так сильно билось его сердце:

— Изабелла вместе с Паоло-Тарсисом. Вед это правда?

Он откровенно соединил оба их имени, смешал их любовь. Он как бы схватил их обоих своими руками, поставил их перед собою и не мог оторвать от них глаза. Во мраке ночи восстало видение, от которого нельзя было скрыться, видение сладострастия среди благоуханий ночи.

— Альдо, почему ты так странно говоришь со мною? — пробормотала девушка, бледнея, словно Альдо неожиданно ударил ее. — Разве ты не можешь пощадить меня?

— Не твою чистоту и твой румянец надо щадить, Вана, а нечто лучшее. Неужели ты хочешь, чтобы мы постоянно притворялись, чтобы мы продолжали жить ка-

ждый в своей решетчатой келье, как наши соседи в тюрьме?

— Почему ты спрашиваешь меня, когда ты сам знаешь?

— Я чувствую бурю между тобою и нею. О чем вы говорили в комнате Андроники, прежде чем проститься в присутствии других? Проходи мимо двери, я слышал ваши голоса, полные ненависти.

— Ты ошибся.

— Мне она солгала. А тебе сказала правду?

— Зачем ты меня мучишь?

— Тарсис поджидал ее на Чечине.

— Ах, замолчи. Разве не лучше мне не знать всего этого? Альдо, зачем ты меня мучишь?

— Ты не хочешь! Но ведь от этого самого ты умираешь!

Она устремила к брату, скрыла лицо на его груди, услышала страшное биение сердца. Оба тяжело переводили дух, как после схватки. Ветер качал оконные занавески, проникал в комнату и уносил вдаль их стоглазые души; уносил их туда, в неизвестное место, чтобы показать им, заставить их посмотреть.

— Она отняла его у тебя? — спросил он, не в состоянии сдержаться, с пересохшей гортанью. Они были, как дети, они дрожали, как растерянные дети. И тем не менее казалось, что необузданная жизненная сила кипела в них, приводя в движение тайно накопленное знание. Казалось, будто они упились всеми людскими страданиями. Исполненный горечи, обреченный на гибель юноша, произносил гнетущие, разрушительные слова; и ужас, овладевший им, напоминал алчность, его ярость напоминала могучую силу, его страдания напоминали нежную ласку.

— Разве тебе не начинало иногда казаться, что он твой?

Она вся согнулась, сжалась в комок.

— Разве в тебе не зарождалась мечта?

Она вспомнила, как она, точно вкопанная, остановилась у притолоки двери при входе в зал Лабиринта.

— Ты услышала от него слово любви?

Она на себе ощущала каплю сладострастной крови.

— Ты ведь надеялась? Да, да.
 Она чувствовала в себе слезы погребальной ночи.
 — Она отняла его у тебя.
 Она готова была ринуться, выпустив когти.
 — Подними лицо. Посмотри на меня. Говори, не стыдась.

Она без слов отвечала ему: «Говори еще, говори мне о нем. Поворачивай нож в моей ране. Терзай меня. Ты хочешь, чтобы я ее возненавидела? Но я уже ненавижу. Ты хочешь, чтобы я помогла тебе ее ненавидеть?»

Он наклонился к самым волосам ее, заговорил еще тише.

— Ты думаешь, я не знаю, что ты в ту ночь отправи-
 лась совсем одна на равнину?

Она вздрогнула, но не подняла головы.

— Ты молчишь. Ах, еслибы я мог отомстить за тебя!

Глухая ненависть жгла его. «Зачем из двух погиб тот, безобидный? Почему не этот сломал себе спину?» И как в тот день, когда на возвышении перед мантуанскими болотами он увидел струйку крови между крепкими зубами, мужественный образ властно предстал перед ним. Он снова оттолкнул сестру, встал и прошелся по комнате, унося с собою чудовищные кошмары, которые прильнули к его деревянным сандалиям. Он приблизился к подоконнику, нагнулся и погрузился в свежий фиолетовый мрак, в аромат магнолий.

В долине белели меловые скаты, освещенные луной, напоминая мавзолей; дальше сверкала змеистая Чечина; еще дальше, между Монтескудайо и Гуардисталло, простиралась прибрежная полоса, как поляна подземного царства.

Где были любовники в эту летнюю ночь? На море? На белой террасе, под олеандрами? Или же они лежали в роще на красном ложе из сосновых игл?

3.

Они упивались музыкой, заглушали в звуках свое отчаяние. Они проводили дни, вечера и ночи в беседах инструментов, в монологах пения, играя в четыре руки,

касаясь локтями, касаясь щеками, не отрывая глаз от страниц развернутой тетрадки, лихорадочными пальцами перевертывая листы, чувствуя, что они живут сухой наэлектризованной жизнью, подобно древесной бумаге, которая мечет искры, выходя в сухую погоду из-под валов бумажной фабрики.

Зал помещался не в самом дворце, выстроенном Герардо Сильвани, но в старейшей его половине, где имеются каменные выступы и изваяния: просторный, обитый дамаском, с высокими портьерами, с еще более высокими занавесками, с коробчатым сводом, на котором Даниеле из Вольтерры, ученик Микель Анджело изобразил грандиозный эпизод из Ветхого Завета. Согбенная ветвь старого дуба простиралась до одного из окон: из комнаты был виден его исполинский ствол. Только две картины висели на двух противоположных стенах: замечательный портрет Федры Ингирами в пурпурных тонах, кисти Санцио, и Снятие с Креста Россо-Флорентинца, которого Вазари называет «отличным музыкантом», «великодушным и благородным».

Зал был создан для лирических воплей и для страстных мечтаний. Свет из леса и сада проникал в него, падая на большой полированный рояль, похожий на ковчег из темного мрамора.

Когда Альдо приподнимал крышку, он видел в темноте две бледные руки, которые отражались в полированном дереве, как в черном зеркале.

Вана стояла рядом, в своей обычной позе, как статуя, сплести за спиною пальцы, опираясь всем корпусом на правую ногу, выдвинув левую немного вперед, согнув слегка колено, показывая из-под юбки кончик носка, отбивавшего такт. При высоких нотах, она откидывала назад голову, и на мгновение черты ее лица расплывались, как бы охваченные пламенем. Она отдавала всю себя в пении, словно сжигая себя на костре в каждом романсе. Иногда, когда она умолкала и оставалась неподвижной, казалось, что в воцарившейся тишине над нею образовывался пепельный покров, каким бывают окутаны головни, извлеченные из очага.

— Повторим еще это! — просил Альдо, изыскивая новые радости и мучения.

То был вздох ариетты, трели старинной итальянской виланеллы, которая, кажется, сопровождает пляску обнаженного Купидона на змеях, или вторит распоясанной Грации, что поправляет на своей голове гирлянду пронзенными руками. То был ариозо, стон, монодия Христофора Глюка, подобная чистой наготы, страдающей от собственного блеска. То было признание — импромптю Роберта Шумана, среди прерывистых рыданий, среди безутешного вопля, вылетающего из суровых уст, под обезумевшим взглядом.

— Не могу, — отвечала она иногда. — Я дала все, что могла.

Она делала несколько шагов по направлению к Снятию с Креста, прикрывая глаза ладонями рук. И стоя перед полотном, она отнимала их, и смотрела на безмолвную трагедию. Затем усаживалась в стороне, не сводя глаз с картины.

— Тебе кажется, что каждый раз ты создаешь ее снова; правда? — говорил ей брат. — Она родилась из музыки, она возрождается из музыки. И, может быть, ты — тот смуглый, как маслина, отрок, который обнаженными руками поддерживает лестницу и глядит на волосы Магдалины, сплетенные вместе, как узел обезглавленных змей. Слышишь, как кричит Грешница? Слышишь, как рыдает Любимый Ученик?

И в самом деле, красная одежда женщины, пригавшей к коленям богоматери, была, как вопль страсти, еще напоенной мутною кровью. Свет и тени на желтоватом плаще апостола были словно рыдания истерзанной души. Люди на лестнице были как бы охвачены порывистым ветром судьбы. Их мускулы дрожали, как от страданий. В этом теле, которое они снимали с креста, заключалась вся ценность мира. Вотще Иосиф Аримафейский купил синдон, вотще Никодим принес мирру, смешанную с алоэ. Ветер Воскресения уже веял вокруг божественного древа. Но вся тень сгущалась внизу, вся тень была на одной плоти, на омраченной Матери, на чреве, которое выносило плод страданий. «Свет мой угас»,

— произнесла она в своей древней жалобе. Между Марией Клеоповой и Саломеей, между этими двумя неведущими и смертными женщинами, она уже была, как обрывок вечной ночи.

— Помнишь двадцатую вариацию Бетховена на тему Диабелли, посвященную Антонию Brentano? — говорил Альдо, воскрешая в глубине черного ящика аккорды, которые волшебным образом преображают первоначальную тему и делают ее неузнаваемой. — Разве она не кажется гармонизованной на том фоне, на который ни крест, ни лестница, ни тела, ни рыдания, ни крики, ни дыхание, ни свет не проникают? Прислушайся, и взглядишь в эту непроницаемую, глухую, ровную лазурь, без сияния, без облаков, по ту сторону которой простирается, может быть, та область жизни, где «одна только вещь имеет значение».

И тогда уже Вана просила:

— Еще раз! Начинай сначала!

Они искали успокоение в бесконечности. Их несчастье переступало через твердые границы, в которые было заключено и умиротворялось, возвышаясь над всем, сливаясь с мировой скорбью.

— Две прекрасные вещи есть в мире, — говорил юноша, — но у них есть божественная третья сестра.

— Ах, не говори: две и третья сестра, не разделяй их! — отвечала Вана. — Их только две; а третья просто сущность, из которой те две созданы.

— Ты права. Но я думал о трех сиренах на урне, сидящих на скалах перед кораблем Улисса.

И они пошли взглянуть на них в маленькие комнатки Музея.

— Смотри, — говорил Альдо, погружаясь в мечты. — Смотри, все три играли на разных инструментах. Но первая потеряла свою двойную флейту, и протянутые руки ничего не сжимают. Третья, может быть, играла на лире; а теперь она без лиры и без лица и стала похожей на свой утес, похожей на камень, на котором высечены безжизненные складки. А между ними сидит та, что дует в семь трубочек Пана, расположенных, как крылья птицы. Посмотри, она совсем невредима.

— Но видишь, — отвечала певица, — за ними только две тени, только две тени.

И в самом деле, только две тени ложились на гладкую алебастровую доску.

Так повсюду их пронизательные глаза обнаруживали знамения их собственной судьбы, находили выражение их собственных затаеннейших мыслей.

— Вана, ты думаешь, что Улисс привязан к мачте? У него руки просто за спиной, как у тебя во время пения; герой не может быть связан, точно невольник. Если в течение своей многотрудной жизни он гонялся за этими искусительницами по всем морям, как может он бояться их? У него нет оков; он прячет, как ненужные, свои руки, огрубевшие в борьбе и трудах, потому что достиг такой жизни, в которой действие не имеет значения. Теперь я понимаю. Таинственный инстинкт ставит тебя в ту же позу, когда ты поешь и возвышаешься до своей истинной жизни.

— Может быть, — бормотала она, мысленно сплетая за спиной руки, закрывая глаза, наклоняясь над пропастью.

И, не глядя на изваянные на урнах мифы о Фивах и Трое, они обращались к путешествию в Ад, не на корабле сына Лаэрта, а на корабле со спущенными парусами, на который входит тот, кто должен умереть, прощаясь без слез.

— Какое глубокое молчание в таких маленьких комнатах! — говорил брат, осторожно прохаживаясь по мраморному полу, составленному из белых и черных полос. — Кто удаляется, тот не плачет; кто остается, тот тоже не плачет. Они пристально глядят друг на друга, взявшись за руки; они расстаются безмолвно на краю гробницы. Крылатый свидетель — божественная Печаль; ведь Печаль — его Этрусская Муза, та, что на путях изгнания и на путях ада будет сопровождать великого Этруска, окрашенного черною желчью. Тебе не приходило в голову, что Данте воспринял искусство вазовых живописцев и возвеличил его своей сверхчеловеческой силой? Разве почти вся первая часть Комедии не состоит из красных фигур на черном фоне, из черных фигур на красном фоне? Разве некоторые его стихи не

сверкают на черной металлической поверхности, как на поверхности некоторых глиняных сосудов? И разве его Тени не живут, как Души Умерших, изваянные в этом алебастре?

А души умерших в телегах, на носилках, на квадригах двигались на встречу путникам. Кони, впряженные в колесницы, наклоняя головы, касались гривами земли, как гнедой конь Ахилла, в предчувствии смерти. Весь закутанный в плащ, закрывая рот полою плаща, молодой всадник скакал по длинной дороге, с которой нет возврата.

— Разве это не мой образ? — говорил юноша, останавливаясь. — Из всех путешествий в ад, путешествие верхом мне нравится больше других.

Они неподвижно стояли около урны, во власти этого видения, этого духа: А вокруг них, лежа на продолговатых крышках гробниц, опираясь на левый локоть, тучные фигуры покойников с полуоткрытыми толстыми губами мирно покоились, держа в правой руке жертвенную чашу, опахало, таблицы. Но все эти левые руки, покоящиеся на подушках вечно одинаковой позе, искусно высеченные из камня, то громадные, то изъеденные временем, то обрубленные, вызывали в обоих смутное томление, точно эти руки давили им на сердце.

— Один человек решил на это раньше меня; он помчал своего коня из Вольтерры по утесам, до Гверруччи; конь же остановился на краю обрыва, отступил и поскакал назад; никакие шпоры не могли направить его обратно к бездне.

— Как тебе кажется, Каракалла тоже не решится?

— А Перголезе?

— Перголезе малодушен.

— Но когда товарищ бежит перед ним, нет основания, почему бы он не решился.

— На Гверручче мало места, чтобы дать разбег коню; и к тому же теперь земля вспахана.

— Около Гвардиоли в ограде есть что-то вроде порога, напоминающего обвалившуюся стену в Римской Кампании. Обломки булыжников закрывают пропасть. Если

решительно прищипорить коня, он, конечно, перескочит, обманутый препятствием...

Они говорили шопотом, как в ту ночь, возбуждая друг друга, обнажив невыносимый ожог, раздрав покров своих мечтаний.

— Мы пойдем на разведки завтра. Хочешь?

— Хочу.

— Это случится, прежде чем она вернется.

— Да, прежде чем она вернется.

— Сегодня десятый день.

— И ни одного слова!

— Думала ли ты, что она так жестока?

Садик Музея открывался перед ними, с куполообразными колоннами, с туфовыми урнами без крышек, почерневшими, как базальт, с остатками бани, окаймленной сточной трубой из позеленелой терракоты, с трельяжем из виноградных лоз, казавшихся прозрачными на солнце, со своими немногочисленными розовыми кустами, напоминавшими розы мантуанского сада, со своими испанскими жасминами, распространявшими душный запах, как дым кафельный.

— Где они? Где они?

4.

Любовники жили у Тирренского моря около Пизы. Их одинокая вилла была расположена между сосновым лесом и берегом. Оштукатуренная терраса, с майоликовым полом простиралась до моря, напоминающая ту, о которой Альдо мечтал в Парадизе герцогини д'Эсте, где витражи украшены видениями темных и белокурых городов, и где, около Ульма, скачущего в доспехах через синий Дунай — Алжир, с кипарисом вместо пера в белом тюрбане. Солнце так жестоко палило, что распустившиеся утром на олеандровых кустах цветочки к полудню желтели и склонялись устало и еще до вечера стогрели и умирали. Но рядом с воротами вдоль главной стены был разбит арабский полосатый навес над ковром, покрытом подушками, и здесь любовники проводили большую часть дней и ночей, ласкаясь.

— Где мы? — говорила Изабелла, вдыхая запах моря и древесной смолы всем телом, от горла до кончика пальца обнаженной ноги.

— В Эль-Бахаджа? А это устье Арраха! А там дальше Кабильские горы? А все это белое, голубое, зеленое — Сахаль? Посмотри, как верблюды жуют морскую траву на том песочном выступе!

Это были верблюды из Сан-Россоре¹⁾, возвращавшиеся из Гомбо²⁾ по берегу, усыпанному тонким песком, на котором прибой располагает водоросли по форме своих собственных линий, в виде развязанных гирлянд.

— Ах, Паоло, тебе сегодня обязательно надо подняться до перекрестка Си-Мохаммед-эль-Шериффа, в сторону Казбы. Там, напротив фонтана омовений, находится мавританская кофейня, которую посещает флейтист Амар. Ты должен розыскать и привести сюда Амара, потому что я хочу танцевать для тебя сегодня вечером, Айни.

Он не смотрел ни на берег, ни на леса, ни на горы, не чувствовал ни запаха смолы, ни дыхания моря. Он не мог повернуть голову, ни оторвать глаз от нее, весь зачарованный воздухом, который струился вокруг этого почти обнаженного тела, покрытого легким муслином, настолько легким, что вызывал в памяти те газовые ткани, которые Индусы называют «текущей водой».

— Ты ни за что не ошибешься. Над входом в клетке из длинных игл дикообраза поет соловей. Амар даже сидит, может быть, под клеткой на низкой скамеечке. Ты сразу узнаешь его. Когда он постился, он становился немного бледнее светлого янтаря, и его глаза с крашеными веками делались более темными. У него всегда за ухом цветок, свешивающийся на щеку. Сегодня это будет цветок гранаты. Он всегда одет в тончайшие цвета и особенно любит светло-серый и розовый, которые так идут к его белым шароварам в тысячу безупречных складок. Ах, как он играет на своей флейте, когда он в ударе!

Ее голос и ее воспоминания звучали, как музыка; и она совершала одно из своих волхвований, к которым

¹⁾ Королевский охотничий домик около Пизы, принадлежавший раньше герцогу Медичи.

²⁾ Королевская вила. (Пр. пер.).

привык ее друг. А так как ее друг, казалось, весь ушел в полирование ее ног губами, она по сильному прикосновению, даже по изменению теплоты и по самой легкой дрожи узнавала, до какой степени ее слова жгут молчаливого. И поэтому она вкладывала в них двойной смысл.

— Арабы говорят про него: «У него такие нежные губы, что он мог бы сосать грудь львицы». Когда он играет, его руки колышутся, и все его тело колышется, как при приступе к танцу. Мало по малу он распаляется. Его раскрашенные веки загораются страстью и наслаждением. Он поет, как соловей в клетке из длинных игл: кричит, угасает, заливаясь и вздыхает; его горло — ручеек, а сердце — пламя. Вокруг никто не пошевеливается. Никто не прикоснется к дымящимся чашкам. Под сводом ворот звезды кажутся большими, словно они приблизились его послушать... Ах, пойди за ним, приведи его ко мне, Айни. Я буду танцевать для тебя.

Его ласка приостановилась у колена, не спускаясь ниже: его счастье было отравлено.

Она дразнила его любовь, как зверя в клетке каленым железом. Он страдал от собственного желания, как будто какой-то вредный напиток возбуждал и воспламенял его. Он ощущал бесконечность окружающего пространства, чистоту ветра, дыхание здоровых лесов, всю силу Лета: и он был подобен больному, мечущемуся на подушке, края которой ограничивают для него вселенную.

Он положил голову на колени своей мучительнице и улыбнулся. А ненависть, поднимавшаяся в нем, говорила: «Прекрасен час, когда ты засыпаешь под моей тихой лаской, когда ты делаешь вид, что не просыпаешься, если я становлюсь более смелым. Но отчего вдруг ты отталкиваешь меня? Правда, это одна из твоих детских забав, один из твоих пестрых снов. Но я узнал теперь твою хитрость. Я знаю, как ты отравляешь избранное тобою слово, точно маленькая капля слюны выступает в углу твоего рта. Ты, вероятно, хочешь, чтобы я вообразил, что этот изнеженный араб, с крашеными веками, понаравился тебе, и ты позволила, как ни в чем не бывало, его надушенным мускусом рукам дотронуться до этого тела, которое я целую теперь? Не хочешь ли ты, чтобы я бро-

сился на тебя, как на продажную женщину, которой все разрешено и все известно?»

Но, как всегда, он пошел навстречу пытке. Он спросил ее непринужденно:

— Когда и с кем была ты в Алжире?

— В прошлом году, от сентября до ноября, с Джачинтой Чези, с Мод Гамильтон, с другими нашими общими друзьями да с моим братом. Как бы мне хотелось вернуться туда с тобою и поселиться на горе в белом домике среди двух садов! У меня сегодня ноги похожи на слоновую кость. Посмотри. Тогда я красила их пурпурной краской, и ступни становились похожими на мандарины. Бедные мои ножки!

— А кто красил их?

— Ясмина, моя негритяночка, восхитительное существо; я все еще оплакиваю ее; стройная и гибкая, как морской тростник, она все время смеялась. Ах, какой это был смех на темном лице Прозерпины! Я одевала ее на египетский лад, в зеленое и черное, с серебряными эмалевыми пуговицами на ярко-красном корсаже. Ее движения были так живы, что когда она шла, даже под широким плащом ее мускулы обрисовывались, как под приставшей к телу мокрой простыней. Она влюбилась в Альдо и тогда стала смеяться гораздо реже, но ее ласковые глаза сделались еще прекраснее. Слезы окзывали на нее действие кохля¹⁾.

— А Альдо не нравилась черная Венера?

— По правде сказать, я не старалась выяснить это. Альдо любит, когда его обожают. Ведь все знают, что он молодой Бог, томящийся в изгнании. Но ему нравилось слушать ее длинные непонятные сказки. У Ясины был мелодичный голос лесной птички. Я тоже восхищалась им. Я переняла у нее несколько интонаций. И я убеждена, что, под предлогом рассказа, она объяснялась ему в любви. Слишком часто повторяла она «Айни» — глаз мой, и «Рохадиали» — душа моя. Однажды вечером она легла у его порога, чтобы он перешагнул через нее. Он перескочил, смеясь, а она не шевельнулась вплоть до утра. Весь

¹⁾ Сурьма для глаз.

дом был насыщен любовью. Невозможно было дышать, особенно потому, что мы всегда носили ожерелья свежих дзагар в два-три ряда, которые изготавливаются евреями. Они пахли так сильно, что у меня не прекращалось головокружение.

Она дышала сладострастием, когда говорила, улыбаясь; и она глядела на лежавшее на ее светлых коленях бронзовое лицо, которое она словно когда-то видела во сне на большом арабском жеребце, покрытом белой атласной попоной; колыхается хайк¹⁾, кружится ружье в туче едкой пыли и дыма в праздничный вечер, там, в Митидже, перед тем, как все отправляются в конусообразные палатки на пир воинственного народа.

— Целомудренной любовью? — спросил Паоло несколько глухо, но также улыбаясь улыбкой, которая приподнимала над зубами его полные губы.

— Может быть — да, может быть — нет, Айни, — прошептала она, опуская веки, обведенные сурьмой, как у мавританских женщин.

Она была настолько уверена, что заставляет его страдать, что ей казалось, будто его жестокая мука давит на ее колени. Она издали подготавливала свое тело к диким проявлениям его страсти.

— Тебе нравился Амар?

— Мне понравился молодой, неизвестный властитель. По сравнению с ним изящество Амара было изяществом не то паяца, не то сводника. Он ехал из пустыни, во главе отряда всадников с длинными инкрустированными мушкетерами, на самых прекрасных конях, с развевавшимися по ветру попонами, гривами, хвостами, под звон колокольчиков и амулетов. Он ехал из Сахары. В среде своих пестрых спутников он один был в простом белом полотняном плаще без всяких вышивок, откутывавшем его до самых сапог, на которых не было шпор, и до обнаженной руки, державшей уздечку, как девушка держит ленту, чтобы вплести ее в косу. Он был верхом на одном из тех жеребцов, которых арабы сравнивают с голубем в тени, черным, как волосы Лунеллы, до того

¹⁾ Плащ.

черным, что переливался синим и фиолетовым, как переливы разноцветного шелка. Что было прекраснее — глаза всадника или глаза коня?

Она коварно замолкла; и ноздри задрожали на ее лукавом лице, которому черные ресницы придавали еще больше коварной загадочности. Ее сердце билось в сладкой тревоге: ибо Паоло подвинул голову, как бы желая поближе взглянуть в нее, и положил щеку на ее бедро. Она откинулась на подушки, и он мог различать снизу ее подбородок, на котором играло отражение майолики, а между губами, двигавшимися во время рассказа, — жемчужные зубки, влажные, как жемчуга в свежераскрывшейся раковине.

— Даже теперь я не в состоянии решить. Я даже не знаю, был ли это юноша или переодетая девушка. Возможно было бы сомневаться в этом, если бы хрупкий всадник не управлял конем с такой властью. В его царственной пылкой бледности было что-то дерзкое и хитрое, горделивое и мягкое, задумчивое и мечтательное. Два слуга¹⁾, отмеченных на бедре знаком благородной расы, следовали за ним, влача по земле хвосты. Кто был посланец пустыни? Приблизившись к нам, он поднял коня с земли, — этим умением гордятся арабские наездники. При наших криках он расхохотался и, откинувшись назад, на бархатную луку седла, остановил великолепного жеребца. Затем он быстро наклонился ко мне и поцеловал в щеку, как-будто я ему принадлежала...

Она вскрикнула, как и тогда, потому что Паоло, неожиданно вскочив, грубо схватил ее за плечи.

— Айни, Айни, это был мой брат, это был Альдо, которого какой-то шейх пригласил на охоту. Он возвращался с эскортом, на подаренном коне и ведя за собою подаренных слук. Ай, не делай мне больно, Айни!... Нет, делай мне больно, разрывай меня на части, делай со мною, что хочешь. Да, еще сильнее! Я твоя, я твоя вещь. Вот я вся. Я обожаю тебя.

¹⁾ Особая порода охотничьих собак.

5.

Она была переменчива, как шерсть вороного коня, как голубь на солнце и в тени. Она вплетала свои измышления в цепь истинных событий с той же быстротой и непринужденностью, с какою изготавливаются ожерелья из дзагар, которыми она в два-три ряда любила украшать свою шею. Она обладала всемогущей и всеведущей властью над мужским сердцем: она умела быть и казаться неправдоподобной. Большая часть влюбленных женщин старается стереть свое прошлое, возродиться, вернуть свою девственность, они приносят в дар любимому человеку свои будто бы непосвященные чувства, чтобы он пробудил и развил их, свою будто бы чистую душу, чтобы он начертал на ней свой закон; и часто доверчивый человек поддается этому бесхитростному обману. Она же, наоборот, умела придавать своему прошлому неисчерпаемую глубину, поднимать свою молодость над жизненной бездной. Так поступают портретисты, которые в виде фона помещают бесконечный портик или беспредельные пространства земли и воды. Казалось, будто все ее жесты непрерывно меняют перспективу, и она не пыталась сгладить это разнообразие, а, наоборот, старалась использовать его, подобно художникам, которые знают цену пространству в картинах. Все, что в ней было нового, возникало из ее прошлого; она была, как сирена, появляющаяся из горьковатого моря, еще влажная и загадочная. Когда она отвечала на порывы любовника, казалось, будто всякое самое неожиданное ее движение проходило через какую-то темную среду и поднимало густую волну уснувших вождедений. Один из древних назвал колдовством женские прикрасы. Она тоже любила оттенять черным и красным свежесть своих двадцати пяти лет; и она всегда обрамляла траурной каймой свои веки и светлые зрачки, а иногда покрывала рот заморской киноварью. Но ее колдовство было еще более сложно и смело и производило еще большие чудеса. При помощи каких волхвований придавала она своей жизни такое мощное разнообразие патетической красоты? Иногда ее лицо отражало поэзию

сада, трагедии, сказки. Какой-нибудь незначительный жест получал у нее такую выразительную силу, что взор не мог оторваться от него, и хотелось смотреть бесконечно: так, например, когда она медленно снимала перчатку, шурша ею по легкому пушку на руке; или когда, нагнувшись на постели, она стягивала длинный шелковый чулок, тонкий и нежный, как цветок, вянувший в одно мгновение; или когда, вытаскивая из шляпы булавки, она приподнимала руку, обнажая ее до плеча.

Поэтому, не смотря на всю свою хрупкость, на всю свою чувственность и гибкость, она была сродни великим творениям Микель-Анджело. Пристальный наблюдатель мог бы убедиться, что противоречие только внешнее. Правда, когда она ложилась на диван, и ее тело утопало в волнах муслина или тюля, она напоминала Ливийскую Сивиллу, пожалуй, только изгибом ступни, видневшейся из-под материи. Но если вдруг, движением бедер канатной танцовщицы, она вскакивала и из полумрака выходила в освещенный лампою круг, чтобы вставить свое слово в разгоревшийся спор, линии ее тела производили такое впечатление, что присутствующим казалось, будто они наблюдают снисшедшее откуда-то гениальное создание. Для глаза художника она была самым духом рельефа, тем духом, который обитал в горниле ума Микель-Анджело. В минуту увлечения она словно отделялась от глыбы мрамора и занимала место в пространстве, подобно колену, подобно плечу, подобно локтю и груди Авроры, которые насилуют пространство, сдвигают воздушные массы, утверждают себя в природе, отстраняя и ограничивая прочие формы, и окружают себя одиночеством.

В такие минуты ни одно органическое существо не могло сравниться с ее могуществом. Одежда жила на ней одной жизнью с телом, как пепел живет одной жизнью с углем. Все окружающие предметы погружались в тень, все обычные формы стирались; и свет преображался в ней. Он уже не был светом дневным, ни светом огня: это было то пламя, что от начала мира озаряет полные превратностей борьбу, горе, славные предания человека. Она подтверждала справедливость слов того, кто сказал, будто всякое очарование есть безумие, вызванное искус-

ством; но каждый охваченный этим безумием чувствовал, что ей предопределено нечто значительное.

Так и в Паоло постоянно повторялось ощущение, испытанное им, на пыльной дороге, когда, миновав табун диких коней, она приподняла вуаль и открыла свое обнаженное лицо, а он взглянул на нее, чувствуя какую-то пустоту в груди, которая была отпечатком этой вечно обновлявшейся наготы. И действительно, она опустошала его грудь, чтобы поселиться в ней, разрывала, разгрызала ее, не давая пощады; иногда она как-будто приростала к нему, сдавливая и ломала все, что в нем оставалось живого, истребляла все то, что еще не билось с ней заодно, изливая из самой черной муки самое светлое восхищение.

Что случилось с безмолвным обещанием, данным им другу, когда они, сами того не зная, расставались в последний раз? Куда девалась та сила, на которую он надеялся, чтобы сокрушить враждебного зверя, которого он собирался скрутить, поднять, встряхнуть, заклеить знаком рабства? Да, без сомнения, чем настойчивее его преследовал образ погибшего брата, чем горше он оплакивал расторгнутые узы дружбы, с тем большим ожесточением он старался схватить притаившегося зверя и спокойно глядеться в него. «Итак, это ты, любовь», — говорил он. — «Я в простоте своей украшал тебя благородством и красотой и глазами, в которые моя искусительница не могла бы взглянуть без стыда. Помнишь? Ты, значит, не та любовь, которую мы извели, блуждая по белу свету, когда мы спускались на берег, делали привал на биваках, когда крик женщины, брошенной на низкое ложе или на край канавы, удовлетворял нашу мимолетную похоть. Ты, конечно, — любовь, потому что ты питаешься и вырастаешь из самой моей пламенной жизни, потому что я не могу поразить тебя, не пролив своей собственной крови через твои раны, потому что ты ближе к моему существу чем я сам; и когда я думаю, что схватил тебя и отодвинул, чтобы лучше взглянуть в тебя, я чувствую, что ты на старом месте, и еще сильнее льнешь ко мне и мучишь меня. Тем не менее я смотрю на тебя; и ни разу моему ружью не приходилось целиться в более опасного

зверя. Я страдал от тебя, когда искусительница, преступно медля, была готова отдаться и удерживалась, соглашалась и отказывалась. Но я страдаю в тысячу раз сильнее теперь, когда она принадлежит мне, когда мне известна малейшая родинка на ее теле. Я сохранил нетронутой глубину своих чувств, чтобы она спустилась туда. И она спускается, будит чудовища, которые я смутно различал в какую-нибудь ночь диких оргий в экзотических странах, когда у мужчины теряется сознание, стремится ли он к оплодотворению, или, наоборот, к пролитию крови. И эти чудовища похожи на тебя — на тебя, на любовь! Потому что ни в гавани, ни в походе, ни после долгих плаваний, ни после безустанных скачек не переживал я таких диких минут первобытного и дикого желания, как в объятиях этих двух рук, более свежих и душистых, чем жасмин после дождя. На знойной дороге, — помнишь? — в туче пыли я желал, чтобы они были раздроблены; чтобы все тело мучительницы обратилось на камнях в кровавую массу; чтобы больше не стало этих век, этого рта, этой шеи, чтобы она перестала быть, чем была. А телега с длинными бревнами, готовыми нанести смертельный удар, была так близко! Я должен теперь надеяться на тебя, чтобы решить, любовь ты или ненависть, или же ты — и то, и другое. Ведь она любит и хочет, чтобы я любил ее, и образ смерти все еще следует за мною повсюду в кошмарном бреду, а в моем наслаждении нет радости, потому что я не в состоянии стереть красоту, которую не могу насытиться».

Он не обманывал себя насчет опасности. Он прямо шел на нее, по старой привычке, приобретенной в подводной лодке или в парящем в воздухе челноке, и в то же время он знал, что не в силах преодолеть ее. Но эта уверенность не пугала, а, наоборот, ободряла его. Он проник в самую загадочную область своего жизненного пути, в какой-то ядовитый мрак, который напоминал ему бесконечный лес, куда он с другом проник однажды в глубине острова Минданао; там в зеленых потемках, среди извивающихся лиан, живет племя с кожей более белой, чем белая камелия, с глазами более черными, чем черный бархат, строя хижины, как птицы свои гнезда, на деревьях, скользя по

листве, как лебеди на поверхности вод. Ему чудилась прозрачная бледность этих незабываемых существ, которые, казалось, питались ядом, притягательная сила их глаз, цвета ночи, появившихся и исчезавших позади громадных цветов; он ощущал раздражающую, мягкую теплоту, скрытое, нездоровое брожение, переживал впечатление древесного мрака, освещенного их магнетическими взорами.

Как и тогда, он не мог повернуть обратно. Как и тогда, неизвестность увлекала его вдаль от всякого спасения. Как и тогда, на него из мрака смотрели тысячи существ, у которых были такие же глаза — это были видения бесчисленных чарующих обманов, образы недостижимых соблазнов, и перед ним выросли цветы слишком большие, чтобы их можно было сорвать, и плоды, слишком большие, чтобы в них можно было вшить зубы.

Он не скрывал от себя своего недуга. Он сознавал, что колдовство обмана преображало и его внутреннюю силу. Сколько дней прошло с тех пор, как он покинул друга на пороге Мрака? И тем не менее, какими чуждыми, какими далекими казались ему долгие годы их совместной жизни, основанной на взаимной преданности и благородстве, на равенстве и на уверенности друг в друге. В несколько дней это чувство близости превратилось в горечь и беспокойство, в тревогу и боязнь, в жестокость и необузданность: так некоторые болезни начинаются с сильной лихорадки и с быстротою молнии растекаются по всем жилам. Тогда — он со спутником шел навстречу неизвестному; теперь — он со спутницей был во власти неизвестного, но оба вступили в борьбу, в борьбу открытую и в то же время затаенную, не прекращавшуюся ни на минуту, чтобы установить власть или рабство. Но если бы она была другой, любил бы он ее? Какие чары привлекали его к ней, если не это многообразие проявлений, эта способность претворяться, это поразительное искусство лгать, смешанное с ужасающим стремлением к страданию, эти трагические маски, сменявшиеся детским изыщством, то царственные, то рабские движения, убийственная ярость и беззащитная хрупкость, все эти контрасты и противоречия, которые делали ее такой неуловимой и ров-

ной и вместе с тем разнообразной, как стихия. До сих пор женщины были для него не более, чем быстрой победой, кратким наслаждением, исчезнувшим неприятным осадком, смутным воспоминанием; и если ему приходилось узнавать одну в толпе других, то руководил им не проблеск душевный, а обоняние, подобно тому, как работоговцы по запаху узнавали происхождение невольниц. Великая, воинствующая дружба удерживает от праздной, бесцельной любви, освобождает от унижительных уз, охраняет взаимную свободу. Первые признаки пробуждавшейся страсти действительно вызвали в нем чувство боязни и нечто вроде угрызения совести по отношению к другу, инстинктивную потребность скрыть от него, и прозрачное желание подавить это чувство. Но подобно тому, как вокруг дикой ветви, вставленной в свежий надрез в древесном стволе, зарубцовывается рана, и кора срастается так, что уж ничто туда больше не может проникнуть, и жилки привитого растения переплетаются с жилками дерева, так и теперь любовь до краев заполняла болезненную рану и проникала повсюду, хотя в глубине еще жила тоска по брате и, может быть, приводила к еще большему упадку духа после минут самозабвения в любовном бреду.

Ах, сколько призраков и сколько тайн было скрыто в этом создании, — умевшем прятаться за своими черными ресницами лучше, чем в складках своей одежды? Почему она так часто вызывала в нем воспоминания и предчувствия? Может быть женщины, которых он когда-то любил и едва помнил теперь, может быть те, которых он только мельком видел на путях своих, и забыл, и которые были для него лишь мимолетной мечтой в разлитой по миру грусти, может быть и те, что должны были притти без зова и предупреждения, — может быть, все они соединялись в волнении и красоте Изабеллы?

Он, молча, следил за собою, сидя у стены в комнате, которую сумерки заливали фиолетовым светом. Он был один. И ему казалось, что очутившись, наконец, наедине с самим собою, со своими мыслями и своей пронизательностью, у голой стены — и, глядя в окно на море без

парусов и на небо без облаков, — он испытывает какое-то облегчение. Но кто-то внутри него в то же время прислушивался не раздадутся ли приближающиеся легкие шаги; в нем как-будто таился какой-то ребенок, охваченный смутным страхом, которому чудится, будто рядом с ним стоит нечто ужасное, и он внутренним своим взором видит это существо, и оно представляется ему более действительным, чем его собственные похолодевшие руки, лежащие у него на коленях; и он не шелохнется и не повернет головы, и всего его пронизывает струйка холода, которая рождается в его согнувшейся спине.

Что-то серебристое сверкнуло в тени, словно, до него докатилась, чтобы затем распасться, одна из тех чудесных волн, которые поднимаются над гладью моря пепельного цвета. Это бесшумно вошла Изабелла в сандалиях, в которых она ходила по песку.

— Паоло! — позвала она тихим голосом.

Он не ответил и не шевельнулся. Ее глаза еще не привыкли к темноте, не различали его.

— Паоло!

Она прислушалась, подождала немного; наклонила голову. Затем в недоумении пробормотала недовольным тоном:

— Его здесь нет!

Вдруг что-то защебетало. Она приблизилась к окну. И щебетание звучало так живо, словно оно доносилось из глубины комнаты, от самого подоконника. Она подошла еще ближе, осторожно, оглядываясь, стараясь уяснить себе, откуда идет этот звук. Теперь она стояла перед окном с непокрытой шеей, а волосы ее были расчесаны на затылке на две косы, сплетенные и сдерживаемые гребешками так, что плотно облегали маленькую головку. И его охватило странное волнение при виде этой жизни, которая жила перед ним, незримым свидетелем. Он хотел, чтобы она обернулась: ему представлялось, будто она, считая, что никого около нет, и никто на нее не смотрит, должна хранить свое естественное выражение лица, спокойное и бесстрастное, или же лицо медузы, обращающей людей в камень.

— Что же это такое? — говорила она сама с собой, наклоняясь к ковру.

Голос ее звучал низко, между гортанью и губами словно еще не отделившись от плоти, свежий и скрытый, как сливы, завернутые в листья.

— Ах, ласточка!

И, прежде чем поднять ее, она по-детски сделала жест нерешительности. Затем взяла в руки дрожащее существо; прикрыла ладонью раньше, чем взглянуть на него. Опустила веки над улыбкой, которая спускалась с ресниц на губы, слишком легкая, чтобы изогнуть их. Она чувствовала, как трепещут теплые перья. Какая дрожь в таком маленьком сердце!

— Как ты сюда попала? Ты вывалилась из гнезда?

Осторожно она позволила ей просунуть клюв между большим и указательным пальцем.

— А, ты уже окрепла!

Она выглянула за подоконник и осмотрела сточную трубу. Гнезда там не было. Небо ударило ей в лицо серебристо-фиолетовым сиянием. Жемчужного цвета море служило фоном для ее бюста. Она уподобилась образу юного Вечера, у которого на челе вот-вот загорится первая звездочка, а он поймал своими синеватыми руками запоздавшую ласточку, чтобы выпустить ее превращенной в летучую мышь.

— Ты, значит, умела летать?

Вдруг она вскрикнула от отвращения, но глухо, потому что ее окутывало молчание и заглушало ей голос. Между своим пальцем и крылышком она обнаружила живое насекомое. Она стряхнула его.

— Это твоя первая добыча?

Она терла хищный твердый клюв, обрамленный ржавого цвета лобиком и шейкой. И она слышала сильное биение маленького сердца, и ощущала остроту коготков в спрятавшихся лапках и нежную и дикую теплоту, биение этого духа свободы в мягких перьях.

— Если я отпущу тебя, ты улетишь! И куда?

И словно под влиянием гинноза, она вдруг заметила неподвижно устремленные на нее глаза; она вскрикнула

от страха, но уже больше не глухо; и выпустила пленницу из дрожащих рук.

— Ах, Паоло! Это ты? Ты здесь? Ты смотрел на меня? Ты смотрел на меня? Нет, нет, не гляди на меня так!

Она отступила назад, судорожно смеясь, казалось, готовая разразиться рыданиями.

— Зачем ты это сделал? Почему ты напугал меня так?

Он встал и направился к ней. Она все отступала.

— Ах, что за глаза! Нет, нет; не гляди на меня так! Закрой их! Ты пугаешь меня, пугаешь меня!

Она и смеялась и всхлипывала одновременно; грудь ее вздрагивала. И она сообщала ему этот безрассудный страх. Вставая после долгого сидения на месте, он ощутил ломоту в пояснице; а теперь поднявшись, он чувствовал, как слабы его затекшие ноги, как сводятся их мускулы, как всем его телом овладевает гнетущая печаль, остатки смертоносного наслаждения, и как беспрдельно расширились его глаза в глубоких впадинах.

— Ну, что ты, Изабелла! Что за ребячество!

— Но что у тебя за глаза!

— Ребенок!

— Закрой их.

— Вот я их закрыл.

Она бросилась к нему; положила на ресницы ладони, которые только-что заключали в себе трепещущие перья. Смех ее еще походил на всхлипывание, но уже более слабое. Она поцеловала его в губы.

— Какие у тебя холодные губы!

Он вздрогнул от тона, которым эти слова были произнесены. В глубине его существа блуждал какой-то неясный страх. И в них обоих и в комнате воцарилось молчание. И они снова слышали щебетание под подоконником.

— Она зовет на помощь, — шепотом сказала Изабелла.

И она вздохнула, как дети, когда перестают плакать, и сердце их освобождается от горечи, которая его наполняла.

Затем она стала на ковре на колени, наклонилась и осторожно принялась искать в потемках забытую. Отыскала ее, взяла в руки; встала на ноги.

— Вот она! Отпустить ее?

— Да, пускай летит.

— Подойди поближе.

Они оба стояли у подоконника. Вечер возложил на себя свое прекраснейшее ожерелье аметистов. Вesper вздрагивал над синим морем.

— Ты думаешь, она полетит?

— Попробуй.

— Она маленькая, но сердце у нее сильное. Послушай.

И она поднесла сжатый кулак к щеке любимого.

— Разве не слишком поздно? Вед она встретится с летучею мышью. И от страха собьется с дороги, бедная ласточка.

— Ребенок! Она живет здесь близко, на реке за камышами. Ведь высиживание птенцов уже кончилось.

— А что, если я дам ей приют на эту ночь?

— Ты причинишь ей этим большое горе.

Она колебалась, как если бы, удерживая в своих руках теплую пленницу, она общалась с таинственной жизнью, которая отовсюду поднималась в вечерней чистоте.

— Так я отпускаю ее.

— Попробуй.

Легкая дрожь пробежала по ней. Приморская поляна уже погрузилась в фиолетовую влажность. Кое-где блестяли лужи, божественные, как отражение неба; по ту сторону Арно чернели леса Сан-Рассоре, как привал каравана на границе пустыни. На длинной, как теорба¹⁾, песчаной косе спокойное море тихо село. Красота окружающего была такой нежной, что пронизывала любовь, как пламенный меч.

— Поцелуй меня сначала, — сказала она, вся исполненная сладострастной тревоги.

И она вспомнила Лунеллу, и Вану, и юного императора; и слишком черную тень дуба над старым домом, и ряды кипарисов под неумолимой стеной, над которой возвышается Тюрьма, и ночные напевы ветра между башнями, между дверьми, между кладбищами.

¹⁾ Род лютни.

Они поцеловались. Она протянула руку, раскрыла кулак, с болью в сердце.

— Прощай, ласточка!

И в мгновение ее рука опустела.

6.

— Айни, что с тобой?

Она опустила к нему на грудь и взяла его за подбородок; и лицом к лицу, она вглядывалась в его глаза, мешая смотреть на чистое небо.

— Говори, что с тобой сегодня, Айни?

Она боялась его молчания, как он боялся ее слов.

— Какое у тебя жесткое лицо сегодня: одни только кости!

И она подумала: «Череп с зубами», но не сказала; потому что перед ее мысленным взором промелькнула нагая женщина с барельефа на драгоценной дверце в мантуанском зале Пауз, перед которым Альдо стоял на коленях.

— Я сделаю себе больно, если поцелую тебя.

Он еще ни разу не обращал внимания на то, что она так тяжела: она давила на его ребра, как глыба мрамора. Но еще более жестокую боль он чувствовал под ребрами, в печени, разрываемой незримым коршуном. Не болтовню волшебницы он слышал, а внутренний мужественный голос. «Моя машина совсем готова. Перегрузка воздушного клапана только незаметно уменьшает ее силу. Новый пропеллер работает на славу. Я радостно вдыхаю ветер с суши, который зовет в море и понесет меня к Проливу».

— Посмотри на мои руки: какие на них синие и лиловые пятна; ведь это все от твоих пальцев. Ты заставляешь меня стыдиться перед Киареттой: она ведь настоящая францисканка, родилась и выросла в тени Порциунколы.

С изящным упрямством она гладила его по лицу своими пушистыми руками, которые пахли, как надушенные саше, потому что она вылила на них много душистой эссенции. А он не обращал внимания на ласки, и его

лицо становилось все более непроницаемым. «Все готово. Я дожидаюсь восхода солнца. Мой друг, махая флагом с дюны, подает мне сигнал. И все приходит в движение, сотрясается и шумит. По моему приказанию, рабочие отпускают меня. Вот я в воздухе и лечу прямо по направлению к морю; я постепенно поднимаюсь, перелезаю через дюну, слышу привет друга; подо мною вода, и густой дым с миноноски направо от меня заволакивает солнце. Ничто не меняется, ничто не волнуется. Все спокойно внутри и вокруг меня. Ветер спит; мне не надо управлять, и руки мои лежат неподвижно и праздно. Я даже не ощущаю полета. Мне кажется, что я стою на месте. Подо мною сверкает вода, все та же водная равнина...»

— Я никак не могу открыть тебе рот! Но посмотрим.

Глухое раздражение уже начинало звучать в ее капризном ребяческом тоне, в роде нетерпения, которое охватывало ее, когда одна из ее круглых шкатулочек ни с того, ни с сего вдруг переставала ей повиноваться, так что никакие усилия не были в состоянии повернуть крышку, даже если она решалась пожертвовать своим выхоленным, полированным ноготком. Она обнажила грудь и взяла нежными пальцами один из своих девственных сосков, похожих на те, которые мученица преподносит на серебряном блюде, как две опрокинутых чашки.

— Посмотрим.

Он же был погружен в мечту, вызывавшую в нем зависть и злобу. Он представлял себе залив стального цвета между крутыми берегами; и позади пропеллера, позади трех цилиндров, расположенных веером, — одинокого героя в коричневом картузе, в синей рабочей блузе поверх спасательного пояса; он, как на яву видел орлиный профиль франка, опустившего копы, со ртом, защищенным усами, как повязкой. И он вспомнил, как он встретился с ним в Монтикиари и говорил с ним. Он припоминал мужественную челюсть, выдающиеся скулы, упрямый хохол на лбу, оставшемся бледным, хотя все лицо было красно. Он вспоминал также простую, но энергичную женщину, изгнанницу из собственного дома,

стоявшую рядом под навесом, походившим на военную палатку. словно жена средневекового воина, переставшая складывать холст по сундукам и раздавать шерсть служанкам, чтобы схватить маленькую пику или секиру, и готовая преодолеть опасность силой своей улыбки, которая обнаруживала ее безупречные зубы и образовывала на щеках две глубокие ямочки. «Миноноска осталась позади, ее больше не видно. Я теперь один, потерянный в безбрежности глубоких вод; на горизонте я не различаю ни полоски земли, ни дыма парохода, ни мачты парусника. В тишине непрерывное гудение мотора: в неподвижности все те же волны. Сколько минут протекло? Немного, но они бесконечны. На востоке я замечаю серую полосу, которая непрерывно растет. Это побережье Англии. Я направляю полет к белеющему утесу. Налетают туман и ветер. Руки прикованы к рулю, глаза к намеченной цели. Подо мною — сталь и железо: отряд миноносок, эскадра броненосцев. Я различаю приветствия моряков, слышу их заглушенные крики. Торговые суда движутся вдоль берега, налево от меня. Я соображаю, что гавань недалеко, что Дувр на югозапад. Я переменяю курс, но ветер отгоняет меня. Я борюсь. Вижу замок. Лечу над дуврским бассейном. Пролетаю между двумя броненосцами, проникаю в какую-то ложбину. Подо мною земля, зеленая, впалая, как ладонь дружеской руки, зовет меня опуститься. Но, когда я спускаюсь, налетает ветер и захватывает меня своим вихрем. В нетерпении я остаю навливаю мотор, ускоряю спуск; касаюсь земли, толчок сворачивает ось колес и в щепы разбивает пропеллер. Я ступаю по траве Королевства. Я перелетел через Ла-Манш. Крылья мои невредимы».

И краткий рассказ героя звучал в его ушах, как порывы ветра, ударяющие в поддающиеся паруса. Как вспышки молнии, перед ним проносились эти образы. Но это был рассказ о вещах уже известных, и образы вещей уже виденных. Он словно сам совершил этот подвиг, над кораблями перелетел через море, увидел белеющий утес, проник в тенистую ложбину, спустился на лужайку; но тот перелет, о котором он мечтал, был еще длиннее, был без конца, поверх вод, всегда одинаковых

и всегда различных, поверх какой-то Леты, уничтожавшей в нем память о месте отправления.

Вдруг теплый запах рук Изабеллы защекотал его; и губы его почувствовали прикосновение маленькой твердой груди, колыхавшейся от подавленного смеха. Он не выдержал и гневно закричал.

— Довольно! — И вскочив, он схватил за локти и оттолкнул ее. — Довольно!

Толчок был настолько груб, что она упала навзничь; тиски его рук оставили на ее локте живой след. Но она не закричала, не стала жаловаться. Приподнявшись, она тяжело дышала, полунагая. Глаза, страстно глядевшие из под нахмуренных бровей, оставались загадочными, поздри вздрагивали, как бы предвкушая наслаждение. Какая-то двойственность, смесь ожесточения и радости, что-то странно-порочное загоралось на ее прекрасном демоническом лице и затем внезапно угасало.

Он не смотрел на нее. Ему было досадно на самого себя за грубость, но извиниться он не мог. И это новое чувство раскаяния еще больше угнетало его. Он слышал дыхание Изабеллы и опасался, как бы она не заплакала; ее слезы были бы для него худшим мучением. Скрестив руки за затылком, положив голову на перила террасы, он смотрел сквозь листву иссохших олеандров вдаль на Тирренское море, по которому бегали зайчики. Горгона¹⁾ виднелась, как тучка, по ту сторону более темной полосы моря, которая предвещала северо-западный ветер. Стая чаек белела на отмели у устья реки, как единая масса; время от времени от нее отделялось несколько птиц и разлеталось по поверхности пены. С Внешних болот доносились пение жаворонков. В одном месте противоположный берег терялся в тумане. К югу от островков лежал большой дикий остров, богатый коршунами.

И вдруг в его душе раздался голос друга, указывающего направление. «Курс на запад-юго-запад!» И он увидел площадку Ардеи, туфовую скалу, долину Инкастро, кольцо гор Лациума. И он вспомнил дни лихорадочной работы, пламенные надежды, смелые грезы и величие са-

¹⁾ Остров в Лигурийском заливе.

11 Д'Аннунцио, Может быть да, может быть нет.

мой дерзкой мечты. «Курс на запад-юго-запад!» Полет от побережья Ардеи до Фигарского мыса, при входе в залив Террановы — сто тридцать пять морских миль, что не особенно превышало расстояние, покрытое им над равниной в день ужасной катастрофы.

Новая сила наполняла уже мир, и со всех сторон поднимались гимны, народы уже не признавали никаких преград и освящали крылья победоносного Икара. А что делал он на этом гаремном ковре, на котором флейта Амара, казалось, управляла наслаждениями? Что стало с ним в борьбе между страхом перед гибелью и все растущим вожделением? Да, действительно, права была его шаловливая любовница, когда прижала к его устам свою грудь, чтобы он, подобно флейтисту с крашевыми губами, научился кормиться у львицы.

Он вскочил и нагнулся над перилами, глядя в направлении площадки, где под палаткой празднично стояла Ардеа. Уступая нетерпению, он крикнул:

— Джованни!

Это был любимый помощник Джулио Камбиазо, тот самый, который в последний раз наполнил ему бензином резервуар.

— Джованни!

Никто не ответил. Палатка оставалась безмолвной и закрытой. Должно быть, и механики предавались праздности или своим удовольствиям.

— Зачем ты зовешь? — спросила Изабелла нежным, почти смиренным голосом, вскочила на ноги и подошла к нему, вся сияя любовью.

— Я хочу разбудить Ардеу.

— В самом деле?

Лицо ее повесело, она вся затряслась, приподнялась даже на кончики пальцев. На ней была тонкая туника с тысячью складок, с новым хитроумным рисунком, — морскими мотивами микенского стиля, — и волнение ее крови словно пропитывало материю красною краской. Отражение белых облаков, собравшихся над Пизанскими горами, покрывало ее серебристым сиянием, которое распространялось по ее коже и проникало во все розоватые складки одежды, как иней, серебриющий лепестки розы.

— Да, ты должен разбудить ее. Я не смела напомнить тебе об этом. И ты непременно возьмишь меня с собой, Айни!

Она приблизилась к нему еще плотнее, одним из своих воздушных движений, которые, казалось, волновали кругом все пространство и делали его еще более светлым. Он смотрел на нее с удивлением.

— И ты не боишься?

— Припомни пыльную дорогу между каналами.

— Ты, правда, полетишь со мною?

— Куда угодно!

— Над рекою, над морем, над лесами и даже над городом, кругом куполов, кругом башень?

— Повсюду, над облаками, по ту сторону радуги.

Неудержимая радость охватила тогда и его. Он вдруг схватил ее в объятия. И она не сопротивлялась, сделалась легкой и свежей, как охотка листьев.

— Как мало весит большая Изабелла!

И, держа ее в руках, он протянул губы к полуобнаженной груди львицы.

7.

Тогда для них началось никогда еще не испытанное счастье. Они сложили оружие, залечили все раны, забыли, как можно мучить друг друга. Наступило божественное перемирие.

Ежедневно, перед зарею или перед заходом солнца, они уносились на Ардею, навстречу дивным мечтам. Чаровница была сама очарована.

Улыбаясь, она почувствовала, как в ее груди зарождалось дикое сердце того юного зверя, вожака перелетных птиц, прозванного Орнитием, которого моряки нашли в Трех Гаванях спящим на отмели среди стаи усталых ласточек.

— Я Орнитий, — говорила она летчику с таинственным видом, от которого ее лицо принимало как бы голубой оттенок, щеки надувались, а губы, казалось, держали зернышко или травку.

— Ты не помнишь прелестной морской басни Габриеле д'Аннунцио? Ну, так вот я — Орнитий. Когда голова Дарди Сегузо упала под топором красного человека, я подняла ее окровавленную и, в сопровождении всех своих ласточек, улетела в море. Я унесла ее до самого Тенаро, к порогу Плутонова царства, на территорию Блистательной Республики, так как на вершине мыса Венецианцы построили из спартанских камней четырехугольную башню для защиты от турок. Я пошла по лужайке асфodelей. Отыскала Евридику. Бросила ей голову на колени, чтобы обмануть ее...

Она говорила с тем выражением, от которого широко раскрывались глаза у Лунеллы, когда она рассказывала какую-нибудь сказку.

— Я вернулась. Много раз я спала там, у устья, на песчаном носу; но моряки не обнаружили меня, не связали меня прутьями вербы. В память о мастере-стекольнике я по собственной воле вернулась к человеческой любви. И у тебя тоже вокруг шеи незаметная розовая полоска, Паоло Тарсис.

Она одевала белую шляпу из тонкой прозрачной соломы, немного твердой, как жилистое стекло из Мурано, шляпу, украшенную двумя большими крыльями цапли, которые казались легче оттого, что к ним были примешаны длинные и тонкие перья со спины и с затылка.

— Ты ничего не подозревал в тот вечер, когда я стояла у окна, и ко мне прилетела ласточка. Ты смотрел, сдерживая дыхание, но не понял, для чего она прилетела и о чем щебетала...

Она обвязывала себе юбку веревочкой, чтобы складки плотно облегали ее ноги, на высоком сидении.

— Я это делаю для того, — говорила она, — чтобы меня, не охватило желание бежать, неизвестно куда или выкинуть какую-нибудь штуку.

Она была совсем, как лукавый мальчик, сияющий весельем и отвагой.

— Ну, в путь, Орнитий!

И семикратный шум начинался. Синий пропеллер вертелся звездообразно. Коснувшись сухой травы, Ардеа быстро взвивалась с берега, все поднимаясь, пересекала

устье реки, затем опускалась при повороте на запад и неслась налево, словно руководимая лукавством Орнития, по направлению к отмели, одетой какой-то белой пеленой вроде серебряных водорослей, покрывающих Гомбо. Но, о чудо! Вихрь пропеллера раздроблял эту компактную массу, которая разлеталась в разные стороны, громко хлопая крыльями, сверкая перьями, крича, несясь по морской зыби, распространяя свет и тень, — звучная тревога над широкой нивой как туча пепла, смесь белого с черным. Это были чайки!

— Орнитий! Орнитий!

Летчик не оборачивался, выкрикивая радостное имя.

А они, миновав вспугнутую стаю, поднимались над морем. Паоло чувствовал, как спутница дрожала, словно корабельная снасть. Все силы его жизни сосредоточились в одном остром внимании.

— Орнитий!

Она смотрела на него и не могла насмотреться, в упоении нежданной новизны, уверенная в нем, как в мудром боге.

Его непокрытая, свободная от всяких преград голова, обратившаяся, как и лопасти пропеллера, в какую-то воздушную силу, казалась ей сверхчеловеческой; его лицо было составлено как бы из жидкой силы, и казалось, ветер откидывал назад не только волосы со лба, но и все фибры мускулов лица, от подбородка до висков.

— Подними меня еще выше! Взлети еще выше! Я не боюсь.

Он повернул руль глубины, и Ардеа взвилась кверху, как челнок, поднятый на гребень океанской волны. На мгновение у Изабеллы захватило дыхание; ее руки судорожно сжались, как бы ища защиты у кормчего, и она закрыла глаза. Но только на мгновение. Ардеа парила в воздухе, описывая широкий круг между небом и морем. Внизу латинские паруса горели, как свечи, на коричневых скорлупах лодок. То были розовые паруса пиченской колонии, переселившейся к устью Магры. Раскрывшиеся снова глаза узнали их.

— Орнитий, путь на Серкио, — сказал кормчий, пово-

рачивая на восток и несясь к лесистому берегу, незаметно спускаясь.

Он весело улыбнулся, как будто замыслил шутку. Тихая река Луккезия отделяла светло-зеленою лентой леса Сан-Россоре от лесов Мильярино, королевские владения от владений герцогских. Виднелись квадратный форт, мост, башня Риккарди. На светлых отмелях в устье чернело что-то, похожее на кучи обломков и мусора, прибиваемых бурей под дюнами.

— Орнитий! Орнитий!

Вдруг эти черные пятна превратились в темную тучу, в живую тучу с трепещущими краями, которая с хриплым карканьем и грубым криком понеслась по направлению к камышам, скрываясь в верхушках сосен, стущая их тень, покрывая их как бы ночной пеленой. Это были вороны!

Речная сырость, как водоворот, притягивала Ардеу. Ее неподвижные крылья отражались в медленном течении, как в спящем пруде. Почти-что касаясь воды, гигантская птица скользила мимо камышей, верб и ив, вдоль илистых берегов, с выдающимися наружу корнями, живя на мгновение жизнью сине-зеленой речной птицы, одинокой и осторожной. Затем она снова поднялась, перелетела через берег, понеслась над болотами и молчаливыми лугами, заключенными между Ангвиллерой и Мертвой рекой, как между Коцитом и Флегетоном. В вечерней тишине улыбнулась и заплакала краса Ада и Елисейских полей. Все обратилось в воспоминания и сны, в образы и нежную музыку.

Опьяненная и удивленная, упершись белыми сандалиями в тонкую перекладину, напоминая своим обвязанным платьем связку прутьев, вся отрешившись от веса и проникнутая иллюзией прозрачности, она — воплощение Орнития склоняла к Елисейским полям и к Аду свое прекрасное лицо, на котором воздушное течение обозначало самые голубые жилки. Ее ясновидящая душа, полная воспоминаний, вглядывалась своими грезящими зрачками, узнавала старинную страну своих страданий и своей любви, предчувствовала возвращение своей самой отдаленной судьбы.

Безжизненные песчаные пространства и пустые луга

омывались водами Тартара. На горизонте темнели леса, окутанные испарениями. Запах болота, смолы и горелого дерева был так мягок и грустен, что, казалось, он рождается из тоски по далекой родине, из печали бесконечного изгнания.

«Ах, остановись!» хотелось ей попросить его.

И вдруг под верхушками сосен где-то в глубине загорелось пламя пожара, загадочный огонь, в котором пылали тысячи и тысячи черепичных колонн пироповых галлерей.

«Что это, лес загорелся? Вот отчего такой запах ладана». Нет, это низкое солнце, диск раскаленной меди, между морем и полосой облаков ударяло косыми лучами в стволы, оставляя верхушки в тени. Земля, усыпанная сухими иглами, горела, как уголья. Желтая стая ланей бежала по освещенному пространству, появляясь и исчезая за ветвями, и их преследовали псы Актеона и стрелы Кентавра.

«Ах, остановись!»

Река Данте преобразилась, засверкала ярким блеском, словно озаренная смехом Беатрисы; наполнилась чем-то вечным, текущим из моря и вливающимся в сердце благочестивого города, коленопреклоненного перед продолговатой урной, где в продолжение веков хранится горсть святой земли.

— Мадонна Пиза!

Цапля повиновалась этому вздоху и поднялась над розовым потоком.

— Мадонна Пиза Пылающего Шипа¹⁾.

Светлый покой царил в воздухе; но какое-то тяжелое возбуждение, почти тревога, наполняло грудь Изабеллы. В этом радостном сиянии она как бы чувствовала укол священного терния, хранящегося в благородной мраморной нише над берегом, и ей казалось, что ее кровь возвращала ему жизнь. Душа ее просилась вон из тесного тела, до такой степени она была охвачена волнением. Ей казалось, что она летит к восторженному граду на крыльях

¹⁾ «Santa Maria della Spina» — маленькая церковь в Пизе на берегу Арно, в которой хранилось терние из венца Спасителя.

огненного архангела. Шум машины удалялся, становился похожим на гул морской раковины. Поэтический порыв в ее душе был так силен, что ей захотелось заплакать.

И в это дивное спокойствие из ее памяти и со страницы той самой книги, которую лихорадочно перелистывали руки Ваны, собирая с них коричневый цвет, что «рождается раньше страсти», вдруг ворвался вопль Христова Безумца.

Любовь, любовь, тобою уязвленной
Лишь о любви мне суждено кричать;
Любовь, любовь, с тобой соединенной
Тебя одну мне сладко обнимать.
Любовь, любовь, душою покоренной
Хочу всегда для страсти расцветать,
Хочу тобой страдать,
Любовь, чтоб быть с тобою!

И, правда, горя любовью, город склонился перед своей святыней. Над горящей рекой возвышались только мраморные здания, излучающие свет, как топазы у Данте, ряды выдающихся колонн, как белые епитрахили. И Молитвенница стояла покрытая своими черепицами, смиренно склонившись, перед пустынной красотой, подобно тому, как на нижнем плане золотых икон, на которых сверкает слава божественного изображения, — сложив руки, стоит Жертвователь, облаченный в темную рясу.

Ардеа описала круг в Христовом небе, над лугом чудес; поднялась над пятью приделами собора, над невидимым венцом Кампаниле, согбенного от колебания его бронзовых колоколов, над тиарой Баптистерия, такой легкой, что казалось, она сейчас улетит, полная эхо. И чем больше пепельная синева вечера вытесняла райское отражение солнца, тем таинственнее становилось мистическое сияние мрамора; и так долго он хранил свою белизну, защищая ее от надвигающейся тени, что казалось, будто сквозь алебастровые жилки просвечивают лампы алтаря.

— На Кампо Санто! — попросила шепотом Изабелла у небесного кормчего. — Спустимся теперь к Кампо Санто!

Ардеа скользнула по свинцовым плитам. А Изабелла

молилась всеми мольбами молчания, чтобы крыло неподвижно повисло над видением жизни и смерти.

«Ах, остановись!»

Но это продолжалось только один миг, коснувшаяся верхушки души, точно кто-то открыл и сразу захлопнул урну, большую продолговатую урну, где сокрыта сила Города, который спит между кинарисом и розовым кустом, сдвинув ноги, скрестив на груди руки, глубоко зарытый в землю Голгофы, привезенной на галерах архиепископа Убальдо.

„Ave Maria“. И Кампаниле как будто склонился на юг.

Ардеа удалялась, оставляя в стороне, на фоне гибеллинской стены и темных, как запекавшаяся кровь, ворот, еще не потухшее сияние священного мрамора, покидая кровли, уже тронутые ночью, бледнеющую реку меж двумя рядами золотых искр, черный канал, загромаженный спящими лодками. Она повернула на юго-восток, пронеслась над голой равниной, над лужами, канавами и пастбищами Колтано, над прежним руслом Арно, еще хранящим влажный дух старой реки, поднялась над печальным Томбольским лесом, где еще, может быть, бродит Дантова пантера. И еще раз красота Ада пахнула из темноты. И еще раз донесся грустный аромат болота, смолы и горелого дерева.

Безмолвные привидения блуждали в тонком тумане, освещенном новой луной, колыхались и исчезали: это были табуны диких коней. Из чащи выглядывал большой круглый глаз: бассейн, из которого пили стада. Иногда показывались дымящиеся холмы, рассекаемые пламенем, как горящие гробницы шестого адского круга: это были угольные ямы. Но эти обширные, молчаливые и темные русла, отделенные длинными полосами мрачной ночи, эти неподвижные русла, без течения, без устоев, между берегами, прорванными когда-то под напором потоков страдания, — разве это были не высохшие реки подземных долин: Эреб и Стикс, Лета и Ахерон?

8.

И Лунелла просила:

— Не уходи, не уходи еще, Ванина! Останься еще немного, Дуччо! Возьми и меня с собой к Аббатству. Пожалуйста, пожалуйста!

— Нет, нет, Лунелла. Тебе пора обедать. Будь пайнкой. Мисс Аймоджен ждет тебя. Не надо слишком много сразу. Сегодня для тебя уже было столько музыки. Посмотри, на что ты похожа. Ты все еще всхлипываешь.

— Нет, Ванина. Я выпью глоток воды, и все пройдет.

— Но ты не успокоишься, и тебе трудно будет заснуть.

— Все пройдет.

Она упрашивала с еще красными от слез глазами, держа в руках Тяпу, свою любимую куклу; и крохотное фарфоровое личико с румяными щеками прижималось к еще влажной щеке, по которой, казалось, пробегали уже волны чувственности, и на которую бросали тень не одни только волосы. Но ее неожиданные слезы оросили также юбку Тяпы, всю в кружевах и рюшках из фалбалы, до такой степени плач виолончели схватил за живое ее маленькую тревожную душу. И теперь поминутно дыхание поднималось из ее вздрагивавшей груди.

— Нет, довольно, Лунелла, идем. Будь пайнкой. Я провожу тебя.

— Дуччо, Дуччо, почему ты ничего не скажешь? Почему ты не защищаешь меня?

Брат грубовато привлек ее к себе, как он любил дразнить дикарку, словно злую собаченку, которая, играя, разозлится и укусит. Он стиснул ее между коленами и откинул назад ее буйную голову. Но в его улыбке была нежность, смешанная с отчаянием.

— Что тебе от меня нужно, Форбиччикия¹⁾.

— Ты тянешь меня за волосы, ты хочешь, чтобы я снова заплакала.

— Почему ты плакала?

— Потому что я смотрела на твои пальцы.

— Как на пальцы?

¹⁾ Уменьшительное от *forbici* — ножницы.

— Пальцы на ручке виолончели.

— Ну, и что же?

— Они были такие больные.

— Больные?

— Да, как пальцы Салоники.

— Ах, Форбиччикия — чудачка!

Салонико был бродяга, которому она дала имя одного из тех ужасных разбойников, которые живут на Вольтеррской горе у курицы с золотыми яйцами. Однажды она увидела, как он в судорогах упал на мостовую; и с тех пор не могла забыть его.

— Итак, ты возьмешь меня в Аббатство?

— Нет, только не сегодня.

— Почему?

— Разве ты не видишь, что Тяпе хочется спать?

Лежавшая у нее на руке кукла закрывала глаза из голубого, как сапфир, стекла.

— И она еще опаснее больна, чем Салонико и мои пальцы.

— Почему?

— Разве ты не видишь, что у нее сломана нога.

Она поспешно поправила юбку на кукле, чтобы прикрыть ногу.

— Но ей не больно.

— И нос у нее проломлен.

— О, только немножко.

— И мне кажется, что она косит на один глаз.

— Нет, вот это уж неправда.

— Косая, близорукая, слепая, подслеповатая.

Та расхохоталась коротким смешком, который, казалось, поднимался из груди вместе с дыханием; Вана и Альдо вздрогнули и переглянулись.

— Ей просто, вероятно, хочется спать. Отнеси ее в постельку.

— Хорошо, если Мориччика споет ей колыбельную песенку.

— Нет, — сказала Вана, — мне не хочется. Я ее больше не помню. Но, увидев по недовольному движению красивых губ, что назревает новое горе, она добавила:

— Хорошо, я спою Тяпе колыбельную.

Это была колыбельная Модеста Мусоргского, «Чтобы убаюкивать куклу», медленная и страдальческая кантилена, угрожающая и уговаривающая, на которую слово падает последний отсвет полена, отраженный в металлческой раке иконы, в то время как в такт с нею в пустынной степи завывает ветер.

— Вставай, Альдо, уступим и в этом самоуправной Форбиччикии.

И они переглянулись с несказанной печалью.

Альдо коснулся руками клавиши. Вана подошла к рояли и повернулась к Лунелле, которая едва улыбнулась. Улыбнулась, а потом снова стала серьезной, взяла на руки Тяпу и держала ее так, чтобы она еще не закрывала глаз. Она стояла на своих стройных и нервных ногах, пажа и не отрывалась от губ певицы; и тонкие стальные ножницы, с золотой ручкой, творцы белых картинок, сверкали у нее на платье, на цепочке, испещренной разноцветными камешками, как некоторые египетские ожерелья.

Тяпа, бай, бай,
Тяпа, спи усни,
Угомон тебя возьми,
Тяпа! Спать надо!
Тяпа, спи, усни,
Тяпу бука с'ест,
Серый волк возьмет
В темный лес снесет.
Тяпа, спи, усни.

Порывистым движением, в котором, может быть, был и настоящий испуг, Лунелла наклонила руку, поддерживавшую головку Тяпы; и игрушечные стеклянные глаза сомкнулись, но глаза девочки остались широко раскрытыми и устремленными на певицу, так как Вана пела не только голосом, но и всем своим лицом, наклоненным к ребенку и к кукле и выражавшим ужас перед голодным чудовищем.

Что во сне увидишь,
Мне про то расскажешь,

Про остров чудный,
Где не жнут, ни сеют,
Где цветут и зреют
Груши наливные,
День и ночь поют
Птички золотые.
Бай, бай,
Баю бай,
Бай, бай, Тяпа.

Последние ноты замерли, как вздох, над уснувшей куклой. Лунелла старалась держать руки неподвижно, чтобы не тревожить спящей, и вся она была охвачена смутным беспокойством. На фарфоровом лице оба века были опущены, но одно из них, то, что прикрывало косой глаз, обнаруживало в одном углу голубоватое пятнышко.

— Крикни ему, что она заснула, — прошептала Лунелла, поднимаясь на цыпочки, чтобы осторожно удалиться.

И она вышла, затаив дыхание, и на лице ее отражались материнские беспокойство и заботливость, под величественной шевелюрою ангела.

9.

Под лучами заходящего солнца Утесы были залиты светом и тенью; свет был оттенка охры, и тень тоже была желтой. Цвета пустыни и льва окрашивали в этот час первый круг, опоясывающий пропасть; следующий, уже пепельного цвета, был усеян пятнами зеленоватой плесени, а третий — синеватый, скрывался под влажной пеленою источников, просачивавшихся из камней. Ветер, завывая в расселинах, пещерах и нишах, наполнял печалью все это запустение. Кружившиеся соколы издавали на своем нестройном языке острые крики.

— Ужасное место, — сказал Альдо.

— Тебе страшно? — спросила Вана.

Бурный водоворот, казалось, свирепствовал в глубине обрыва, имевшего форму арки, вроде того вечного вихря,

который увлекает Дидону с ее спутницами. На краю пропасти нельзя было стоять твердо или смотреть спокойно. Самые бесстрашные начинали чувствовать головокружение.

— Мне страшно, — ответил юноша. — Когда я думаю об Утесах, мне кажется, что более одинокого одиночества не существует на свете. Когда я всматриваюсь или вслушиваюсь в них, то я чувствую, что там притаилось какое-то замаскированное существо. И уверена ли ты, что, бросившись вниз, я упал бы на песок или на известь? Кто видел когда-либо самое дно? Глаза не в состоянии смотреть долго.

— Может быть потому, что внизу горит ослепительный огонь.

— Ты думаешь?

— Я хочу посмотреть.

— Не так, Вана, так нельзя!

Он схватил ее, когда она приближалась к краю и захотела нагнуться, оттащил назад и крепко обнял ее. Вана почувствовала, как он дрожит всем телом.

— Как ты дрожишь! — сказала она спокойно и строго после короткой паузы, в течение которой только ветер был то жалобно, то гневно над обрывом.

И чувствуя трепет брата, она еще более обыкновенного замыкалась в себя. Из духа противоречия горделивая отвага ободряла ее сердце. И когда она жестко засмеялась, в ее смехе звучало презрение.

— Ты думаешь о Буке Лунелла.

Тогда он испугался еще больше, так как насмешка сестры напоминала ему о договоре совместной смерти. Он находился в состоянии духа человека, который, желая сыграть страшную шутку, берет за смертоносное оружие и вдруг замечает, что какая-то воля, слепая и более могущественная, нежели его воля, влечет его, что роли переменились, что он больше ничто иное, как жалкое, дрожащее существо во власти непреодолимой силы. Итак, нужно было умереть на самом деле. Отступить больше не было возможности. Итак, он должен был исполнить договор.

— Идем, — сказала Вана. — Идем в Аббатство.

Он не оставил ее руки и продолжал судорожно сжимать ее. Молодая жизнь, игравшая в его крови, более сильная, чем он сам, чем его страх и его стыд, держалась с невероятной настойчивостью за эту другую жизнь, которая согревала и подкрепляла его. И он облегченно вздохнул, когда они отошли от мрачной ямы.

Его голос звучал глухо и неверно, как рассеченный металл.

— Разве это было решено на сегодня? Но ты могла лишиться чувств, а зачем предоставлять случаю то, что должно быть совершенно сознательно?

Презрительная улыбка снова заиграла на губах Ваны, но она промолчала. Дерзкий дух увлекал ее теперь, словно малодушие брата давало ей мужественное превосходство над ним. Высоко подняв голову, смело и свободно шагала она вперед вдоль провололочной загородки, снабженной острями, на подобие прутьев, из которых плетут терновые венки, тянувшейся между красными столбами вокруг сада перед зданием красно-ржавого цвета. Брат держал ее за руку; но она вела его, как ребенка, словно вдруг он стал не на два, а на десять лет моложе ее.

— Каждому — свой час и свой выбор, — проговорила она, наконец, спокойно и с легким оттенком насмешки в голосе. — Оставим воображаемых спутников на этрусских урнах.

Он почувствовал, что она унижает его. И он захотел загладить свой испуг одной из тех выдумок, которые в одно мгновение охватывают и извращают юную душу.

— Вана, я скажу тебе одну вещь, — сказал он, оставившись. — Однажды, чтобы хорошенько всмотреться в глубину, я улегся ничком на самом краю, держа лицо над бездной. Поэтому-то я сказал тебе: не так.

— А!

«Он говорит неправду», — подумала она. И она высвободила свою руку и вместе с этим движением как бы отняла от него ту часть собственных страданий, которою наделила его. И как река вздувается и заливают берега, если встречает преграду, так и боль заполнила до краев ее душу и еще больше усилилась. Она жутко ощутила

все свое одиночество, которое отпечатлевалось и на сжатых губах, и на сморщенном лбу, и на всем ее решительном исхудавшем лице. Она шла вперед, совсем одна, между облысевшими кипарисами, между маленькими чахлыми маслинами. На ее голове была та же шляпа с желтыми розами, ее погребальная гирлянда, и ветер колебал длинные поля над ее думами, сгибал шелковые цветы, как будто опять пропеллер захватил ее своим вихрем. И ей снова казалось, будто солома звучит, как бронзовый колокол, и среди шума с ней говорит привидение. И она повторила про себя: «Я — тайная невеста Тени». И перед ее глазами возникала, как живая, улыбка Джулио Камбиазо, его мелкие, белые детские зубы; она думала, что ни один человек не был так нежен с ней, что никто не был ей так близок теперь. Она говорила ему: «Скоро, скоро приду». Возвышенная любовь к нему возгоралась в ней с новой силой, как в ту ночь, когда лежа в Бреше на постели, она собиралась исполнить обет.

— Почему ты, так бежишь? Куда ты идешь? — нетвердым голосом спросил Альдо, как будто она влекла его на встречу неизбежной судьбе.

— Разве я бегу?

Она не замечала этого, потому что все кругом нее куда-то безудержно стремилось, куда-то летело. Тучи в дикой погоне словно спускались до самых стен и разрывались над башней старого здания. Неровная местность звенела, как будто все холмики обратились в опрокинутые тимпаны. Ласточки с острым криком рассекали воздух, как камни, пущенные пращею, и исчезали, точно срастаясь с пораженной целью.

— Видишь? Видишь эту дверцу, Альдо? Она такая же узкая, как там, в Мантуе, как дверца Пауз, около которой ты сказал: «Песня, которой ты не споешь, Мориччиа». Ты помнишь? На ней нет черных мраморных дисков; но где ты видал более черный плющ?

Перед ними была каменная дверца, густо увитая черным плющом по архитраву. Когда она ступила на разрушенный порог, Альдо вздрогнул, точно она исчезала навсегда. Он не в силах был побороть свой слепой ужас.

Каждый камень был для него, как на урнах порог гробницы, у которого расстанутся вместе идущие. И все же ему нельзя было оставаться позади. Он также перешагнул через порог и увидел, что там не было мрака: по ту сторону стены виднелись кустарники, нездоровый берег моря, на который снопами падали лучи заходящего солнца, извилистые, заросшие дорожки, и кое-где отсвечивающие темные лужи.

«Песня, которой ты не споешь! Песня, которой ты не споешь!» — повторяла обрекая себя на смерть с улыбкой и с таким взглядом, который леденил молодого человека, словно он ночью в зеркале заметил свое собственное отражение, когда это уже не наш образ, а образ кого-то чужого, кто проник в нас и завладел нашим существом.

— Почему ты оставила мою руку, сестра? — сказал он. — Почему ты уходишь от меня?

Она не сводила с него своего невыносимого взора.

— Отчего ты страдаешь, Альдо?

И стала дожидаться ответа на ветру, неподвижно.

И пока она ждала, ужас сгустился вокруг них, оседая на обвалившейся стене абсиды без крыши, проникая под старую разрушенную башню, зарываясь в груды обломков, еще согретых летним зноем. Казалось, что она должна наклониться, поднять камень и бросить его.

— Не все ли равно, — ответил он мрачно, — раз я хочу умереть.

— Оставь меня! Оставь меня! — вдруг резко закричала она. — Я тебя больше не знаю.

— Ты с ума сошла, Вана.

Но она уклонилась от брата, пытавшегося удержать ее, опять переступила через порог, вышла в садик, зашагала вдоль четырехугольных желтых столбов, вдоль вязанок хвороста, снопов и соломы. Воробьи, не переставая, чирикали, но пение их было грустно, как звук большого невидимого серпа с лезвием, отточенным о распатанные плиты, которыми кругом был обложен опоясанный железом колодец, напоминавший таким образом склеп или тюрьму.

— Аттиния! Аттиния!

Вана звала сторожиху Аббатства. Узнав голос, та радостно прибежала навстречу. Сухая, костлявая, с тонкими губами, резкими скулами, растопыренными ушами, она напоминала женщину цецинского племени с этрусской урны, на которой вылеплено путешествие в телеге. Ее гладкие волосы были покрыты серой вольтеррской войлочной шапочкой. Она говорила об урожае, о своем муже, о детях, о своем ветхом жилище — с терпеливой добротой, с ясным смирением.

— Аттиния, покажи мне еще раз белую лошадь.

— Ах, вы все еще помните? Сейчас принесу ключи. Полуодетая девочка потянула ее за передник и пробормотала:

— Мама, там сумасшедший.

Но та продолжала:

— Идите, идите, не бойтесь. Он — добрый.

И они пошли по садику Аббатства; в каждой из его внутренних стен имелись замуравленные кирпичами дверцы, куда уже никто не входил, откуда не выходил никто.

— Ты также взяла на руки больного, Аттиния?

— Что же делать? Жить надо. Но он очень послушен.

Это был новый местный промысел. Ей поручили смотреть за сумасшедшим из лечебницы, Сан-Джироламо, и она дала ему приют, ходила за ним, помогала ему в его жалком существовании, и раз в неделю водила показывать врачам; после чего тот возвращался в их семью, сливаясь с их обстановкой, не вызывая в них размышлений о человеке, ставшем загадочнее трупа.

— Как его зовут?

— Бивiano.

— Откуда он?

— Из печальной Мареммы, из Соаны.

Альдо вспомнил мертвый город Альдобрандески, высеченный в скале, как кладбище, между двумя грязными ядовитыми рвами.

— Он молод?

— Средних лет. Но он очень добрый, бедняжка. Очень любит ребятишек. Он отводит корову на пастбище. Говорит мало и все время улыбается.

Они остановились у входа в трапезную. Воробьи про-

должали чирикать, но их голоса не заглушали заунывного воя ветра. Дверь была открыта, вся связка ржавых ключей висела у скважины.

— Проходите, проходите, пожалуйста, — сказала Аттиния, толкая дверь.

— Вана, Вана, не будем заходить, — попросил Альдо на ухо сестру. — Не надо, пойдем прочь.

Вана вошла решительно, как бы отстраняя препятствие; и она быстро огляделась, исследовала взглядом все темные закоулки. Холодная дрожь пробежала по ее спине. Трапезная была пуста. На стене была изображена белая лошадь со всадником, несущим орла; а рядом с ним — святые в длинных белых покрывалах. Доски, прибитые к окнам, скрипели от порывов ветра. Через одно из окон открывался вид на Утесы, на громаду Сан-Джусто, подобную чугунному колосу над обрывом, на извивающуюся по бесплодному холму дорогу, на мертвенную маслячную рощу.

— Ты здесь не был ни разу, Альдо, и все же ты вспомнил это место, я уверена в этом. Мы снова во дворце Изабеллы, в ее Парадизе. Сады провалились в пропасть, болота высохли от зноя, золото и лазурь исчезли. Осталась только паутина, которой теперь еще больше; смотри, она дрожит повсюду. Паук поймал пчелу.

Она говорила тихо, но с суровым воодушевлением, в котором ирония звучала, как брошенная на уголья соль.

— Посмотри сюда: вот надтреснутая крышка очага, вот еще следы коноти, осыпавшийся кирпич, куски штукатурки, запах плесени, запах смерти — и ничего больше. Ничего, кроме скрытого ужаса. И мы идем, идем вперед от двери к двери, из комнаты в комнату, мы идем и ищем друг друга и снова зовем: «Альдо, где ты? Ты заблудился?»

Она сжимала его руку, и слова ее звучали, будто в его душе. Она словно потеряла рассудок и тем не менее видела самые сокровенные вещи. И слова, которые она прокричала в темноте разрушавшегося лабиринта, она повторяла их загадочным голосом, раздиравшим и наполнявшим ужасом грудь брата, хранившего тайну.

— Но мы не отыщем друг друга, не бросимся в объятия,

как в тот раз, не будем плакать без слез. Все обнажилось, красота исчезла бесследно, нет больше места грезам.

Она остановилась, вздрогнула и вся похолодела.

— Посмотри, кто стоит там у двери, во дворце Изабеллы!

На пороге появилось серое привидение, отделившись от глухой стены из глубины непроницаемой тени, словно одна из выцветших фигур, окружавших белую лошадь.

— Вивиано, поклонитесь, — мягко сказала Аттиния, почтительно стоявшая сзади.

Привидение сделало неопределенный жест рукою, сняло шапку и подвинулось ближе. Это был не человек, а улыбка, улыбка на камне. Из какого закоулка вышел он? Что увидел, что услышал он? Что собирались произнести его губы, похожие на уста старых крашенных кумиров, вечно усмехающихся неведомому?

Вана и Альдо невольно отступили перед ним. За ними было окно, а за окном стаи птиц отчаянно рассекали воздух, как тучи стрел в бешеной схватке, как тогда, в самый долгий день, под небом Вергилии.

— Вивиано, что вы делали здесь один? — мягко спросила Аттиния.

Безумный улыбался. Улыбка сковывала его рот и не позволяла ему говорить. Он был одет в какой-то серый мешок, ниспадавший до колен; он был одинакового цвета с заброшенной стеною и казался слоем облупившейся штукатурки; и лицо его было бледно, как мерцающая лампадка в покинутом доме.

— Вы не хотите отвечать, Вивиано?

Улыбка на его губах задрожала, как бы вибрируя на какое-то отдаленнейшее движение в бездонной пропасти жизни. И Альдо, с ужасом переживавший вновь час своей гибели, вспомнил, глядя на эту улыбку, легкое мерцание, которое дрожало там, во дворце Изабеллы, на продавленной решетке одного из помостов — отражение, Бог знает какого, забытого водоема, проникавшее через стекла, подернутые паутиной и пылью.

— Идем, Вана. Уж поздно, — сказал Альдо, подталкивая сестру, ибо, как и в тот раз, он слышал неистовое

всесокрушающее нападение птиц, которое снова должно было увлечь его в своем вихре.

Но привидение следовало за ними по садику, мягко шагая, словно по грязи. И они очутились перед притворенной дверью, распространявшей прогорклый запах. На архитраве источенными временем буквами стояло: *Domus mea*. Вана толкнула дверь и вошла.

— Дом мой! Дом мой! — сказала она, подвигаясь вне-ред по горькой траве среди священных обломков.

Просторная церковь разрушалась, стены грозили рухнуть, все алтари были опрокинуты; колонны валялись среди обломков мусора; другие еще стояли невредимые, украшенные своими капителями из трех листьев и трех гроздей. В абсиде арки, сделанном из черных и белых клиньев, в ризнице, заросшей колючим кустарником, на осколках штукатурки, остававшейся на желтом камне, виднелись местами следы фресок, похожих на пятна несмываемой крови. Все очертания исчезли; сохранялся только красный цвет, как свидетельство великого мученического подвига. Оставались также пронзенные ноги Распятого, и темная туника цвета запекшейся крови. И отрубленная голова Святого Джусто, четырехугольная, бородатая голова, усеянная лишаями, лежала среди желтых обломков.

— Дом мой!

И улыбка умалишенного была улыбкой камня, она глядела со всех камней, которым рано или поздно суждено было скатиться в пропасть, быть поглощенными бездонным обрывом, найти там умиротворение, срастись с землею.

— Прощай, прощай, Аттиния!

И ей, Ване, казалось теперь, что она усмехается так же, как Вивиано; ей казалось, что мускулы ее лица искривляются в ту же бесформенную гримасу. Два или три раза подносила она руку ко рту, как бы желая прогнать, стереть навязчивую улыбку.

— Куда идешь ты? Не беги! — спросил Альдо, в отчаянии спеша за нею под свист ветра.

Они сошли по спуску, и перед ними снова открылась лужайка под стеною, карликовые дубы, похожие на без-

руких калек-нищих, склон и темная пропасть; они опять услышали громкие и слабые голоса, вздохи, крики, стечения. Они пешком направились к Гверручче. Кучеру было приказано ждать их у Менсерских ворот.

— Ах, остановись, Вана! Ты запыхаешься. Переведи дух. Дай и мне вздохнуть. Что за безумие охватило тебя?

Над дорогой возвышалась дикая громада Мандринги.

— Я изнемогаю от жажды. Дай мне напиться. Попей и ты из этого ключа.

В тени жимолости и терновников журчал источник.

— Я не хочу пить, — ответила Вана.

Из влажной тени доносилась веселая болтовня женщин, звон кружек, блестели кувшины.

— Подожди минутку!

Он спустился к источнику, снял шляпу и, отирая голову, попросил выпить. Все сразу обернулось к прекрасному юноше. Все глаза засверкали под войлочными шляпами в тени зелени; женщины подталкивали друг друга локтями, шептались, тихо пересмеивались.

— Без стакана?

— Из кувшина?

— Из кружки?

— Здесь вода сладкая.

— Лучше, чем в колодце у Ингирами.

— Чтоб стирать простынки.

У ворот Доччоли,
За водой к Мандаринге,
Ходишь поневоле.

— Вот мой кувшин.

— Мой чаше.

— Вот у этого носик поуже.

— У этого! У этого!

Звучные голоса разносились кругом, и голые руки поднимали и протягивали полные кувшины. Вокруг него играла народная грация, и в толпе он различал изящные молодые лица. Он прильнул прямо к медному желобу, не касаясь его и стараясь не облиться.

— Как он умеет пить, словно полощет горло.

— Нет, он пьет глоточками.

— И как чисто.

— Это настоящий поцелуй.

— Слюнки текут, как на него посмотришь.

— Как счастлива его возлюбленная.

— Цветок акации! — закричала самая смелая, среди веселого смеха, среди лукавых перемигиваний и подталкиваний, в то время как Альдо поспешно догонял на дороге торопившую его сестру. — Цветок акации.

Кто умеет так пить, тот еще лучше целует.

Ветер снова охватил его и с неумолимой силой понес навстречу новому ужасу. Тучи мчались на Вольтерру, как некогда отряды солдат из Монтефельтро. Местность была выжжена, как-будто после нашествия неприятеля. Над меловыми горами кое-где возвышались остатки развалин старинной крепостной ограды, словно отделившиеся от хребта позвонки.

— Ты знаешь, что она возвращается? — сказала вдруг Вана.

Она пла, низко опустив голову.

— Возвращается.

— Она написала управляющему, чтобы приготовили виллу. Она выходит замуж.

— Что ты хочешь сказать, Вана?

— Изабелла выходит замуж за Паоло Тарсиса.

Казалось, все кругом было полно криков.

— Она прислала письмо?

— Да.

— Почему ты только сейчас говоришь об этом?

— Я только сегодня узнала.

— И он тоже придет?

— Да, тоже.

Казалось, все кругом вдруг завертелось, как в вихре. Итак, не было спасения. Законный брак будет заключен навеки. Изабелла теряла свободу. Все в ее и в их жизни изменится. Все рушилось.

— Ты уверена в этом? Ты прочла письмо?

— Да, прочла.

Альдо остановился, как-будто боясь упасть, как-будто ветер пронесся сквозь него и опустошил его грудь.

Вана тоже остановилась, тяжело дыша, и сказала:

— Ты понимаешь? Разве это не в мой дом мы только что ходили? Разве это и не твой дом теперь?

Она обернулась на Аббатство, развалины, кирпичи и камни которого вырисовывались на светлом фоне заката.

— Крыша провалилась.

Он, действительно, увидел, что провалилась крыша его дома, увидел, что его ждет неизбежная нищета, утрата всего того, что украшало и облегчало его жизнь; и он не обернулся на груду камней, освещенных улыбкой бледного привидения, но взглянул на лежавшую перед ним Вольтерру, как на город, приговоренный к разграблению, как на утраченное им владение. Глаза его засверкали, как глаза наемного военачальника, и грубые слова слетели с его уст:

— Значит, она отказывается от наследства Ингирами?

— Надо думать.

Это означало для них возвращение нужды, разлуку, борьбу за существование, жизнь, полную лишений, быть может, приют в ненавистном доме отца и мачехи или унижительный труд — все эти ужасы неясного будущего. Для каждого из них это был двойной удар, двойное предательство. Негодование подавляло страх в Альдо, и его невоздержный нрав придумывал неясные планы мести и обмана, нечистые образы, которые жгли его самого, опасные мысли, которые еще усиливали его желание жить и наслаждаться.

— Мы пришли к Гверручче, — глухо сказала Вана, хватая его за руку.

Они опять были во власти Утесов. Теперь Альдо чувствовал к ним непреодолимое отвращение всего своего организма.

— Экипаж ждет нас у Менсерских ворот, — сказал он. — Уж поздно.

— Я не вернусь домой.

Она отпустила его руку и пошла по разрытой земле, по желтым цветам и сухим сучьям до кирпичной этрусской стены, возвышавшейся над коварным обрывом. Колени Альдо подкосились от страха.

— Вана! Вана! — закричал он.

Она не обернулась.

— Вана!

Она все шла вперед, слегка покачиваясь, но решительно, — по земле, по камням, по сучьям. Тогда он поборол свою ужасную слабость и побежал за нею, еле переводя дух, готовый броситься к ее ногам, обнять ее колени, умолять ее, обливаясь слезами. Она остановилась услышав его шаги, и взглянула на него.

— Тебе так страшно? — сказала она.

Он готов был ответить: «Да, мне страшно, я не хочу, чтобы ты умерла, я не в силах умереть». Но он сдержался и сказал:

— Я не понимаю тебя. Я не знаю, что ты задумала, что ты собираешься делать, Вана.

— Ничего. Но оставь меня. Я хочу сама позаботиться о себе.

— Но я не имею права покинуть тебя.

— Ты должен. Моя дорога больше не совпадает с твоею.

— Почему?

— Скажи сам, Альдо.

Тогда дикая злоба вылилась из его сердца.

— Ты хочешь броситься вниз? Ты хочешь, чтобы я сейчас бросился тоже? Вот я! Я готов!

Он был бледнее смерти. Она стояла, прислонившись к низкой стене, опершись на нее локтем и молчала, но что-то безжалостное и замкнутое было в ее лице, которое обрисовывалось на желтом фоне камня. Оба постояли немного молча, в страшном внутреннем волнении. Все силы, все роковые возможности жизни угрожали его злосчастной юности. Раздирающие душу стенания поднимались из долины. В кустарнике никого не было. Железного цвета громада Сан-Джусто возвышалась со своим контрфорсами, как глассис. А за холмом Город камней и ветра выставял против набегов туч свои башни, свои колокольни, свою жестокую Тюрьму, громадный контрфорс старой Крепости, исполинские стены, возведенные строителями этрусских гробниц, или же скрепленные гражданской кровью. Трезвонили колокола. По временам вой ветра, усиливаясь, напоминал тот крик, что, не пере-

ставая, звучит за оградой и под городскими воротами с того дня, как предатель коннетабль призвал к грабежу пехотинцев Монтефельтро: «Громите! Громите!»

— Значит, не так, как я делала, — сказала Вана с двусмысленной улыбкой. — Ты объяснил мне, что надо лечь ничком над обрывом, чтобы хорошо посмотреть вниз.

Белки ее глаз удивительно сверкали в темноте, и он различал мрачную насмешку в ее взгляде и в ее улыбке. В двух шагах от них открывалась пропасть; одним быстрым движением она могла устремиться в бездну. Смертельный страх давил его, как клещами, но он не смел шевельнуться, чтобы не вызвать ее прыжка. Сердце его перестало биться, когда она подняла руки и стала вытаскивать булавки из шляпы. Он чувствовал себя словно на плахе под топором медлящего палача. Она сняла гирлянду роз, повесила шляпу на выступе стены.

— Что ты собираешься делать? — проговорил Альдо, не слыша своего голоса.

— Попробовать.

— Тогда дай мне руку.

Она подала ему руку; каждый из них как бы околдовал другого, неизъяснимо, и их существа снова соединились и сливались, погибая. Ужас одного передавался другому. Не воля, а ужас согнул их колени. Держась за руки, чувствуя, как холодный пот проступает на их руках, они стали на колени в выгоревшей траве перед обрывом. Жизнь их была так же слаба, так же беспомощна, как маленькие свечки, которые мерцают от ветра и все не могут погаснуть.

С этого места пропасть выглядела еще ужаснее. Испещренная острыми выступами, вся темная, отвесная, она напоминала огромную трещину, образовавшуюся в аду при последнем вздохе спасителя. В эту ненасытную бездну поверглись уже дома людей и дома бога, города, монастыри, храмы, кладбища и крепости древних народов, и кипарисы и дубы на здоровых корнях. Как кучи соли, как винный камень, как комья запекшейся крови, белел и краснел известняк и туф внизу по краям впадин. Не красная ли кипящая река дымилась под ста-

рою крепостью? А та, что блестела в низких гротах, не грязная ли это яма, в которой у Данте завязали необузданные грешники? Вздохи, плач, стоны возобновлялись в их ушах.

— Брат! Брат! — раздался отчаянный крик.

И Вана упала лицом на землю, словно подломленная ветром.

Тогда у юноши взялась откуда-то неожиданная сила. Он схватил сестру за пояс, поднял, отнес ее обратно, упал с нею на сухие сучья.

— Нет, Вана, нет! — говорил он, обняв ее голову и глядя в искаженное ужасом лицо. — Не умирай! Не умирай! Я не хочу умереть. Я хочу страдать, хочу бороться, хочу дерзать. Ты не погибла, я не погиб. Безумие охватило нас. Но мы не поддадимся ему. Мы отравлены, но выздоровеем. Что-нибудь должно же случиться, мы найдем друзей. Нет, нет, Вана, маленькая сестричка, ах, заклинаю тебя твоим милым лицом.

Его дрожащие пальцы ласкали ее волосы, щеки, подбородок. И в то время, как обессиленная девушка рыдала на его руках, он, сидя на земле, взглянул на край оврага, на усевшую цветами поляну, на розоватую луну, нависшую над фиолетовым холмом, на угасающее облако над громадой Сан-Джусто; и в глубине его души забилась бессознательная радость молодости. Итак, он остался жив: он глубоко вдыхал воздух всей грудью, старался охватить одним взглядом всю изменчивую красоту мира, восстановить вкус свежей ключевой воды во рту и примирить в своей душе непримиримое.

Он был жив и невредим: все его страдания продолжались, однако, оружие его было цело. И он познал, кроме того, дрожь предсмертной агонии и притягательную силу пропасти.

Он встал и помог сестре подняться. Он был ласков с нею, так как особенная утонченная нежность наполняла его сердце. Он отер ей слезы, встряхнул с ее юбки сухие сучья и комки земли.

— Ах, дорогая детка, какой это был ужасный сон! Это ведь ты, ты, Ванина? Ты ведь моя Мориччика? Где ты была? Откуда мы пришли с тобою?

Она как-будто оправлялась после долгой болезни, или приходила в себя после приступа боли: ее лицо было печально и кротко. Мятежный дух улетел из нее, оставил ее без сил и без памяти. Она помнила только улыбку Вивиано: ей казалось, что она носит на себе подобие этой улыбки, созданной из всего и в то же время и из ничего. С томною грустью она отдавалась во власть неожиданной нежности брата.

— Посмотри! — сказал он, поворачивая ее голову к холму.

Бесчувственная луна поднималась, неся с собою свое старинное очарование, то самое очарование, которое не жило разукрашенных женщин Этрурии, распростертых на крышках урн, и юных всадников, стоявших на страже у порога гробницы.

— А твоя шляпа?

Она обернулась на печальную стену. Подхваченная ветром, гирлянда исчезла в бездонном обрыве.

10.

Бесчувственная луна, точно существо из плоти, лишенная лучей, оживленная жизнью без огня, рожденная там внизу и подобная большому болотному цветку, поднималась из-за смутно-прозрачных Пизанских гор в то время, как равное ей по величине солнце горело на краю Тирренского моря так пламенно-ярко, что сразу обращалось в пепел. Низкие свернутые облака скрывали его, как слой пепла, который то рассыпался, то снова образовывался. Когда линия воды разрезала диск, почудилось, будто осталась одна только грудa углей, готовых потухнуть. Все обратилось в сказочный пепел. Тогда море стало божественной туникой Вечера, со столь мягкими складками, что Изабелла захотела получить для себя лоскуток этой одежды.

— Айни, если бы я могла нарядиться в этот шелк!

Весь день длилось для нее наслаждение. И каждый следующий час казался ей еще прекрасней. Но этот час был

прекраснее всех, и она хотела получить от него какой-нибудь знак, какой-нибудь залог благодати. Ласки ложились на ее тело, как падающие один на другой толстым слоем лепестки пышной розы. Она захотела освежить их, вдохнуть в них струю воздуха.

— Подожди, — сказала она, — не двигайся.

И она ушла, оставив друга на террасе. И ему показалось, что недолговечный цвет всех вещей сразу поплёк за этот краткий промежуток. С луны исчезла легкость цветочной чашечки: она наполнилась новым золотом, отделившись от гор. Громадная морская туника утратила свой невиданный цвет, делавший ее несказанно-прекрасной.

— Что я принесла? Угадай-ка, — сказала она, опять появляясь.

Казалось, она удалилась, чтобы совершить волхование. Не ее ли чародейство стерло с луны ее первоначальный облик, лишенный лучей? Над Пизанскими горами месяц уже сверкал полным светом; а она возрождала жизнь без огня, большой болотный цветок.

— Заколдованную змею в кипарисовом ларце?

— Нет.

На ней была длинная шаль из восточного газа, которую алхимик-красильщик Мариано Фортунни погружает в таинственные раковины своих сосудов; и какой-нибудь Сильф или Гном мешает деревянным пестиком, извлекает их оттуда, окрашенные чудесными грезами, а затем при помощи бесчисленных кисточек налагает на них невиданные звезды, растения, животных. И без сомнения, шаль Изабеллы Ингирами он подкрасил розовой краской, похищенной его Сильфом у новой луны.

— Лампу Аладина?

Нет.

Так что же это у нее было завернуто в матерью? Она держала этот таинственный предмет обеими руками и улыбалась; и удивительно прекрасен был легкий рельеф мускулов на ее руках, серо-зеленые полосы жил, пушок, похожий на мохнатую поверхность листьев и плодов.

— Птичку Бельведеро?

— Ты думаешь, она так много весит?

— Когда она умирает, говорят.
 — Ты думаешь, она может умереть?
 — Чтобы возродиться.
 — Она никогда не умирает: прилетает и улетает, исчезает и возвращается.
 — Ну, я больше ничего не могу придумать. Что же это такое?
 — Расстели вот там, посреди террасы, самый широкий ковер.

— Этот?

— Нет, тот бухарский.

Он взял и разостлал по майоликовым черепицам великолепный ковер цвета амаранта, с темно-голубыми и белыми узорами, мягкий и яркий, как старинный бархат, приготовляемый в Лукке.

— Садись теперь на эти подушки. Я буду танцевать для тебя.

— Без флейты Амара?

— Молчи и смотри.

Она поставила в угол загадочный предмет, покрытый шелковым платком. Наклонилась и дотронулась до него под материей.

— Осиное гнездо?

— Молчи.

Она поставила туфли у края ковра — пара голубок, спрятавших головы под крыльями. Ее ступни были окрашены киноварью, как две половинки гранаты. Глядя на нее, Паоло заметил, что на лбу у нее был магический знак, маленькая синяя звездочка, цвета жил.

Жужжание вдруг превратилось в звон, напоминавший дребезжание систров, и она начала свою пляску.

Первое ритмическое движение словно оживило тонкий пояс, охватывавший обнаженное тело. Сворачивая, разворачивая его, искусные руки сообщали его краям ту волнуемую жизнь, которая не перестает дрожать в сферической конечности морской медузы. Танцовщица то извивала его в спираль и опускала затем; а он продолжал крутиться, как маленький вихрь розоватого песка; затем он сгибался, вот-вот должен был упасть, как вдруг быстрые пальцы оживляли его снова, подгоняли

его, придавали ему новую форму, новый изгиб. Иногда смутные рисунки животных придавали ему вид слабого призрака зодиака при свете зари.

Сидя на подушках, прислонившись к белой стене, как бы во власти галлюцинации, любовник следил за танцовщицей в беспредельном восхищении. За нею, сквозь ветви олеандров, виднелись серповидные очертания берега, поросшие соснами край Версильи и Луни, Каррарские Альпы, воздушностью своею напоминавшие хоровод, цепь статных девушек, наклоненных, может быть, к востоку в ритме пляски.

Словно выбирая из многочисленных мотков ниток то ту, то другую для своего вышивания, она, казалось, из близких и далеких предметов извлекала самые прекрасные линии, чтобы использовать их в этом неожиданном созидании прекрасного: она, казалось, натягивала, приближала их к себе и смешивала со своею молчаливою музыкой и обнаруживала в своих беглых движениях дух неподвижности и длительности. Все линии сосредоточивались в ней: и те, что располагались по окружности горизонта, и те, что вздымались по оси к небу. Начиная с вершины мраморного утеса, кончая краем песчаной отмели, все они сходились в этой игре видимостей и выражались в этом чередовании измышлений.

Так жила она жизнью вечера, которая раскрылась ее душе в одно мгновение, когда она нерешительно протянула из окна руку, чтобы освободить пленницу-ласточку. Она чувствовала, что смутное видение начинало воплощаться; и краткий вздох переходил в гармоничное дыхание. Свет сумерек, в котором лунное сияние начинало вливаться в сияние заката, казалось, делало ее посредницей между днем и ночью. Она, казалось, босыми ногами двигалась по невидимому узкому перешейку, что отделяет дневное море от моря ночного.

Но когда ее глаза, занятые предметами, встретились с глазами, на нее устремленными, она переменилась. Она отбросила свои широкие горизонтальные движения; сделала вид, что ее ранил взор мужчины. Она прикрыла лицо краем шали, исчезла вся в складках, уподобилась незавершенной метаморфозе, когда все тело уже обрати-

лось в облака, а ноги еще сохранились. Затем показалось, что первоначальный облик дрогнул, сверкнул внутри облака; и вот появилась половина лица с выражением испуга, робкая рука, край бедра, приподнятое плечо, и снова исчезли. Она подражала любовной пляске алмей: стыд, страх, сопротивление, истома, отказ от борьбы. Пляской она подражала игре своего коварства: льстила, предлагала себя, отказывалась, делала вызов, боролась, дерзостно пугалась, вздыхала, подвергаясь насилию, унижалась в наслаждении.

— Пчела! — сказала она вдруг, легко вскрикнув, зачищаясь, как тогда перед мраморной дверью мантуанского Парадиза.

И перед глазами зачарованного живо возникло воспоминание. Танцем своим она подражала ребяческому страху, быстрым движениям, прыжкам; то спасалась бегством, то оборонялась, словно назойливое жало преследовало ее и все еще угрожало. Пояс изгибался аркой над головою, развевался, тянулся, то ложась пластом, то вздуваясь, то расстилаясь снова.

— Ай! Ай!

Она застонала, остановилась, сжала ноги, отчего ее тело выпрямилось во всю свою божественную длину, изогнула спину, откинула назад голову с почти расплетенными косами. Первый стон был стоном страдания, но следующий напомнил тот, что вырывался у нее, когда друг налагал на нее свою властную руку, и она чувствовала, как по всем жилам растекается истома, от которой нет спасения. Влажное лицо, окаймленное гладкими, густыми прядями волос, было отмечено тем выражением неожиданной зрелости, которое по временам уподобляло его лицу юноши, слишком долго жившего в расслабляющей атмосфере ароматов и ставшего бледным в тени портьер.

— Ай!

Он задрожал от желания: этот крик был знакомым призывом, печальным и диким. Она соскользнула к нему на подушки. И стена:

— Она меня ужалила сюда, — проговорила она.

И губы любимого врачевали ее.

И она все стонала:

— Она ужалила меня сюда, и сюда, и еще сюда.

И каждый раз губы лечили ее. И все лето, все лето пизанского побережья, лето белокуро-зеленой Версили и долины Магры, над которым они каждый день пролетали на парусиновых крыльях, который вдыхали во всем его просторе, сосредоточенном в их полете, как вдыхают ладанку нарда, — это самое лето дышало на него из теплого тела. И достаточно было одной капли пота, чтобы растаяли все его мысли, все планы, все сожаления, все беспокойство. И ни одна из исследованных им стран не была так глубока, как это чувственное тело. И ему знакомо было опьянение человека, который вступает в ущелье и в конце его вдруг одним взглядом охватывает нежданное великолепие беспредельного пейзажа; но насколько острее было то, что он испытывал при безнадежной попытке проникнуть в тайну, которую могли встряхнуть две руки!

Успокоившись, окропив себя укрепляющей эссенцией, завернувшись в муслиновый кафтан-безрукавку, Изабелла наслаждалась вечерним ветром, прилетавшим из еще теплых сосновых рощ.

Замолкло дребезжание ситров в углу террасы, под шелковым платком. Она улыбнулась и проговорила:

— Айни, тебе понравилась музыка к моему танцу? Но ты еще не знаешь, что там спрятано.

— Какое-нибудь колдовство.

— Грусть.

Она встала, взяла таинственный предмет и принесла его на подушки. В воздухе, который она напоила такою прекрасною жизнью, лунный свет растекался по тени, составленной из фиолетовой и из зеленоватой жилки, молчаливо смешивавшихся вместе. Подобно человеку, который наклоняется над гаснущей головней и дыханием вызывает из нее живые, звучные искры, так и она своим чародейством оживила и усилила замолкшие звуки. Она показала что-то мертвенное, что-то в роде гроба для Тяпы, куклы Лунеллы.

— Посмотри.

Свет еще позволял различать предметы. Она приподня-

ла крышку. Он наклонился, чтоб посмотреть поближе. Это был старый музыкальный ящик: его металлическая душа состояла из стального гребешка, зубцы которого начинали дрожать при вращении покрытого остриями цилиндра.

— Где ты отыскала эту шкатулку?

— Не шкатулку, а дребезжалку?

— Он похож на модель орудия пытки.

— Мы с детства называем его дребезжалкой.

Она рассмеялась; но затем ее смех подернулся грустью.

— Видишь: гребешок немного заржавел, а у цилиндра не хватает нескольких штифтиков. Если бы ты только знал, сколько раз я до крови ранила себе пальцы, когда цилиндр не хотел действовать. Мне было шесть лет, когда я отыскала этот ящик в каком-то углу. Он был запрятан там, должно быть, еще со времени бабушки Дианы, и был изготовлен в Вене около тысяча восемьсот пятидесятого года. Кто объяснит, почему старая машинка становится нам милой, сростается с какой-то фиброй нашей души, так что мы уже не можем расстаться с нею, без риска умертвить часть нас самих. Видишь: здесь что-то в роде крылышка на оси: когда ее заводят, прежде чем начнется музыкальная пьеса, она вертится с головокружительной быстротой и производит жужжание, напоминающее жужжание осы. Это она навевала мне сны в годы детства. И теперь я не могу слышать ее со спокойным сердцем. Ничто не вызывало во мне с такой силой чувство собственности, как эта дребезжалка (так назвала ее я, не знаю, почему). Я защищала ее против Ваны, против Альдо, против всех. Я любила ее больше, чем какую бы то ни было другую игрушку. Ее дребезжающий голосок баюкал все мое детство. Он не похож ни на какой другой голос. Кто сочинил ее музыку? Кто может узнать один из этих коротеньких танцев? Помнится, на крышке виднелся еще обрывок ярлыка, перечислявший пьесы. Он исчез. Но оставался там несколько лет. И на нем можно было прочесть только: *La ravane lascivée*¹⁾.

¹⁾ «Слезливая павана». (Павана — старинный танец, с размеренными движениями.)

Она нагнулась, подняла ключ и завела колючий цилиндр. Зажужжал шмель в кружке. Она приблизила руку, чтобы почувствовать веяние двойного вертящегося крылышка. Затем захлопнула крышку, накинула на нее шелковый платок — покров с дарохранильницы.

— Я брала ее повсюду с собой. Иногда она месяцами лежит на дне сундука или в глубине ящика стола. Затем я снова бужу ее. И она попрежнему очаровывает и баюкает меня. Мне помнится, что я девочкой плясала, кружилась, танцевала сарабанду вокруг поставленного на пол ящичка. Но, как это могла дребезжалка моих невинных лет сопровождать сегодня танец моего падения, Айни?

Легкий смех смягчил ее грусть; и она замолкла, прислушиваясь к слабенькому, бесконечно далекому голосу. Царила глубокая тишина: изредка слышался шелест или всплеск воды; сияли бледные звезды; взмахивали крыльями летучие мыши. Предметы начинали вырисовываться в тени, в сиянии полной луны, но очертания их были еще неясны.

11.

Они сидели за столом, у балкона. Верхушка сосны касалась решетки, двигаясь в темноте медленно и одушевленно, как подводные травы.

— Как ты мне нравишься сегодня, Айни! — тихо промолвила Изабелла, положив на скатерть оба обнаженные локтя, махая вокруг лица своими длинными руками без колец и затыгиваясь душистой папироской. — Пожалуй-ста, сделай так еще раз.

И она подражала одному его еле заметному, нервному подергиванию, которое начиналось под носовым хрящом, где виднелся большой прямой шрам, сдавливало ноздри и вздергивало верхнюю губу, быстрое, как молния, неопределенное, как ничто. Он улыбнулся.

— Ты смеешься надо мною?

Он совсем потерял от нее рассудок. Он глядел на нее и пожирал глазами, не мог оторваться от нее ни на минуту, следил за ней пристальным взором, чтобы ничто не

ускользнуло от него. Как часто ему хотелось тоже крикнуть: «сделай так еще раз».

— Кто знает, что больше всего привлекает нас в любимом человеке? — сказала она, глядя на него с тою же страстностью. — Усмешка, складка рта, движение бровей, какое-нибудь ничто — и довольно. Ты весь заключаешься в этой судороге, которой не замечаешь.

— Ах, но кто сумеет рассказать, как выглядишь ты?

Она протянула к нему руки, которые были глаже и холоднее фарфора, блестящего на столе.

— Как я выгляжу?

— Откуда в тебе этот запах жасмина? Он одурманивает.

— Разве ты не знаешь, что у меня между двух кладбищ есть жасминовый сад?

— В Вольтерре?

— Он со всех сторон огражден заросшими жасмином стенами, и я не знаю, где он пахучее, на востоке или на юге. Понюхай.

И нагнувшись вперед, она нежно провела по его губам сначала одной, затем другой рукой от кисти до впадины локтя, с проступавшими голубыми жилками, и от локтя до плеча, под которым завивалось несколько золотистых волосиков.

— Понюхай, — говорила она, понижая голос, создававший несозданное, — какой свежий запах. Дождь тихо падает на жасмины, на стену, которая хранит тепло солнца, и достаточно одной капли, чтобы заполнить белую чашечку каждого цветка; и капля эта обращается сразу в духи, крепкие, как эссенции, изготавливаемые в Ширазе или в Исфагане, в тех странах, которые ты посетил и которые отражаются в этих глазах: ведь потому-то они бирюзовые; а бирюза эта больна мною, о как больна она, бедный Айни!

Запах духов, голос и тело Изабеллы наводили на него магнетический сон.

— Понюхай, понюхай! Дождь усиливается. Он еще ласкает розы, но для жасмина эти ласки слишком грубы. Веточка падает на землю. Кто говорит, что она похожа на растянувшуюся птичку со сломанными лапками? Поэт Дивана, которого мне читает Альдо. Подумай, у меня

есть славный сад, с увлечением воспетый Низами, Дшами и Гафизом, между двумя этрусскими кладбищами, на вольтеррском холме, вблизи Дворца Безумия. Есть у меня также газель.

Она почти спустилась на его колени, обвивая его и приростая к нему своим телом, похожим на побеги плюща.

— Тебе знаком роман Лейлы и Мадшуна? Мадшун означает безумец, неистовствующий в порывах страсти. Хочешь, я буду звать тебя так? Газель застряла в сетях. Мадшун увидел ее, прибежал, осыпая поцелуями, залечил ее раны, высвободил из пут, обласкал ее с головы до ног, потому что взгляд ее больших кротких глаз вызывал в нем образ Лейлы, и дал ей свободу. Теперь она у меня, но превращенная в Мадонну сиенским художником, по имени Приамо ди Пьеро. Я покажу тебе ее. Она смотрит теми же глазами, какими некогда смотрела на Мадшуна. У нее длинная предлинная шея, тонкое претонкое лицо, узкий подбородок, какой был у зверей в те дикие времена, и руки с растопыренными пальцами, как у меня. Но она превосходит меня своими ногами, конечно: вставая с трона, она поднимает в бесконечную высь ореол, подобный знаку благодати, в форме маленькой лиры, который помещали ей между рогами, на фоне персидского неба. И на ней восточная одежда из красной парчи с золотыми гвоздиками, и такая одежда должна была быть у Лейлы.

Музыка ее измышлений возобновляла обычное очарование, которое было искусственным безумием. Он слушал точно не ушами, а губами, прильнувшими к ее шее.

— Что ты делаешь, Мадшун?

Она вскользнула, соскочила с его колен, уселась на своем стуле и, улыбаясь, зажгла другую папироску. На ее щеке выступило красное пятнышко.

— Тебе не приходилось курить опиум или конопляные листья, там, в какой-нибудь замасленной гавани?

— Я не люблю ядов.

— Значит, ты и меня не любишь?

— Нет, ты — исключение.

Она на несколько мгновений погрузилась в задумчивость, отделяя своей загадочной улыбкой внутренние переживания от внешней жизни. Стол был заставлен

фруктами, сладостями, светлыми винами, хрусталем, серебром. Вино искрилось без пены в бокале, в котором плавало немного пепла и светлых табачных листьев.

— Душа — самый сильный из ядов, — сказала она.

От маленьких желтых абажуров на канделябрах на нее падал золотистый свет. Около свечек порхали ночные бабочки. Иногда из сада доносился шопот сосны, беседовавшей с месяцем.

И вдруг она разрушила очарование.

— Знаете ли вы, Паоло, что мы — жених и невеста?

Он бросил на нее удивленный взгляд.

— О, не пугайтесь. Это только для смеха или — для слез.

— Я ничего не понимаю.

— Вы знаете, что наши полеты нарушили тайну этого убежища. Я думаю, что о ней говорят в свете и что она уже проникла через Ворота Арки в родной город Ингирами. Не подумайте, что я боюсь скомпрометировать себя. Но нам выгодно будет разыгрывать обрученных и не столько для соблюдения внешних приличий, сколько для того, чтобы я могла показать вам жасминовый сад.

— И это только шутка? — сказал он смущенно, колеблясь, слегка упрекая ее опечаленным взглядом.

— Паоло, Паоло, как прелестно ваше замешательство! — закричала она, разразившись веселым смехом. — Я уверена, что вы подозреваете ловушку.

Он хотел возражать.

— Я уверена, вы думаете, что я сказала вам это для того, чтобы испытать вас. Нет, нет! Это обручение имеет целью не стеснить вас, а всецело основано на соображениях удобства. Я так и умру вдовой, так и останусь до самой смерти Изабеллой Ингирами, сохраню до гроба свои два инициала, на которые никогда не ставила точек. Но теперь я их ставлю определенно. В завещании моего мужа есть благословенный кодицилл, по которому я потеряла бы и желанный сад, и газель, и все прочее, если бы вышла замуж за вас. У меня осталась бы только дребезжалка. Это было бы слишком ужасно.

Совсем смутившись, он старался остановить ее, но все у него выходило неладно.

— Ну, Паоло. Я не требую от вас благородных призна-

ний. Если вам нравится, мы останемся женихом и невестой навеки. Насколько легче будет найти предлог для разрыва!

Она умолкла и затянулась папироской, вся исчезнув в облаках дыма. Он чувствовал себя очень неловко.

— Я должна вернуться в Вольтерру, хотя бы на короткое время, — сказала она, наконец. — Я не могу оставаться дальше Вану и Альдо. Я совсем забросила их. Я уже написала о своем предстоящем приезде и о нашем обручении. Нужно, чтобы все казалось в порядке перед ними, или, по крайней мере, нужно стремиться к этому. И я хочу, чтобы ты ехал со мною.

Это мучительное притворство претило ему. Он вспомнил лихорадочное оливковое лицо Ваны, плакавшей на его груди, вспомнил мучения роковой ночи, а также странные движения Альдо.

— Я не могу, — сказал он.

И он с беспокойством взглянул на любимое лицо, опасаясь роковых слов.

— Почему?

Она произнесла это слово совсем тихо. Ее лицо было теперь в тени, и на нем сияла ее демоническая, ее самая опасная красота, та, что рождалась из самых глубоких тайн ее волшебства.

Она бросила в бокал папироску, которая зашипела, и взяв со стола гвоздику, цвета аспиды, сжала ее обеими ладонями. Ее глазные впадины становились глубже и шире, окрашивались в фиолетовый цвет неба над соснами, зрачки ее светились фосфорическим блеском, так как душа в ней обращалась в «самый сильный из ядов».

— Это из-за Ваны.

Он не ответил. Он никогда не отказался бы смело бороться с неизвестным оружием, но его отталкивали словесные состязания. Он промолчал, уставившись взглядом в пространство. Ей была знакома эта поза, когда он замыкался в молчание, и она научилась, в какое место кольчуги поражать его особенно больно.

— Что у вас происходит с Ваной или, по меньшей мере, что у вас было?

— Ничего сверх того, что ты знаешь.

— Я ничего не знаю, кроме того, что Вана безумно влюблена в тебя.

— Я думаю, я надеюсь, что ты ошибаешься.

— Я убеждена в этом. Поговорим откровенно. Я не ревнива или, во всяком случае, ты не в состоянии понять мою ревность. Сознайся, что в первые дни вашего близкого знакомства ты более или менее подумывал о более или менее отдаленной женитьбе на ней.

— Изабелла, я не понимаю, к чему этот неуместный допрос. Сегодня ночью я собираюсь полетать над стенами Лукки, вверх по Серкио, над башней Гвиниджи.

— Ты разве не говорил с ней о любви в эти первые дни? Вы иногда оставались одни. Итак, ни одного намека на любовь? Ничего ровно?

— Не начинай снова своей гадкой забавы, Изабелла.

— Нет, конечно, что-то произошло. Как бы она могла иначе до такой степени увлечься тобой? Ты знаешь, что она тебя любит. Сознайся, что ты думаешь об этом.

— Ты с ума сошла.

— Помнишь, как в Мантуе она появилась в дверях, когда ты целовал меня? Она была, как мертвая.

И оба они увидели, как бледная, но дышащая Вана стояла, опершись о притолоку двери, как бы из боязни упасть, с открытыми глазами, словно она не была в состоянии закрыть их.

— Может быть, она уже давно стояла там, глядя, как ты впился в меня, а я стонала: «Довольно!», а ты отвечал: «Еще!»

— Ах, почему ты такая?

— Мы не слышали ее шагов. Я не слышала, так как у меня шумело в ушах. Но она была там, конечно, и видела все. Я ничего не различала, так как у меня мутилось в глазах, когда я оторвалась от тебя. Мне только показалось, что сзади стоит привидение, и я обернулась. И весь мой рот был наполнен этим поцелуем, таким долгим и таким жестоким. И Вана увидела этот рот.

Она говорила совсем тихо, и возрастающее возбуждение поднимало золотые кружева на ее груди, и какое-то злобное сладострастие сводило на ее лице мускулы, и уста принимали то же положение, что и тогда, при поцелуе.

— Помнишь? Помнишь? И пришел Альдо, и увидел кровь на моей десне, маленькую ранку на губе. Ах, почему это желание снова наполнило тогда мои жилы, почему я нагнулась и старалась спрятать лицо, чтобы скрыть румянец не стыда, а страсти?

Ее дерзкие и судорожно сжатые черты жгли его, как факел; бесстыдство ее души горело на ее лице, словно оно было охвачено нездоровой печалью, и казалось, ресницы ее осыпались, и глаза страдали от этого, и ее дыхание было, как тлетворное испарение, отравляющее и извращающее мысли.

— Помнишь, я искала, чем покрыть рот, а Вана сказала вдруг: «Вот». И дала мне свой платок, а рука у нее была горячая, сухая, укоряющая. Ты ведь тоже видишь ее? И я отерла кровь поцелуя. Я нажала раз и посмотрела: на платке было красное пятнышко. И я нажала еще раз. Ты видел это? Я все помню, только забыла одно. В моей памяти какой-то перерыв. Вернула ли я ей платок? Взяла ли она его у меня? Ты не знаешь?

Он покачал головой.

— Ты тоже не знаешь? Как я ни стараюсь, я не могу припомнить. Это был маленький лиловый платочек, продушенный жасмином, вольтеррским жасмином. Конечно, после, когда мы вошли в Парадиз, его у меня уже не было. Возможно, что Вана взяла его у меня, когда мы смотрели на Лабиринт. Может быть да, может быть нет...

Сквозной ветер заколыхал легкую портьеру, и Изабелла повернулась внезапно вздргнув. Образ сестры так живо поднимался в ней, что она ожидала увидеть ее, как и тогда в комнате Винченцо Гонзага. Она заговорила еще тише, придавая голосу возбуждающую откровенность, делая его теплым, скрытым и острым.

— Я знаю теперь. Она сохранила его, с пятном крови. Она спрятала его и не смеет найти, или же пропитала его слезами, омыла его своим плачем.

Он слушал ее, и что-то глухо ударило в его груди, и отвращение, которое она вызывала, горело, как вожделение, а вожделение мучило, как отвращение.

— Ты не так смел, когда блуждаешь внутри себя, как когда летишь по воздуху. Есть вещи, которых ты не по-

нимаешь, которые ты ненавидишь... Значит, твоя любовь все еще такова, что я не могла бы взглянуть, не стыдась, в ее чистые и строгие глаза?

Она опрокинулась на спинку стула и ударяла по краю стола стеблем смятой гвоздики. И лицо ее, облитое золотым светом канделябров, следило за Паоло.

— А ведь сколько у тебя жестоких инстинктов. Ты можешь быть свирепым и знаешь, что наслаждение есть божественная мука с звериными криками... Твоя же любовь, которой я недостойна, — не больше, чем одряхлевший пастух, гоняющий своих робких овец на обычное пастбище умеренности. Тебе, вероятно, чудится иногда по вечерам, что он проходит под террасой и зовет тебя.

Она насмеялась над ним, и зубы ее сверкали, а голова была откинута назад, туго обвязанная густыми косами, как обвязывают и скрепляют флакон, наполненный легко испаряющейся эссенцией.

— В состоянии ли ты открыто ответить мне, если я попрошу тебя разбудить одно неясное и беглое впечатление?

Его чувство неловкости становилось все острее, и виски его сжимались, словно он опьянел. Он видел, как длинная рука искусительницы ударяла гвоздикой по краю стола, и ждал, чтобы чашечка отломилась от стебля. До него долетали обрывки слов Ваны, как будто приносимые ветром: «Ах, нет, вы не сделаете этого! Я умоляю, заклиная вас этой разmozженной головой, этим безкровным лицом... Я ничто для вас... Послушайте! Мне страшно, мне страшно». Он видел ужас на ее исхудалом лице. Он видел себя самого на пустынной равнине, под навесом, перед походной постелью, на которой покоилось тело друга, обернутое в красное полотнище флага. И тот человек, замкнутый в своем горе, как в алмазной броне, не походил на него. Между ними была бесконечная ночь.

— Помнишь, — продолжала искусительница, и такое безумное воодушевление горело на ее лице, что казалось экстазом, — помнишь, как в первой комнате Парадиза я стояла у окна, и Альдо обнял меня за талию, а я позвала тебя, позвала Вану, и вы подошли, а мы все стали в оконной нише, и Вана вся трепетала на моей груди,

а я бросила над ее головой взгляд, который влил в твое сердце мое новое сладострастие?

— Ах, замолчи!

— Я ужасна?

На него все еще глядело бесстыдное и судорожно сжатое лицо, с этим болезненно обнаженным взором, и дыхание ее было так же жгуче, а все ее печальное тело было охвачено чувственным ожиданием, становившимся прозрачно-светлым.

— Я помню, — сказал он глухим голосом, который показался ей угрожающим, — я помню, что ты задрожала в комнате, затемненной тенью постели, увидев, как к нам навстречу шли две молчаливые фигуры...

— Альдо и Вана.

— Мы сами, в темном зеркале.

— Альдо и Вана и мы сами.

— И безумие.

— Для каждого в зеркале есть безумие, которое ужасает и притягивает его. Ты хочешь бросить меня? Ты хочешь уехать завтра? Ты хочешь расстаться на веки?

Внезапный страх потряс и обессилил его. И она словно вошла в образовавшуюся в нем пустоту и всей своей обнаженной плотью придавила его.

— Завтра я возвращаюсь в Вольтерру.

12.

Как в тот отдаленный июньский вечер на Мантуанском шоссе, они мчались на стремительной красной машине под лучами августовского солнца, уже спускавшегося с небосклона. Они неслись по направлению к мрачной Вольтерре.

Уже не зеленые берега, не тихие каналы, не прямые пыльные дороги, обсаженные ивами, тополями, шелковицей, представляли перед ними; не воды, не тенистые рощи, не узоры и гирлянды полевых цветов — но земля, лишенная всякого очарования, бесплодная, высохшая вредоносная пустыня, серая, как пепел.

— Смотри, смотри! — говорила она, нагнувшись к сухой щеке близкого к отчаянию друга. — Ведь я такая же внутри тебя, как эта земля, я ведь так же жгу тебя.

Бесчисленные трещины — высохшие, жаждущие воздуха губы — зияли всюду в меловых горах. Местами виднелись красные камни цвета печени; плоские плиты блестели, как обломки мечей; сланец сверкал на солнце, как горящая пакля.

— Не такова ли твоя страсть? Все горит в тебе.

Желтые расселины напоминали собою сеть с небольшими неровными отверстиями, как бы растянутую для закладки по сероватым известнякам.

— Видишь, куда я влеку тебя?

Высохшие русла с камнями, похожими на скелеты верблюдов по пути караванов, сверкали острой белизной, как отрывистые крики, сверкали и меркли.

— Как поступишь ты, как поступим мы, чтобы сравняться с этим горением, чтобы превзойти его?

Окруженные кучами соломы, как разрушенными башнями, появлялись строения деревушек, таких же печальных, как камни, с одинокими черными кипарисами, возвышавшимися на фоне бледной пустыни, над своими короткими тенями.

— Ты еще не любишь меня, да и я тоже не люблю тебя, быть может. Ты еще не так страдаешь из-за меня, как мне бы хотелось ради тебя и ради себя. Я хочу, чтобы моя любовь была, как эта пустыня, более богатая, чем всякое изобилие. Все остальное — ничтожество. Посмотри на мои меловые горы и оглянись затем на смолистые леса, на приморский песок, на болотные травы и сравни их.

Она говорила так, как будто солнце помутило ее рассудок, и это напоминало ему его собственные лихорадки и зоркие галлюцинации в тропических странах. Их жизнь расширялась в этих местах, где не было другой жизни.

— Посмотри!

Зной лился на землю, как огненный дождь, который падал на обращенных ввысь лицом неподвижных преступников, согрешивших против бога, на той песчаной площадке, где их видел Данте, когда перед ним непрестанно

пробежали стада обнаженных душ, а руки несчастных без устали отстраняли языки пламени, и один только великий лежал, не обращая внимания на пожар¹⁾. Как пески адских пространств, загорались известняки, «чтобы удвоить страдание», становились раскаленными угольями, обращались в пепел; и небо теряло свою окраску, синева исчезала. На фоне темного туфа раковинки сверкали, как алмазы. Местами по склонам холмов, на пригорках, соляные россыпи отсвечивали, как осколки стекла, как железные опилки. Иногда порыв ветра разносил кругом весь зной. Запустелая грустная земля протяжно стонала, как будто вздыхая и плача всеми своими расселинами.

— Ах, Паоло, здесь нет телеги с бревнами, и ты не угрожаешь мне смертью о кучу камней, но путь наш еще более загадочен. Ты это знаешь. И все же я могу еще раз повторить: «Мне не страшно». А тебе?

Он не отвечал. Твердо держась за руль, внимательно смотря вперед на дорогу, усеянную острыми камешками, он испытывал более, чем когда-либо сильную муку. С ним случилось нечто такое, что раньше казалось ему в такой же степени невозможным, как дышать без легких. Он чувствовал, что воля его обезоружена, что он во власти посторонней силы, влекущей его к событиям, которые мрачное воображение наделяло пороками, преступлениями, мучениями. Он поддался безумным требованиям Изабеллы. Но, главное, ее влияние так глубоко заразило его, что под чувством беспокойства в нем копошилась жажда новых испытаний, горькое и жгучее желание узнать тайные проступки и связанное с ними возмездие, одним словом, он был во власти темных сил ада.

— «О, еслибы наступил день, когда вы лишились бы сна, и улыбки, и слез!» Ты не забыл этих слов? Но что они могли значить там, на мягкой равнине? Я подумала тогда о своей пепельной пустыне. Смотри!

Запустение становилось все более страшным. Направо, налево, спереди — повсюду простиралась неровная земля, словно сюда перелетел пепел проклятых библейских го-

¹⁾ «Ад» песнь XIV, речь идет о Капанее, одном из семи греческих царей, осадивших Фивы.

родов, занесенный затем песками пустыни, золой искупительных пожаров, пылью покаранных народов. Здесь осуществлялись предсказания пророков.

Слово Господа свершилось: «И се, я возжигаю в тебе пламя, которое сожжет в тебе всякое зеленое дерево, и всякое сухое дерево; пламя этого пожара не погаснет, и все лики им возгорятся, от полудня до полуночи». Вся земля походила цветом на щелок. Ни одного дерева, ни зеленого, ни сухого: не росли даже тернии и колючки Исайи. Только в редких местах возвышался тамариск, выцветший, высокий, покинутый даже собственной тенью.

— Ты любишь меня? — спросила она, еще больше приблизив голову к его худой щеке, так как вдруг вспомнила о другой любви, которая горела там, в Городе камней и ветра, и которая могла одержать победу над ее любовью. — Ты любишь меня? Ты тоже горишь? В тебе ничего не осталось, кроме твоего желания? Забудь все, забудь наши дни и наши ночи; забудь наши стоны и наши крики; забудь наши восторги в объятиях друг друга, забудь наши беспощадные муки. Забудь все ласки и все насилия: там мы не будем касаться друг друга даже взором, будем страдать от жажды более жестокой, чем жажда этой земли, и станем такими, какими были до кровавого поцелуя.

Двигимая глубоким инстинктом, она подавляла свои желания, отнимала у него свою плоть, брала обратно подаренное ею тело, снова налагала жестокие запреты... Она чувствовала, какую силу придаст ей воздержание по отношению к той, которая томилась наедине со своею любовью и со своей пыткой. Глубокий инстинкт побуждал ее сравняться с тою другою, замкнуться в себя, сделаться, может быть, более желанной для того, кого она исключала из своего сада, чем для того, кто еще не проник в него. И она отлично знала, как легко и как быстро самая распутная женщина может стать далекой и отчужденной от мужчины. Ей была знакома способность женщин, после самого полного отказа от своей воли, представляться, будто бы ничего не случилось, и пальцами, которые разглаживают смятые складки платья,

создавать окончательный разрыв. «Забудь!» — говорила она. И она чувствовала, что стала прежней коварно-медлительной Изабеллой, готовой отдаться и отступающей, готовой согласиться и отказывающейся. Но на этот раз не игра, а жажда мучений терзала ее тело, еще горевшее от сладострастия. И думая о синяках на своей коже, умащенной жасмином, она предвкушала муки воздержания, как наивысшее по остроте наслаждение. И она думала о первой одинокой ночи в вольтеррской вилле, полной притаившейся бессонницы.

— Вольтерра!

За лысой известковой горой, на вершине горы, словно на краю Дантова круга, вдруг показалась длинная вереница башен и стен. Оба загляделись на них. Машина замедлила ход, пыхтя и шумя. Три черных стреноженных лошади с длинными хвостами, с длинными гривами прыгали по высохшему пастбищу, сверкая на солнце и разбивая копытами мергелевую почву. И город исчез.

Вана, должно быть, поднялась на площадку замка, за старым дубом, и оттуда глядит на долину, на страшную дорогу. И Изабелла живо рисовала себе мрачную сторожевую вышку, одинокий луг, на который простирается тень Тюрмы, возвышающейся над крепостной оградой и господствующей над дозорной дорожкой между двумя угловыми башнями; и дерево дома Ингирами, напоминающее купол, поставленный на траве так как ствол его скрыт от взоров, купол большой, как у Баптистерия, поднимающегося напротив из-за крыши дворца, из-за железных, вечно скрипящих флюгеров, украшенных гербом: орел над колесом; а внизу под парашютом непрерывный шум дубов, сплетающихся ветвями на склоне холма, вечное завывание, изнуряющее коричневую листву.

Ведь лицо цвета оливы, выглядывающее оттуда в облако пыли? Ведь стоит же под палящим солнцем маленькая неукротимая сестричка, всю свою ненависть и всю свою любовь направляя на белую дорогу? И какая буря бушует в ее сердце, над шумящими дубами?

И она вся содрогнулась, подумав, что эта страсть могла быть сильнее и жесточе ее собственной страсти. Она ничего не знала об одиноких неделях ожидания, и вообра-

жение восполняло для нее неизвестность. Она видела себя у моря на мягких подушках наслаждения всю в томлении и сладком забытии. А та, замкнутая и упорная, скрытная и смелая, там, в Городе камней и ветра, среди горя и запустения, поддерживаемая только своим пением и своей любовью, в это время таила свое отчаяние. И она позавидовала Ване и испугалась ее; ей казалось, что сестра должна быть одарена новыми силами для борьбы и для смерти:

«Вернемся обратно, вернемся обратно!» хотелось ей попросить, так как волнение становилось нестерпимым. И слыша работу машины, поднимавшейся в гору, она захотела, чтобы что-либо в ней лопнуло или разбилось.

На вершине обнаженного холма паслось небольшое стадо, словно прильнув к высохшей груди, такое же бесцветное, как и сама почва, на которой то тут то там блестя кучки ракушек и полосы талька. На склоне горы Капорчано, красном от мергелевых жил, скрывающих медную руду, Монтекатини поднимал в долине Чечины свою четырехугольную башню Бельфорти. В раскаленном воздухе описал несколько кругов ястреб пепельного цвета, как цвет известняков. Проклятие Исаии пожирало этрусскую землю. Все кругом умирало, палимое отражением жестокого солнца. Из всех оврагов, трещин, расщелин, ям и канав, из всей бесплодной пустыни поднималось дыхание неизлечимых страданий. И ветер завыл, постепенно устремляясь вверх.

— Видишь? Видишь, куда я сослала сестру, брата и нежную мою Лунеллу? Как прожили они это время? Что прочту я в их глазах? Понимаешь ли ты, что эта земля может сделать с душой человека? Посмотри на Утесы!

Над ослепительной пепельной пустыней возвышалась гора, обращая рога своей вершины в виде полумесяца на север. Вся испещренная обрывами, уступами, острыми камнями, она поднимала к знойно-белому небу город из ржавого железа, выкованный в той же кузнице, что и город в который Фледжас¹⁾ переправил этрусского путника и его проводника.

¹⁾ См. «Ад» Данте, песнь VIII. Речь идет о Граде Плутона (città di Dite).

— Куда я влеку тебя? Куда несу свою любовь? Не к счастью, нет, но к чему-то более ужасному. Я знаю это. Но почему я поступаю так? Во мне бушует безумие: оно древнее меня и не дает мне покоя. Я чувствую, страдаю, но не могу познать его. Как ты думаешь, могу я сойти с ума? Мне казалось иногда, что в твоих глазах я читаю эту мысль. Ответь мне!

Теперь вся земля была покрыта холмами, вроде тех, которые напомнили ей в пизанском лесу «более и менее жаркие» гробницы орудия наказания¹⁾. На вершине одного из них три кипариса, как три креста на Голгофе. Ветер протяжно выл, дыша зноем.

— Ах, я хочу венуться обратно.

Панический ужас, внезапный и беспамятный, неудержимо охватил ее на крутой дороге, и она побледнела, стала блее самой белой извести. Ей хотелось сказать: «У выцветшей стены умалишенные женщины сидят и сшивают полотна простынь: около них гогочут гуси. На врачах длинные халаты, вид у них равнодушный... Нужно пройти мимо них. Не доходя до паперти Сан-Джироламо, за железной сеткой видишь больницу. Вместо калитки там красная деревянная рамка с железной сеткой, как перед курятником. Ах, я все вижу. Затем идешь между двух стен, а за стеной снова показывается больница, ее крыша... А затем Сан-Джироламо, галлерея, монастырь, моя часовня, часовня Ингирами, где я венчалась. Мои руки изобразил Бенвенуто: длинные, с маленькой красной книжкой. Но не эта Святая Катерина похожа на грустящую Вану: на ней красный плащ, а колесо пытки упало к ее ногам... Они сами работают, работают; так как нет больше места. Число их возрастает с каждым годом. Они сами несут известку, сами несут камни. Вот поднимается свежая стена. Воздух проникнут их запахом. Иногда по дорожке, между оливками, встречаешь одного из них: он останавливается, глядит на тебя и смеется, смеется, с покорным выражением лица, под своим красным беретом... И жасминовый сад там же, на нижнем холме, скрытый за кипарисами и за дубами. Он ого-

¹⁾ «Ад» песнь IX, стих 131.

рожен, весь окружен стенами, с узкой калиткой...» Бес-
связные мысли мелькали в ее голове, и кровь холодела;
но они словно лопались в мозгу, как пузыри, прежде чем
успевали превратиться в слова.

— Я хочу вернуться обратно.

— Ты хочешь? — сказал Паоло, теряясь от возбужде-
ния, которое охватило его при словах Изабеллы, зву-
чавших так странно и, не рассуждая, схватился за ручку
рычага.

— Я хочу вернуться обратно. Остановись!

Он необдуманно затормозил на слишком крутом подъеме
и почувствовал, что колеса начали скатываться вниз.
Воздух, которого они больше не разрезали, стал невыно-
симо душным, как будто бы тысяча печей дохнули на
него своей пастью. Но энергичным маневром он пре-
дупредил опасность. Сильная машина устремилась вперед
с сердитым ворчанием, распространяя вокруг себя тучу
пыли и газа.

— Здесь невозможно остановиться и повернуть, — ска-
зал он, стараясь одолеть извилистый подъем. — Нужно под-
няться еще.

— Да, едем, едем. Что это со мною случилось? Я совсем
струсила. Едем. Такова судьба.

Кругом открывалось высохшее море желтоватой грязи
кое-где с бархатными переливами, с синеватыми теньями,
напоминавшими своей загадочностью обманы фата-мор-
ганы¹⁾.

— Видишь картину Крепости? Видишь на западе
крайнюю башню? Видишь рядом на скате черную кучку
дубов? Это мои дубы. С площадки над ними раскрывается
вся местность вплоть до самого моря и дорога со всеми
изгибами. Я знаю, что Вана стоит там и смотрит. У тебя
дрогнуло сердце. Все кругом горит, но я уверена, ничто
так не горит, как она. Подумай! Скоро я буду ее обни-
мать.

Вдоль дороги проносились чахлые, печальные кипа-
рисы, стоги черной соломы, кирпичеобжигательные печи,
груды сырых кирпичей, кучи хвороста и жалкие, кривые

¹⁾ Мираж, называющийся так по имени сказочной феи Морганы.

маслины. Можно было каждую минуту ожидать, что все
воспламенится сразу от ветра, как пакля на болоте; в
одно мгновение запыляет и сгорит, развеется по сторо-
нам, разнесет огонь по морю огня, покроет пеплом пе-
пельную пустыню...

13.

И наступила ночь.

Загадочные силы жизни разыграли великолепный ма-
скарад. Страстные муки и желания, страстная мститель-
ность и страстное желание уничтожить врага притаились,
и в светлых глазах играла улыбка. Одни лишь уста, эти
слишком обнаженные уста, иногда выдавали притворство:
они порой выражали мучение, и непреодолимая судорога
передергивала крепко сжатые губы.

И, наконец, ночь наступила. Каждый очутился на-
едине с собою и со своей страстью в тихой комнате перед
пустою постелью.

— Говори тихо, не шуми, чтобы не разбудить ребенка,
— сказала Изабелла Киаретте, которая помогала ей раз-
деваться.

Она распорядилась, чтобы ей отвели комнату рядом со
спальней Лунеллы. Хотя дверь была открыта, оттуда не
доносилось ни звука, ни вздоха. Вся вила была погру-
жена в глубокое молчание. Аромат тубероз и жасмина
вливался в открытое окно, примешиваясь к испарениям
большого бассейна. Иногда флюгер начинал вертеться на
вышке, и скрип его делал еще более заунывным завыва-
ние, как бы рождавшегося среди кладбищ, ветра над
мертвой Вольтеррской равниной.

— Сегодня ночь святого Лоренцо, — шепнула ей Ки-
аретта, уронив на землю крючок при резком движении
госпожи.

На горизонте скатилась звезда, оставив после себя
ослепительный след в синеве неба.

— Вы сейчас подумали о чем-то прекрасном?

Изабелла, не отвечая, подошла к окну. Служанка про-

должала раздевать ее. Она посмотрела на небо, и свежий ночной воздух обдал ее обнаженные руки, ее плечи, ее грудь. Там, за Эрой, над Пизанскими горами сверкали зарницы. Случайные тучки, как изодранные траурные одежды, застилали млечный путь. Белая огненная слеза скатилась по лицу ночи; затем другая и еще другая. Ночное благоухание жасмина томило усталую грудь. Неведомые силы набрасывались сверху, как бы собираясь растерзать ее.

— Поторопись: я устала.

Колени подгибались под ней. Она отошла от окна и села перед зеркалом; горничная взяла в руки ее косы, тугие, как морские канаты.

— Подожди секунду. Мне послышался вздох. Быть может, Лунелла...

И она стала прислушиваться, обернувшись к открытой двери. Но слышен был только скрип флюгера на вышке; все остальное безмолствовало. Киаретта молча причесывала ее. А ее душа погрузилась в какое-то состояние неопределенных воспоминаний. Ей казалось, что эта ночь началась Бог знает когда, как в запутанной сказке. И по мере того, как волосы распускались и рассыпались по плечам, точно тихие струи воды, — в памяти возникали тысячи забытых картин из ее жизни, смутных, темных, расплывчатых. Но вдруг стены сдвигались над этими воспоминаниями, давя на нее всей своей массой, угрожая и не давая пощады; казалось, они скреплены и построены из фактов действительности. И затем она начала чувствовать присутствие тех, которые тут же рядом страдали из-за нее, страдали ради нее. Весь дом надвигался на нее, как тревожная туча. «Почему я сделала это?» спрашивала она себя. И пока она искала ответа, все окружающее извращалось еще больше, рушилось, исчезало. Равномерное движение гребня по волосам обращалось для нее в волхование, которое существовало искони и должно было продолжаться бесконечно. И отражение ее лица в зеркале удалялось все глубже, теряя очертания, и затем опять приближалось, но это уже было не ее лицо.

И охваченная страхом, она встала.

— Мне еще осталось завязать ленту, — сказала Киаретта.

— Не надо, оставь. Дай мне капот и ступай.

— А завтра?

— Я позову.

Оставшись одна, она должна была прижать руку к губам, чтобы не закричать, таково было ее волнение. Она босиком прохаживалась по большому ковру, чтобы как-нибудь не разбудить девочку, и ее тень росла и ширилась на стене. Со сжатым сердцем, она остановилась на пороге соседней комнаты, все спрашивая себя: «Почему я сделала это?» Но страдания не давали ей ответа, а еще сильнее мучили ее. Сдерживая дыхание, она шагнула вперед и увидела белую кровать с пятном черных волос на подушке. И она приблизилась тихо, тихо, чтобы не разбудить спящей на спине сестрички, озаренной слабым светом лампы.

Она наклонилась к милому ребенку и вздрогнула. Глаза Лунеллы были широко открыты.

— Детка, ты не спишь?

— Мне не хочется спать.

— Я разбудила тебя?

— Нет, я и так не спала.

— С каких пор?

— Я слышала, как ты сказала Киареете: «Говори тихо».

— Но когда же ты проснулась?

— Я и не засыпала.

— Почему же?

— Потому что я несчастна.

— О нет, нет, нет, деточка моя!

И она обняла ребенка и крепко прижала его к своей измученной груди. Она почувствовала невыразимые угрызения совести, слыша этот серьезный детский голос, произносивший без слез слова взрослой женщины. И ей показалось, что она готова на все, чтобы только расшевелить сестричку.

— Нет, детка. Что ты говоришь? Отчего тебе быть несчастной?

— Оттого что ты такая дурная.

- Дурная?
- Ах, да.
- Что же я сделала?
- Ты больше не любишь Форбиччикию.
- Но ведь ты — моя радость.
- И Мориччику ты больше не любишь.
- Как ты можешь говорить это?
- Ни Альдо. Никого больше.
- Как ты можешь говорить это? Что сделала я?
- Никто этого не знает.
- Боже мой! Ведь меня не было дома только несколько дней. Тебе это не нравилось?
- Ты дурно поступила с Ваниной.
- Я?

Ей хотелось обратить в шутку эту детскую досаду, рассеять недовольство ребенка ласками и прибаутками; но при взгляде на эти строгие, почти свирепые глаза, на преждевременную печаль этого лица, — сердце ее содрогалось. При каждом обвинении что-то глухо обрывалось в ней, и падало, как комок застывшей крови.

- Она плачет из-за тебя.
- Откуда ты знаешь? Расскажи.

Вся встревоженная, она подняла сестричку с постели и посадила ее на подушку. Что-то упало на пол.

— Это Тяпа упала, — воскликнула Лунелла беспокойным голосом, перегибаясь из кровати.

— Вот она, вот она. Это ничего, дорогая, — говорила Изабелла, поднимая куклу, которая открыла глаза.

Девочка взяла ее на руки, убаюкала, пощупала искривленную ножку. Затем уложила рядом с собою, с бесконечной заботливостью, словно во всем свете она больше никого не любила. Она сообщила какую-то особенную жизнь этой игрушке из фарфора, дерева и тряпок.

- Ну, рассказывай. Ванина плакала?
- Ах, да.
- И ты это видела?
- Она пряталась, но я знала. А сегодня утром...
- Сегодня? Рассказывай.
- Сегодня утром она пришла прежде, чем Мисс Аймоджен повела меня в ванну. Она села около меня и заго-

ворила, как будто рассказывая сказку: «Форбиччикия, бедная Форбиччикия, знаешь ли ты, что нас гонят прочь, что мы не можем оставаться с Изой? Нам нужно идти, взять Тяпу, ножницы и белый лист и больше ничего, и двинуться в путь, и пешком пойти, Бог знает куда. Она начала словно сказку, и я не думала, что это кончится слезами. И вдруг она сжала меня крепко и закричала: «Нет, нет, я не могу, не могу. Я увезу тебя». И она рыдалась, и ее слезы капали мне на волосы, на щеки...

Ее голос прервался от волнения, и все ее хрупкое тельце задрожало, и страдания трясли его, как вихрь трясет тростник, как поток — ветви ив. В глубине этого дикого и нежного создания покоилась слишком рано развившаяся сила грез и мучений, готовая каждую минуту прорвать плотину и все сокрушить.

— Иза, Иза, прогони его, прогони его! — закричала она, в отчаянии бросаясь к сестре и судорожно обнимая ее, как будто увидав привидение.

- Кого, кого?
- Человека.
- Какого?

— Того, что приехал с тобою. Прогони его!

При первом крике Изабелла испугалась и обернулась, как бы ожидая увидеть кого-то, так как ее всегда угнетала боязнь непредвиденного. Но крик и движение девочки вызвали в ней вместе с нервной дрожью образ любовника, так как его имели в виду слова Лунеллы. И предчувствие несчастья охватило ее.

— Успокойся, детка, успокойся! Отчего ты так волнуешься? Вана внушила тебе какую-то гадкую мысль? Девочка качала своей пышной головой; и грудь ее высоко поднималась.

— Он — друг, хороший друг и любит тебя.

Но Лунелла все трясла головой, и лицо ее горело злобой.

— И ты его полюбишь, когда узнаешь его. Не надо от него бегать.

Но та все качала головой, и с ее языка были готовы сорваться гневные слова. Вдруг она закричала, отталкивая сестру:

— Бери его! Держи его! А нас, нас прогони.

И она спрятала лицо в подушку, рыдая, прижимаясь лицом к лицу Тяпы.

— Мы уйдем туда, бог знает куда, пешком, совершенно одни...

14.

Убаюканная обещаниями и ласками и побежденная усталостью, девочка заснула. А одна слеза блестела на ее ресницах, и грудь все еще вздрагивала от пережитого волнения. Тяпа тоже спала, на той же подушке, но ее не убаюкала колыбельная песенка, и ее не напугал Бука. У изголовья, на цепочке блестели стальные с золотой ручкой ножницы, «О усталость, усталость, навей и на меня сон», вздыхала Изабелла, положив голову на край белоснежной постельки, утомленная, измученная. Она то совсем падала духом, то опять все в ней возмущалось. Ей казалось, что она засыпает. И сон был так нужен ее усталому телу, что она верила в его близость, словно это был кусок плотного гипса, который она хотела бы наложить на свое лицо, чтобы скрепить им свои веки. И в образовавшемся мраке раскрывалась трещина, одна из тех расселин, которые без числа окаймляли ужасную дорогу; и эта трещина разрасталась, превращалась в пещеру, в пропасть, где все двигалось, и откуда поднимались все ее мысли, все страхи, все тревобления. И от сна оставались только бессвязные образы, которых не рассеивало настойчивое мигание глаз. Она увидела одну из женщин, спивавших полосы холста у бесцветной стены; и эта женщина тоже положила голову на край постели, и глаза ее блуждали в полутьме, и от полосатого передника исходил жуткий запах.

Изабелла подняла голову; на лбу у нее выступил холодный пот, и она, как в зеркале увидела, что из-за нее происходит. Смутное ощущение раздвоенности овладело ею. Ей даже казалось, будто она сама отделяется от своего тела. А затем в глубине ее стали образовываться чудовищные существа, являющиеся нам во время болезни

и иногда обладающие скрытым значением. Кругом царила тишина, обманчивая и неуловимая, изредка нарушаемая звуками, которые изменялись, лишь только начинало казаться, что ухо их уловило. Как будто кто-то ходил без остановки, легко, но решительно ступая, и это вызывало образ зверя, бегающего без отдыха по клетке на своих проворных и гибких лапах.

«Кто это ходит? Где это?» Шум в ушах и возбуждение не позволяли ей определить, откуда доносились звуки. Может быть, это было в ее больном мозгу. Слова Лунеллы звучали в ее ушах: «Нужно идти, двинуться в путь, пешком, Бог знает, куда...» И она поledenела от страха. Ей начинало казаться, что она сходит с ума, что шаги создаются ее больным воображением, и что они будут преследовать ее до самого гроба, что до самой смерти внутри ее будет жить это беспокойное, двигающееся существо. И она увидела фигуру сумасшедшей, в полосатом переднике, с гладкими рыжеватыми волосами, с веснушками и белесоватыми глазами. «Иди, иди...»

Она вскочила, сжала голову руками. Шаги становились слышнее, и она поняла, что они доносились сверху. Тогда она посмотрела на потолок, на котором двигались тени от дрожавшего фитиля лампадки. И вдруг она сообразила. Там была комната Ваны. Это ходила Вана. Это Вана металась наверху, не находя покоя.

И внезапный порыв обуял Изабеллу: «Я должна подняться к ней. Я должна увидеть ее. Что она, одна? Или же с Альдо?» И затем вдруг нездоровая фантазия заиграла в ней, и неистовая ревность вызвала образ Паоло. «Я схожу с ума». И она подумала, что все готова претерпеть, только не оставаться наедине с собою, в этом состоянии, близком к безумию; что она должна вырвать насильно часть своей души из рук, которые ее сжимают, если хочет спасти ее.

Она снова подошла к кровати и наклонилась, прислушиваясь. Лунелла спала таким крепким сном, что он казался болезненным, как горе, не залеченное, но погруженное в забвение. «Бедная!» До завтра ты не проснешься, не позовешь. А если ты вдруг позовешь

меня, и меня не будет? Что ты подумаешь? Ах, сестрица, горячая и горькая сестрица, сердитая и повелительная, и для тебя душа будет ядом, как для Изы!» Она подумала минуту и вернулась в свою комнату. Опять ей предстала чрез открытое окно ночь с далекими зарницами, благоухание жасмина пахло на нее, флюгер заскрипел на крыше. Белая огненная слеза скатилась по лицу ночи и исчезла.

15.

Страдания наделили Вану силой и неистовством львицы. Она не могла совладать с ними, они одолевали ее и уносили, беспощадно трясли и истязали. Она не пыталась сопротивляться и не надеялась даже на короткую передышку. Так, быть может, чувствовала себя христианская мученица, которую bestiарий привязывал к дикому зверю для публичных игр.

Она не отдавала себе отчета в своих движениях. Она кидалась из угла в угол, от стены к стене и удивлялась, когда каждый раз наталкивалась на ту же картину, на тот же шкаф или стул, неподвижно остававшиеся на месте, равнодушные к ее горю. Злобная потребность причинить себе боль заставляла ее ударять кулаками в стену; но она не чувствовала этой боли, заглушаемой муками сердца, а до сердца руками не добраться. И, продолжая биться о стену, она негодовала на инстинктивную осторожность, которая удерживала ее от слишком сильных ударов и мешала ей себя ранить.

«Я — трусиха, жалкая трусиха. Я уже могла умереть, броситься вниз. Я — жалкая трусиха». И, обессилев, она падала на кровать, впиваясь зубами в простыню. Ей казалось тогда, что она лежит на мягкой земле, и рот ее наполнен грязью. Мысль об Утесах преследовала ее.

«Так, так, все зло окончилось. Я больше ничего не чувствую. Вот он идет, повертывает и поднимает меня и, как в ту ночь, говорит мне: — «Успокойтесь, успокойтесь, дорогая детка». — И разве от одного слова нельзя возродиться, как от одного слова можно умереть?» Впе-

чатления июньской ночи заполняли ее душу, вытесняя все другие воспоминания, и она снова переживала притворный сон и поспешный путь, прибытие на равнину к погребальному ложу, боязнь, что осуществится предсказание, и утренние слезы. И она думала: «В продолжение одного только часа я была дорога ему, в продолжение одного только часа я была близка его сердцу; но разве этот час не ценнее целой жизни? Никогда та, другая, не в силах дать ему то, что дала я. Я знаю, и он знает это. Перед прахом своего друга он не в состоянии был плакать, а заплакала я в его сердце, и какими слезами! Сегодня он два раза посмотрел на меня загадочно и печально, как тогда. Что значит окровавленный рот той другой, если такой взгляд может соединить два существа в жизни смерти?» И любовь горячила ее кровь, как всемогущая гордость. Любимый человек казался ей жертвой злых чар, ждущей освобождения, а она — героиней, вооруженной несокрушимым оружием для решительной схватки. Потом яростное нетерпение поднимало ее с постели. Она вскакивала. Но она с трудом держалась на ногах, как больная, разбитая лихорадкой: вот-вот ей сделается дурно, кровь и желчь наполняют полость рта, течет холодный пот, и вся жизнь превращается в отвратительную судорогу.

«Умереть, не умирая!» И снова отчаяние охватывало ее, потрясало и увлекало ее измученное тело, и она металась по комнате-клетке с силой и неистовством львицы.

Вдруг дверь порывисто растворилась; охваченная отчаянием девушка обернулась и устремилась, как вихрь. Та, другая стояла на пороге. И они очутились лицом к лицу, не как два живых существа, а как два видения, вызванные одним и тем же больным воображением.

Они молча смотрели друг на друга. Жгучая боль, малодушная ярость и смешанный с удивлением страх притаились, сосредоточились во взгляде и в дыхании, готовые действовать. У обеих волосы были распущены; обе были одеты в простые капоты с короткими рукавами. Они стояли друг перед другом, дети одной матери, старшая и младшая сестра; ничто не обуздывало их, не ме-

шало им, и только кровь вопияла за них, и страсть руководила ими.

А когда они заговорили, они могли сдерживать лишь движения и голос.

— Я услышала снизу, — начала Изабелла, — твои шаги. Я была у кровати уснувшей Лунеллы. Услышала твои шаги и поднялась. Я не могла больше ждать. Ты страдаешь? Я тоже страдаю невыразимо.

— Ты была у Лунеллы? не в другом ли месте? Не из другой ли комнаты ты пришла? Я удивляюсь. Ты, может быть, пришла, чтобы я еще раз утерла твои губы? Или, чтобы показать мне синяки на руках, которые ты не посмела показать мне за ужином?

Горечь ненависти была так остра в этих вопросах, что Изабелла покачнулась, как под градом ударов.

— Не будь так жестока, Вана. Я не привыкла ведь, чтобы ты так подробно исследовала мое тело. Признаться, я не предполагала, что твои глаза настолько опытные, чтобы различать происхождение некоторых знаков...

Она тоже становилась похожей на зверя; отсутствие стыда в голосе и манерах сестры всколыхнули все, что таилось на самом дне ее души. Пронзительные глаза Ваны жгли ее.

— Ах, ты не знала! Тебя еще возмущает моя развязность! Но к каким картинам не приучила ты меня, к каким соприкосновениям, намекам, речам? Сколько раз я служила тебе ширмой! Моя простота возбуждала тебя. Ведь в твоём доме я привыкла не открывать дверей, не постучавши, и не проходить, не кашлянув, через открытые двери. Ты меня приучила ко всем видам осторожности и угодливости. Помнишь, там, в Мантуе, я пришла во-время, чтобы предложить тебе свой платок... И этого тебе не достаточно. Нет, этого тебе мало. Ты заставила меня быть свидетельницей всего и предупредить тебя, чтобы Альдо не застал вас врасплох. А несколько минут спустя ты смеялась и играла свою комедию и старалась утонченно уязвить меня. Вдруг ты привлекла и обняла меня и играла с моим горем, желая чувствовать его трепет под твоими когтями, трогать растрavлять его... Ах, развратная, развратная!

Ее узкое, смуглое, слишком исхудалое лицо, которое черные распушенные волосы делали похожим на лицо Лунеллы, горело стыдом и гневом; оно было великолепно; глаза ее сверкали, как чистая белая эмаль. А та, которой прямо в лицо бросались обвинения, стояла, не защищаясь и не прерывая ее, чувствуя, как в глубине ее души зарождается странная улыбка, и она только боялась обнаружить эту улыбку; против своей воли, не испытывая ни малейшего угрызения совести, она с каким-то самодовольствием выслушивала упреки в преступном коварстве.

— Нет, тебе этого мало. Тебе недостаточно мучить меня, изучать малейшие движения моего больного сердца, унижать меня притворным состраданием; тебе недостаточно было уехать для своего удовольствия, сослав меня сюда в тень тюрьмы, грубо отнять у меня всякий смысл жизни и поставить меня лицом к лицу с ужасом смерти. Нет, всего этого тебе мало. Ты вернулась сюда со своим любовником...

— С моим женихом.

Обличительница жестоко рассмеялась.

— Ах, смейся, смейся тоже! Не сдерживай, не обуздывай себя. Я вижу, что ты стараешься не расхохотаться. Твой жених! Но, если я не ошибаюсь, это — твой третий почетный жених. Ты могла бы, по крайней мере, придумать что-нибудь поновее, что-нибудь пооригинальнее, чтобы снискать снисхождение веселого света и скрыть свои грешки под вдовьим кровом без особенного скандала.

— Вана!

Изабелла поблeднела, так как насмешки глубоко задевали ее, и с тревогой смотрела, как её соперница действует отравленным оружием. Перед нею стояла уже не беспомощная и беспокойная девочка, а женщина, неожиданно созревшая от ненависти, соперница, готовая вредить и до неосторожности смелая.

— Тебя жгут мои слова? Тебя удивляет мое поведение? Но, разве я — не твоё произведение? разве я не твоя воспитанница? разве не твоя многолетняя школа сделала меня такою? Сама того не замечая, сама того не желая, ты обогатила меня опытом. Ты только не пред-

полагала, что эта наука могла принести такие горькие плоды и обратиться против тебя же самой. Но я скрывала ее, прятала под видом печали, усыпляла своим пением. А теперь, видишь, она обращается в яд, в оружие. Ты гонишь меня и теснишь, и не даешь пощады, ты становишься на мою грудь, как враг, не удовлетворенный победой, но желающий мучить жертву, осквернить ее тело и душу пыткой, похожей на непотребство...

— Молчи, молчи! Ты вне себя. Ты сама не знаешь, что говоришь. Я этого не сделала.

Враждебное нападение пригубило Изабеллу к земле, как вихрь; но не ярость обвинений ужасала ее, а тот образ ее самой, который создавали слова Ваны: он словно отделился от нее и дрожал от стыда.

С блуждающим взором, склонившись над постелью Ваны, она повторяла:

— Нет, я этого не сделала.

Она не защищалась этими словами и не упрекала, и не негодовала: в них звучало что-то боязливое и умоляющее, смесь смутного страха и трепетного вопроса.

— Ты сделала то, что делает только злоба криводушная, а может быть, и пошлая, для того, чтобы унижить своей обидой. Когда мы с братом начинали чувствовать себя совершенно чужими в доме, где и ты — тоже чужая, то, после долгих дней тягостного и пренебрежительного молчания, ты не нам сообщила о своем возвращении, оставленном фальшивыми декорациями, не нам...

— Ах, неправда. Я не сделала этого.

— Ты сделала и умеешь делать это. Не считай меня неблагодарной. Ты приютила меня у себя, осыпашь подарками, украшаешь цветами; за то ты играешь моею жизнью, как будто мое самое глубокое переживание стоит меньше самого беглого из твоих удовольствий. Я для тебя то же, что Тяпа для Лунеллы. Но Лунелла плачет, если Тяпа упадет на пол, сломает ногу или оцарапает лоб; она плачет и убивается, и ходит за ней, и старается вылечить ее. Но ты из породы жестоких. Ты вскрываешь мою грудь, чтобы посмотреть, что там внутри.

— Как ты несправедлива! Наша мать не могла бы отнестись к тебе с более внимательной нежностью, чем я.

— Да, ты внимательна, когда нужно отсечь во мне что-либо живое и помешать мне жить. Разве ты в первый раз становишься между мною и моим счастьем, между мною и тенью моего счастья? У тебя всегда была какая-то мания, какая-то ревнивая прихоть. Достаточно было кому-нибудь приблизиться ко мне и обнаружить самую легкую симпатию, чтобы ты вмешалась и стала осуществлять свое странное право преимущества. Чтобы добиться старшей сестры, верным средством было поухаживать за младшей. Ах, не раз мне приходилось слышать едкие насмешки за своей или за твоей спиной. Но какое мне было дело до твоих забав! Не стоило ни стыдиться, ни жалеть, а тем более бороться или сопротивляться. Какое мне было дело до моих поражений! Между моей мечтой и твоим торжеством не было ничего общего. Но теперь...

Она остановилась, как будто кусок ее сердца оторвался и застрял в горле, и ей нужно было выплюнуть его, чтобы продолжать. А та выпрямилась, так как перед ней возник образ любви, и ее взволнованные глаза засияли. И ее рука откинула падавшие на лицо волосы.

— Теперь... — повторила она, не голосом, а словно дыханием, наклоняясь вперед почти прильнув к устам, которые замолкли.

Вана вся поледенела и побледнела, как привидение; такой явилась она в тот день на пороге нависшего Лабиринта.

— Теперь, — сказала она голосом, который пронизывал резче, чем крик или пламя, — тот, кого ты отняла у меня, означает для меня больше, чем моя мечта или моя жизнь; если бы я захотела стать счастливой и вечно благодарной Небу за то, что оно даровало мне жизнь, и простить тебя, мне было бы достаточно опустить голову на его грудь, поплакать немного и заснуть и больше не просыпаться.

Она поледенела, потому что ей живо представилось июньское утро, потому что звезды еще раз замерцали над ее душою под первой серебристой волною зари, потому что в то мгновение исполнилась цель ее жизни, потому что бесконечно жестока была судьба, заставлявшая ее

томиться в бессмысленной пытке. «Успокойтесь, успокойтесь дорогая детка».

— Ты так любишь его?

— Как ты никогда его не полюбишь.

— Ты думаешь, что любишь его больше, чем я?

— Не больше, чем ты, а я одна люблю его.

— А я нет?

— Ты можешь любить только себя, только свое удовольствие и свое коварство. В этом — твое наказание.

— Разве не та любовь сильнее, что одерживает победу?

— Моя любовь одерживает победу.

— Над кем?

— Над ним и над тобою.

— Он сходит с ума из-за меня. Я могу с ним делать все, что хочу.

— Но ты не можешь любить его. Поэтому тебя притягивает моя любовь, которая побеждает тебя. Я знаю, знаю, я поняла, увидела. Ты надеешься теперь полюбить его при помощи моей любви. Ты надеешься, что мое сердце обновит твоё сердце.

— Сделай же так, чтобы он полюбил тебя.

— Сознайся, что ты не могла больше жить и наслаждаться, что ты не находила забвения, что я постоянно стояла перед тобою, появляясь на каждом пороге, как в тот раз, и что твоё наслаждение завидовало моим страданиям.

— Сделай же так, чтобы он полюбил тебя.

— Сознайся, ты уже начала чувствовать, что силы твои иссякают, что ты гибнешь; ведь ты думала, что твоя власть с каждым днем растёт, а вместо того ты её утрачивала безвозвратно, и твои чары оковали тебя самое, и вы оба задыхались в тисках, принужденные повторять все те же движения, как помешанные. Я же была здесь одна, непорочная, свежая, прекрасная, как прекрасен тот, кто пребывает между жизнью и смертью.

— Сделай же так, чтобы он полюбил тебя.

— А если он меня уже любит?

Они говорили лицом к лицу, — одна еще склонившись над постелью, а другая, — опираясь на решетку, кото-

рая иногда поскрипывала, — обе простоволосые и бледные; что-то зверское было в этом взаимном терзании душ: так лошади у одного стойла торопятся проглотить свою пищу, как бы опасаясь отстать одна от другой. Вне всякого сомнения: и под вызывающей смелостью младшей таился страх; но страх еще более глубокий скрывался в старшей, сердце которой содрогалось, слыша, как ее любовь называют бесплодной; и под наплывом мучительных образов, она начинала сомневаться в том, что вообще когда-нибудь любила.

— А если он меня любит? — повторила Вана, подчеркивая интонацией то, чего не выразить словами.

Изабелла выпрямилась, тряхнула головой, — великодушная и ужасная, — и сделала движение, как бы замыкая в узы тела отделившуюся от него душу. Затем подошла к окну, выглянула из него и вздохнула полною грудью. Аромат тубероз и жасмина и испарения большого бассейна вливались из сада. Там, за Эрой, над Пизанскими горами сверкали зарницы. Случайные тучки, как изодранные траурные одежды, застилали Млечный путь. Белая огненная слеза скатилась по лицу ночи, затем другая и еще другая. Она почувствовала на шее и плечах руки любовника, в отчаянии цепляющегося за нее, чтобы не полететь в бездну, и услышала его крик, словно крик погибающего, его божественную и отчаянную мольбу по ту сторону потока жизни. И она повернулась и сказала.

— А что, если он тебя любит из жалости?

Вана приблизилась к ней, слегка покачиваясь, сплетя руки за спиной, как она делала во время пения. Она остановилась и ответила.

— Все, что ты получила и получишь от него, все, что он дает тебе, не сравнится с тем, что он дал мне в один бесподобный час. Рано или поздно у тебя ничего не останется. Он может забыть тебя, ты можешь забыть его. Но того часа ни я, ни он не забудем до самой смерти и после нее.

Она не в состоянии была дольше скрывать свою тайну, которая излучалась из ее глаз.

— Что это был за час?

— Погребальный час.

За спиной ее соперницы сверкали зарницы, похожие на те, что в ту ночь загорались над Монте-Бальдо.

— Какой такой час?

Подбородок Изабеллы дрожал.

— Помнишь июньскую ночь, когда он бодрствовал у праха своего друга?

Снова тучи, застилавшие млечный путь, напоминали конские гривы, и в них были вплетены звезды.

— Помнишь, как ты сказала Альдо: «Если ты пойдешь со мною, то и я отправлюсь туда». И ты не пошла. Пошла я. Никто меня не сопровождал, и со мной были только — букет роз и моя тайна.

Бесчисленные звезды растекались по небосклону. Над горькой землей, над землей бесплодной и сухой, над пепельной пустыней ночь проливала свои светлые слезы.

Они не произнесли других слов. И не простившись, старшая вышла, а младшая остановилась у окна.

16.

Они примирили непримиримое, — вытерпели нестерпимое. Как в этрусской земле был скрыт подземный город мертвых, так и в них образовались внутренние города яростных духов. Гуляя по жасминовому саду, они знали, где под ними пещеры, так как земля иногда глухо звучала под ногами. Только подавленное клокотание страсти, лукавые формы, в которые выливались их желания, или внезапный под'ем коварной и убийственной ненависти или сладострастия, вызванный каким-нибудь взглядом или рождавшийся от какого-либо жеста или шага, обнаруживали их истинное душевное состояние: глаза же их оставались светлы, и голоса осторожны. Их жег один и тот же огонь, который не выбирает своей пищи, но одинаково пожирает и чистое, и нечистое. Двоих из них преследовала мысль об убийстве, которая сама по себе присоединяет к силе и тайне одной враждебной жизни тревогу другой. Они избегали касаться друг друга;

и тем не менее их непостоянные, изменчивые существа могли достичь чего-либо только посредством этих несчастных рук; и они знали это. В самом незначительном их слове заключался какой-то неопределенный смысл, который быстро проникал в их душу, как камень, упавший в воду на большой глубине; он еще, может быть, не коснулся дна, а уже на поверхности круги разошлись. Другие слова звучали, как камень, брошенный в бронзовую статую. А некоторые неожиданно вызывали в них такое необычайное и нечеловеческое волнение, что они бросали на произнесшего их взгляд, в котором выражалась готовность погибнуть, нарушить все запреты, подобно тому, как в тревожные времена междоусобий мирно сидящие на галлерее собеседники вскакивали при первом подозрительном движении, чтобы пролить человеческую кровь.

Музыка, звучные вихри которой уже раньше облагораживали отчаяние двоих, вызывала теперь в них всех самые разнообразные восторги. С открытого балкона не было видно больницы Сан-Джироламо, отделенной от дома неровною местностью. Между живой и мертвой Эрой поднимались крутые склоны Вольтеррской горы, поросшей дубами, напоенной легендами, тенистой и темной, посреди бесплодной белой равнины. Но невидимый Дворец Безумия как бы искажал цвет воздуха в том месте, где узловатые, искривленные маслины походили на причудливые деревья, которые некогда застонали на пути этрусского странника¹⁾. Изабелла чувствовала себя опьяненной и потерянной, потому что все склонялось перед пением Ваны, и все страсти направлялись к ней, как в легенде непокорный единорог идет к деве и кладет голову на непорочные колени. Воздушные волны иногда колыхались над певицей, как полуденный зной над горячими меловыми холмами. Все ее существо звучало, как в инструменте звучат все жилки дерева из которого он сделан. Вена на открытой шее терялась в складках одежды и, казалось, тянулась до самой ступни, подобно тому как струна натягивается между ручкой и порожком

¹⁾ «Ад» песнь 13. В деревья обращены самоубийцы.

скрипки. И действительно, когда она возвышала голос, ее спина и нога содрогались, словно в них дрожала длинная звучная жила, проходившая через все тело.

Когда Альдо схватывал свою виолончель, словно любимое существо, и зачинчал колокол, а лицо его выражало такое явное страдание, словно он натягивал не белую струну, а пучок своих самых тонких нервов, Изабелла не смела смотреть на него. Странное ощущение овладевало ею, как от озноба в спине. Сидя близ рояля из блестящего палисандра с темными фиолетовыми отливками, из-за педальной лиры которого виднелись одушевленные ноги аккомпаниаторши, он склонял свое горевшее страстью и воодушевлением лицо к ручке, по которой пробегали пальцы руки, вызвавшей слезы у Лунеллы. И в самом деле, об этом инструменте мечтала Иза в мантуанском дворце: его красно бурый цвет она хотела бы получить для своих волос: и по бокам были те же желтоватые пятна лака, прозрачнее янтаря, а посередине остова позолота с полосами, как у зебры, делавшая его похожим на пышное и нежное горло тропической птицы. Смычок его становился почти огненным. И его озаренное светом чело было так прекрасно, что от него не отказались бы ни воинственный Архангел Бетховена, ни суровый Херувим Себастиана Баха.

Паоло удалялся в темный угол и опускал голову на ладони, чтобы слушать; и в стороне он вдыхал глубокими глотками свою печаль, как безутешный изгнанник. Изабелла была вдалеке, однако, она заполняла его существо, словно в этом углу на него падала тень от нее. Затаив дыхание и поддерживая колено скрещенными пальцами руки, полная мрачных и невыразимых сил, она ловила в диалоге виолончели и рояля то, что она одна должна была понять. Когда Альдо вставал, тяжело дыша, отставлял в сторону инструмент и клал на рояль смычок, и все существо распускалось в наступившей тишине, как после объятия, она закрывала лицо. Она склоняла его над смычком, который, казалось, продолжал свою наэлектризованную жизнь, сохранял свой огненный дух в восьмиугольной палочке с изгибом таинственным, как хрящ гортани, как изменение голоса, как все неподра-

жаемое. Ее руки, которые в прежнее время гладили бы волосы юноши или отирали бы его влажные виски, касались теперь серебряной ручки или наконечника из черного дерева с выразительным перламутровым глазом. Ее ноздри вдыхали запах канифоли, теплый, как смола в пианских сосновых лесах.

Свет потухал на челе юноши. Иногда на нем отражалась мысль, такая настойчивая, что оставляла морщину вроде шрама, который пересекал лоб молчаливого. Когда Паоло Тарсис не смотрел на него, он преследовал его глазами, полными жгучей ненависти. Когда тот оборачивался, он отводил в сторону злобный взгляд. А затем подходил к нему с двусмысленной мягкостью.

— Паоло, — сказал он однажды, улыбаясь, — не поедешь ли со мною вглубь Утесов? Там ведь совсем, как у Данте. Вообрази себе Малебольдже¹⁾. Мы поедем верхом. Я знаю дорогу. Она отвратительна, но Вана уступит тебе Перголезе, который отлично справляется с трудными переходами.

— Хорошо, — ответил Паоло.

— Мориччика, мы отправимся на поиски твоей шляпы и твоей гирлянды желтых роз.

— Вглубь Утесов? — спросила Изабелла, внимательно вслушиваясь во все изменения голоса Альдо и нанизывая цветы туберозы на зеленую шелковую нитку, стараясь подражать ожерельям из дзагар.

— Ах, ты не знаешь, — сказал Альдо с беспечной усмешкой, заволакиваясь дымом папироски: — ты не знаешь, что однажды вечером, когда дул юго-западный ветер, мы с Ваной, упившись музыкой, с отчаяния решили броситься с Гверруччи вниз? А вместо этого ветер унес вглубь шляпу с гирляндой, которую Вана повесила на выступ этрусской стены.

Голова Ваны была откинута на спинку соломенного стула, и она неподвижно улыбалась, вспоминая улыбку Вивиано, улыбку каменного изваяния.

— Это правда, Ванина? — спросила Изабелла, скрепляя кончики благоухающего ожерелья.

¹⁾ Восьмой круг Дантова Ада.

— Ванина, держу пари, что сегодня вечером я принесу обратно твою шляпу; может быть, только цветы будут немного помяты.

— Возьми пока-что это, — сказала Изабелла, подходя к улыбающейся девушке, которая не пошевелинулась.

Она взяла ее за затылок, приподняла неподвижную голову, три раза обвила шею своим ожерельем; и затем снова положила голову на спинку стула. И она несколько раз моргнула глазами, чтобы рассеять образ, который рождался от этого неподвижного облика, от этой застывшей улыбки и от этих цветов, неподвижно лежавших на груди, не приподнимавшейся от дыхания.

— Вана, путешествие верхом в подземное царство! — прибавил он тише и с еще более странной улыбкой.

И затем он удалился в сопровождении молчаливого. Вдруг, когда они уже ехали верхом, тайная тревога охватила сестер и все возростала до самого вечера. Они обе пошли к своей нежной мастерице белых сновидений: и стали перед ней на колени и попросили у нее, — недовольной, замкнутой в себе и неразговорчивой — минуту забвения.

— Мы здесь, Форбиччикия. Ты не смотришь на нас?

Лунелла не отвечала. Острием ножниц она вырезала свои сказки о животных.

— Посмотри, какое красивое ожерелье я подарила Ваннине? — говорила ей Иза, стараясь смягчить ее своим ласковым голосом. — Хочешь я тебе сделаю такое же из жасмина?

Лунелла не отвечала; она не верила в знаки нежности, которыми коленопреклоненные сестры обменивались в ее присутствии, обнявшись за талию и прижавшись щекой к щеке. Она чувствовала, что они ненавидят друг друга. И вместо того, чтобы бросить им на колени готовую картинку, быстрым движением ножниц она уничтожила ее.

— До каких же пор ты будешь сердиться на меня? — жаловалась одна.

Другая спрашивала.

— А на меня до каких пор?

И Лунелла отвечала с еле заметной улыбкой:

— Пока еще ты помнишь,
Пока я не забылась.

И опять тень дуба падала на эту размеренную песню. Большой симметричный дубовый лес покрывал склоны холма, и его корни таились в полом туфе, который служил сводом для обширного подземелья. Полуденный воздух был насыщен зноем. Было темно, надвигалась буря. И, сидя на траве, обе сестры умолкли: они мало-по-малу отстранялись одна от другой: но они не хотели уходить и обе были во власти того же волнения. До какого места доехали всадники? Какой незримый свидетель следил за ними? Вана вспоминала некоторые слова, произнесенные братом перед погребальной урной.

На запад среди обнаженных песчаных и известковых хребтов, среди глыб туфа, усеянных ракушками, через кустарники, по каменным плитам, по булыжникам, по лужам, по спускам, Альдо Лунати и Паоло Тарсис ехали молча, осторожно правя конями по трудной дороге и пуская их шагом, так как они сплошь да рядом проваливались в глину, скользили по камням, спотыкались в ухабах. Спускаясь по неровным тропинкам, умные животные скользили вниз на передних лапах, влача зад по земле. Они взбирались на крутые и невысокие под'емы большими курбетами, как будто прыгая на осыпающийся берег. Конь отделилось от следа, и одновременно земля обваливалась под ними. Они уже взмылились, как после упорного галопа, и тяжело дышали.

— Асра! — гневно закричал Альдо, увидев свою светлошерстную собачку на одном возвышении оранжево-желтого цвета.

Садясь на коня, он приказал конюху не пускать за ним Асры. Она, конечно, сбежала и по следам отыскала его. Собачка приближалась, напоминая движение легкой зыби, чтобы своей грациозностью смягчить гнев хозяина; и глаза ее были нежны, как обведенные краской глаза куртизанки.

— Зачем ты кричишь на нее? — сказал Тарсис.

— Я не хотел, чтобы она шла с нами, потому что она боится мутной воды и отказывается переправляться в

брод, когда не может перескочить. А здесь масса луж и канав.

Небо походило на тяжелую мантию, земля на грязный щелок.

— Мне никогда не приходилось бывать в более неприятном месте. Но кто это проехал перед нами?

В земле виднелись глубокие следы. Неясный перемещающийся шум прерывал иногда тишину.

— Кто знает?

— Это свежие следы лошадиных копыт.

— Почему ты утверждаешь это? Ведь у них нет определенных очертаний? Они похожи скорее на ямки.

— Ну, скажем следы четвероногого. Но взгляни сюда: этот — непременно от копыта.

— Правда.

— Не ты ли сам проезжал здесь?

— Нет.

— Странно. Кто бы это мог быть? Надо быть все же сумасшедшим, чтобы спуститься туда, это, вероятно — один из обитателей Сан-Джироламо, сбегавший на лошади доктора.

— Или же дух Нери Мальтраджи.

— Кто такой Нери Мальтраджи?

— Спятивший с ума житель Вольтерры: он бросился на своем жеребце с Утесов.

— Ты веришь в приведения?

— Верю.

— Тогда это он едет перед нами.

— Но в этом аду нельзя путешествовать без проводника. Подними глаза! Посмотри!

Утесы спускались совершенно отвесно, подобно крутой горе, у подножья которой очутился когда-то великий этруск, исполненный темной желчи, после того как его стряхнул со своей спины Герийон¹⁾. В навешающих ужас углублениях, между белыми обрывами, похожими на разрушающиеся устои исполинских зданий, витали тени. Громады Сан-Джусто и Аббатства, одна — железного, другая — ржавого цвета, казалось, готовы были рухнуть

¹⁾ Данте, достигший подножья Чистилища.

в пропасть. А за ними полетят и все остальные стены, и Замок, и повисший над обрывом город, и все маленькие, хрупкие, как птичьи гнезда, жилища людей над бездонной, неисповедимой, зловещею пропастью.

— Вот оттуда свалилась шляпа Ваны, — сказал Альдо со странным выражением в голосе, от которого его спутник невольно вздрогнул. — Видишь, с той этрусской стены, которая кажется тебе отсюда кучею камешков.

Паоло придержал своего коня, зачарованный трагическим зрелищем.

— Хочешь поискать ее? — прибавил юноша своим двусмысленно-нежным голосом.

Вдруг послышался вой Асры, жалобный, просящий о помощи.

— Конечно, собака у брода, — сказал Альдо нетерпеливо.

Он свистнул: собака залаяла в ответ; он свистнул еще раз. Вой выражал отчаяние, слишком мрачное, даже для этих мертвых пространств. Он направил коня к месту, откуда доносился призыв. Асра жалобно выла по другую сторону лужи, не решаясь перейти ее. Ни свист, ни приказание, ни угрозы не помогали. Светлошерстое существо покачивалось на своих тонких лапках, умоляя о помощи нежными глазами соблазнительной куртизанки.

— Паоло! Паоло! — закричал Альдо по направлению к холму пепельного цвета, за которым скрывался его враг. — Паоло!

Вместе с криком его упорное сердце хотело вырваться наружу; чтобы удержать его, он напрягал всю свою волю, извилистую, как воля женщины. Он быстро исследовал взглядом пустынную местность. Он узнал жилу желтоватого песчаника, в которой блестели чешуйки талька: увидел белую вершину, более бледную, чем все другие. Втянул носом воздух и почувствовал легкий запах, как от гнилых яиц. И глазами отметил себе путь параллельно следам копыт своего загадочного предшественника.

— Паоло!

Его враг все еще наблюдал теснины, над которыми теперь сгустились тучи в преждевременно померкшем воздухе. Он поглаживал шею Перголезе, а душа его теря-

лась в печали и ужасе, безысходных, как эмблема, под которой в тот памятный день так странно засветились поднятое лицо и протянутая рука смуглой девушки. Он различил крик Альдо среди отчаянно-жалкого завывания собаки и среди шума, все время возобновлявшегося на вершинах Вальдеры; повернул коня и догнал брата Ваны. Ему было трудно разбирать дорогу в неровной местности.

— Асра боится броду?

— Поедем вдоль лужи, она кончается вот там.

Они некоторое время ехали друг за другом. Ни один не видел лица спутника. Копыта вязли в земле по лодыжку. По ту сторону трясины собака отчего-то суетилась. Вдруг она сорвалась с места, как стрела, пропала за возвышениями и уступами и запищала.

— Она, вероятно, увидела лисицу, — сказал Альдо: — жалко, что нельзя пуститься вскачь.

— Слышишь серный запах?

— Вероятно, из какой-нибудь скважины.

Он отвечал, не поворачивая головы и продолжая путь к самой бледной вершине. Снова раздался писк собаки.

— Посмотри, там на краю следы Нери Мальтраджи!

И он пустил Каракаллу рысью по песчаной полосе, мстами испорошенной каплями дождя.

— Проезжай там; а я об'еду кругом холма. Асра! Асра!

Он волновался, как на охоте. Серный запах проникал в его горло. Он повернулся, чтобы взглянуть на врага, который скрылся за белым холмиком, похожим на кучу гипса или каменной соли. Сердце его неистово билось. Писк собаки прекратился.

— Альдо! Альдо!

Он услышал крик. Сдержал коня и подождал. Мгновение продолжалось вечность, и мертвая тишина воцарилась над долиной.

— Альдо!

Голос звучал громко, живо. Спешить ли на помощь или ждать еще? Он отчетливо услышал топот подков Перголезе по каменной гряде. Он погнал галопом коня на ближайшее возвышение и сверху увидел врага, ска-

кавшего по камням от какого-то беловатого пятна, перед скважиной.

— Собака подохла! — закричал ему Паоло, останавливая около него запыхавшегося коня. — Она упала, как подкошенная.

— Неужели там ядовитые испарения? — сказал Альдо, явно подавленный и бледный, как смерть. — И ты чуть было не попал туда?

Паоло Тарсис пожал плечами и слегка нахмурил брови, а затем направил Перголезе вниз по спуску, не отвечая. Юноша еще раз посмотрел на труп собаки, белевший на смертоносном месте.

— Бедная Асра! Точно она хотела помереть. У нее глаза были слишком прекрасны сегодня.

Он тоже спустился вниз. Его враг задумчиво ехал впереди по старым следам. Они снова переправились вброд через лужу: проехали между голых холмов, среди глыб известняка и туфа, по булыжникам, по печальной пепельной пустыне, не нарушая молчания. День склонился к вечеру: и в воздухе проносились сдержанные еще порывы урагана. На западе над поверхностью моря, на краю ровного небосклона, солнце источало кровь, как из продолговатой раны.

Паоло еще раз взглянул на Утесы, которые теперь напоминали выступы и минареты красных мечетей. Его взор встретился с дерзкими глазами юноши.

— Знаешь что? — сказал Альдо со своей чарующей улыбкой. — Там где кончались следы, мне привелся дух Нери Мальтраджи. Но мы не расскажем об этом дома.

— Хорошо, — отвечал тот бесстрастно. — А что же цветы?

Сестры смотрели, каждая из своего окошка, ежеминутно ожидая услышать топот коней по оливковой аллее на холме. Необъяснимая тревога беспощадно давила их, а дыхание медленно надвигавшейся бури трезало их сердца мучительнее, чем все остальное вокруг.

Чем дольше они ждали, тем сильнее возрастало их беспокойство. И мысли, и образы яростно закрутились в них снова. И каждая в своей комнате опять обратилась

в заключенного зверя и стала метаться в своей клетке без удержу от стены к стене, от двери к окну.

И когда гром загремел над бесплодными извилинами Вальдеры, и на суровые дубы закапали первые крупные капли, они не выдержали дольше. Они побежали друг к другу, обнялись, как бы для борьбы, столкнулись своими дикими сердцами в дружном и враждебном объятии, заплакали, поцеловались, впились в губы зубами.

17.

Желание до того сильно жгло лицо Изабеллы Ингирами, что она даже стыдилась; на открытом воздухе она закрывала его вуалью и боязливо наклоняла в разные стороны, как факел, который поворачивают то по ветру, то против ветра, чтобы огонь не перешел на близлежащие предметы. Но в этих беспокойных движениях ее красота становилась до такой степени острой, что поражала сердце каждого, подобно лезвию или острию шпаги. Всякий раз, как Паоло Тарсис смотрел на нее, ее образ немедленно расплывался в каком-то лихорадочном тумане. Когда их глаза встречались, он обнаруживал у нее взгляд более глубокий, чем взгляд человека, словно порожденный ужасным инстинктом, более древним, чем звезды. И ее хрупкое тело приобретало для него невыразимое значение, обращалось для него в цель жизни, ограничивало его судьбу, как гора ограничивает царство. Он чувствовал, что тысячу раз предал бы свою душу и с легким сердцем бросил бы все остальное за одно только объятие.

— Не могу больше! — сказала она шепотом, подойдя к нему вплотную; ее уста болели от этих слов, ее дыхание принадлежало не ей, а было огненным языком, охватившим ее, как кучу хвороста или благоуханных трав.

Она твердо блюла свой запрет до самого этого дня, воистину очищенная огнем страданий, как в гимне Христа Безумца. Она томилась по ночам, объятая пламенем,

как висевшая у ее изголовья сиенская Мадонна Таддео ди Бартоло, окруженная крыльями красных ангелов, словно языками пожара... Сколько раз она успокаивала свою пытку: «Вот я встаю и иду. Иду, чтобы он не умер. Я чувствую, что он умирает от ожидания, что он обесилен». Сколько раз вставала она и босиком доходила до двери и останавливалась на пороге, видя в темном коридоре вихрь искр, прислушиваясь к дыханию Лунеллы и слыша только шум крови, свирепствовавшей над ее колеблющейся волей. Но она снова овладевала своею душою, крепко схватывала ее обеими руками, противясь искушению, почти каменя в своей твердости, уподобляясь неотесанному фасаду Дворца, усыпанному выступами в виде крепко сжатых железных кулаков, в которые вставлялись знамена.

И теперь, вместе с Христовым Безумцем, пламенную книгу которого она отняла у Ваны, вместо трилистников, наполнила головками жасмина, она молила об облегчении своей сладострастной пытки.

Душа полна цветами и плодами,
Опалена любовными скорбями,
Уязвлена томящими огнями.
Любви да стихнет пламя,
Его я съесть не в силах!

Страстность этих песнопений, это «Неведомое Безумие», это «Освещенное Безумие», возобновляли в ней ночью опьянение от музыки. Ее содрогавшаяся душа поднималась, страдая, до самых звезд, разливала лишенное лучей пламя до вечно метущихся миров, из которых время от времени истекали слезы, как бы для того, чтобы коснуться ее прежде, чем угаснуть. Возлюбленный Любовник с «беспредельной душой» пел внутри нее, пылая любовью к любви, как неукротимые соловьи поют до тех пор, пока с ними не запоеет вся вселенная. И она насыпала только к утру, когда жизнь вступала в свои права, одержав победу над сладострастием и страданием.

Вдруг она просыпалась с новой страстью, ощущая на губах прикосновение губ, и чувственность ее пробуждалась, как голод в толпе.

— Не могу больше.

Она произносила те же слова, которые прошептала, когда не находила себя ни в себе самой, ни во вне, и оба они ступали по трепету собственного тела, как по натянутому дрожащему канату. Эти слова вернулись к ней вместе с ужасом первых глотков поцелуя.

Он тоже, как и в тот раз, не находил себя ни в себе самом, ни вовне.

— Сегодня ночью? — глухо сказал он, не смея глядеть, чтобы не предаться во власть стремления, которое не давало ему покоя.

— Нет. Уезжай. Возвращайся туда. Я приеду.

— Ждать еще?

— Это необходимо.

— Это невозможно, невозможно.

— Это необходимо.

Видя, как он бледнеет и дрожит, она снова становилась жестокой и сильной по отношению к нему и к себе. Эта попытка доставляла ей наслаждение, как самая горячая ласка.

— Когда же мне ехать? Сегодня!

— Завтра.

— Еще одна такая же ночь?

— Это будет самая прекрасная ночь!

— Ты поедешь со мной?

— Нет. Я приеду после.

— Я не могу больше. Мне хочется убить тебя.

Он произнес эту страстную угрозу, слабая и дрожа, увлекаемый стихийным водоворотом, который крутил его, как какую-нибудь водоросль или щепку. Они стояли в дубовой роще, на склоне холма, спускавшегося, как морской мыс к злобющему серому берегу моря, к горбатым, чешуйчатым меловым горам, к бесконечным известковым пространствам. Порыв и опьянение полета снова возникли из их подавленного желания. Они услышали свист пропеллера, в их лица ударил быстрый ветер, они почувствовали белизну великой Ардеи на фоне лазури, как цвет их собственной воздушной радости. И воображение понесло их на крыльях к Тирренскому морю, которое сверкало внизу, по ту сторону Вальдеры, по ту сторону

Пизанских гор, между Мильярино и устьем Арно. Они пролетали над Томбольским леском, до прибрежной полосы; их ждала там уединенная вилла, терраса с майоликовым полом, ковер для танцев, подушки для ласок.

— Иза! — раздался голос Альдо.

Она обернулась. В зеленоватой тени дубов, прорезанной, как сквозь решето, золотистыми пятнами солнца, появился Альдо, гибкий и стройный, с дымящимся факелом в руке. Вана и Лунелла шли за ним.

— Не хочешь ли спуститься? — сказал он, приближаясь и смотря на обоих мечтателей своим невыносимым взглядом, в котором сероватый фосфор, казалось, потрескивал, как смола факела.

— Отлично, — ответила сестра, покраснев невольно, и краснея еще больше от тщетного усилия скрыть румянец.

Молодой человек опустил факел и подпаливал то одну, то другую травку. На нем был белый полотняный костюм; на ногах — сандалии; голова оставалась непокрытой; небрежное изящество еще более подчеркивало совершенную красоту его тела, которой место было в ритмической процессии Фидия.

— Паоло, — сказал он, — тебе никогда не приходилось спускаться в этрусскую гробницу?

— Я раз был в Тарквинии.

— Ах, а помнишь в Трапезном гроте этих совершенно красных мужчин и этих совершенно белых женщин?.. Здесь нет картин, но ты посмотришь, какие здесь украшения.

— А кто знает, сколько там летучих мышей, — сказала Иза, вздрагивая. — Форбиччиккиа, тебе не страшно?

Дикарочка прижималась к руке Ваны, изредка сердито поглядывая на гостя из-под иссиня-черной блестящей шапки волос.

— Ты свалишь меня, — сказала Вана шопотом, скользя по камешкам тропинки.

— В этом году туда, должно быть, никто не входил, — сказал Альдо. — Отверстие почти совсем обросло жимолостью.

— Знаешь, Альдо, — поспешно промолвила вдруг Иза.
— Паоло завтра уезжает.

— Уже?

Вана остановилась, так как дым факела пахнул ей прямо в лицо.

— Альдо, ты совсем закоптишь нас! — пожаловалась Лунелла.

— Ты так и не увидишь источников Монте Черболи после ям Сан-Джусто.

— Да, да, — вставила Иза: — завтра мы проводим его до Лагун: это порядочный конец.

— На берегу предательской Чечины ты, может быть, увидишь другого искателя приключений, который верхом спустился в Подземное царство, выехав из Вольтерры — Микеле Марулло.

В голосе юноши, когда он обращался к своему врагу, не звучал едкий сарказм, в нем не чувствовалось двусмысленности: но Изабелла приходила от него в такое мучительное беспокойство, что спешила прервать его веселыми словами, как-будто от последнего слога в воздухе остался след ненависти.

— И мы не расскажем этого, — сказал Паоло; — пытаюсь улыбнуться.

— В чем дело? В чем дело? — спросила Изабелла.

— Это наша тайна, — ответил тот.

— Тайна Нери Мальтраджи, — проговорил смеясь факелоносец, стоя на пороге подземелья, под листьями жимолости, и вокруг него колыхались последние головки мака и высокие колосья овса. — Сегодня я мудрый вождь.

И он исчез в могильной галлерее.

— Какая такая тайна? Какая такая тайна? — испуганно повторяла Изабелла, углубляясь в темноту, следуя за красноватым отблеском дымящегося факела.

Все вздрагивали, так как в подземелии холод становился все более резким.

— Лунелла? тебе холодно? тебе страшно?

Девочка все плотнее прижималась к руке Ваны. Темнота пугала ее. Вдруг, она остановилась, упираясь ногами, попыталась потащить сестру обратно.

— Нет, нет, я не пойду дальше.

— Идем, идем, детка. Не бойся.

— Не хочу.

— Идем. Посмотри, как здесь красиво.

Они очутились в обширном подземелье, занятом четырьмя возвышениями с громадными туфовыми колоннами, поддерживавшими своды. Ящики с прахом умерших белели на возвышенных пьедесталах; лежа на прямоугольных крышках, толстые фигуры усопших с пухлыми полураскрытыми губами, мирно покоились, опираясь на левые локти и держа в правых руках чаши, опахала, таблички. По колоннам и по своду и по стенам змеилась, сплеталась и спутывалась таинственная жизнь, полная тишины и холодного ужаса, жизнь животная и растительная, крутящаяся и нависшая, бесформенная и многообразная, и колебания пламени придавали ей как бы внешность чешуи и крыльев и неуловимое движение трепетаний и вздохов.

— Форбиччикия, Форбиччикия, не бойся, смотри! — крикнул Альдо и, подняв руку, ударил изо всей силы по какой-то странной массе.

Два острых крыла захлопнулись, что-то вялое закрычало, скорчилось, с'ежилось, но не упало.

— Летучие мыши! Летучие мыши!

И Форбиччикия и Мориччикия и Иза втроем закричали, прижались друг к другу, отступили обратно.

— Оставь! оставь! Не дразни их! Они порежут нас, если полетят.

— Они не оторвутся, помрут, но не оторвутся.

Альдо освещал теперь поднятым факелом подземное чудо. Сквозь щели и трещины проникли вниз, разветвляясь до бесконечности, корни старых дубов; тысячи их отростков заняли все своды, обвили колонны, повисли в промежутках до самых пьедесталов, образуя род сети или решетки из кривых веревок; и пролезая во все углубления во влажном туфе, они искали повсюду влаги. А с корней, качаясь, свешивались черные нетопыри густой, как паутина, сетью, прицепившись задними лапками и завернувшись в свои морщинистые перепонки, выставляя из сложенных крыльев только мордочки и уши. И казалось, что они составляли одно чудовищное целое с кор-

ниями, так плотно они держались за них, как будто деревья покрывались вялыми листьями под землею и образовывали себе глаза, чтобы видеть в этой могиле.

— Они не оторвутся. Их можно раздавить, сжечь, но они не оторвутся, — вопил Альдо, ударяя упрямые существа факелом и охваченный каким-то жестоким неистовством. — Они умрут, но не оторвутся.

Они издыхали, пища и хлопающая крыльями. Они сжимались, сморщивались от ударов и от огня, распуская смрад от гари, со свистом, как из лопнувшего пузыря: но их когти не выпускали корней.

— Сбрось одну, хотя бы одну!

Вана, Лунелла и Изабелла не казались больше испуганными, а, напротив, шагнув вперед, следили с интересом за безумной игрою и, зараженные ею, сопровождали истребление хриплыми криками. Чтобы достать до потолка, Альдо выпрямился во весь рост и подпрыгивал, как в первобытной пляске. Искры разлетались вокруг его буйной головы, но он искусно уклонялся от них. Его глаза метали молнии по направлению к Изе, которая в дымном и красном свете инстинктивно подражала безумию брата.

— Ни одной! Ни одной!

Внезапно, от более резкого удара, факел потух, и все подземелье наполнилось мраком.

Пронзительный крик ужаса вырвался из груди Лунеллы, которая окаменела на несколько мгновений.

— Ванина! Ванина!

Факел лежал на земле, еще тлея. Казалось, что в темноте кружилось безумие.

— Ванина! Иза!

Вдруг Паоло почувствовал, что кто-то дотронулся до него. Кто-то схватил его руку и страстно прижал ее к своим холодным губам.

— Иза!

Как и тогда, в самый длинный день под золотым и лазоревым узором, без конца повторяющим зловещее слово, Изабелла весь свой рот отдала дикому поцелую. Дрожащие пальцы коснулись ее, схватили за подбородок и за затылок и крепко сжали ее. Она, как и тогда, почувство-

вала, что смертельная жажда хочет упиться самым ее глубоким дыханием. В первое мгновение, в ослеплении страсти, охваченная непреодолимым желанием, она отдала весь свой рот и все, что было во рту ее самого обнаженного и самого тайного.

Но это не был поцелуй Паоло. Это был предательский, пагубный поцелуй. И она поняла, оттолкнула руки и вырвалась с воплем, который заглушили отчаянные рыдания Лунеллы.

И все это продолжалось только несколько мгновений, но было, как вечность, там, под землею.

18.

Над Мойской дорогой, на которой ливший всю ночь без перерыва дождь обратил пыль в липкую грязь, похожую цветом на грязный известняк, появился суровый и грозный Город камней и ветра на фоне туч, заволакивавших небо.

Паоло Тарсис взглянул на него и сказал.

— Прощай. Я никогда больше не вернусь к твоим воротам.

Вана стояла рядом с ним. У нее было такое же искаженное лицо, как в ту ночь, при свете погребальных свечей. Незначительная порча мотора заставила их остановиться. Пока шоффер хлопотал у открытого ящика, они сошли на дорогу, а Альдо и Изабелла пошли вперед к Помаранче, к лагунам. Дождь перестал; но над долиною Чёчины, до бездольной Мареммы, между погруженными в туманы вершинами Кастельнуово и Кампильи нависли тяжелые тучи.

— Никогда больше? Вы больше никогда не вернетесь? Я никогда больше вас не увижу?

Новые видения и новые крики возникали в ней от страха, что предсказание осуществится; но эти крики звучали в ее душе, и в ее голосе лишь едва слышалось волнение.

— И вы тоже, бедная добрая детка, разве вы не доста-

точно выстрадали? Вы снова готовы пережить такие же дни, как вот эти? Ведь лучше все, что угодно, только не здешний ад.

Она отвечала, не как существо из плоти, а как беспокойный дух, цепляющийся за свою любовь.

— Все лучше, чем ваше отсутствие, чем жить вдали от вас, чем быть забытой вами. Не видеть вас — хуже смерти. Я буду плакать, что этот ад кончился.

Ему хотелось закрыть ее рот той рукою, к которой она прильнула губами в подземной гробнице.

— Вана, Вана, что со мной станет, если вы будете так говорить со мной? Куда денется мое присутствие духа?

Она смотрела на все кругом умоляющим взглядом; она брала свое сердце и ставила его перед пространством, ставила его перед временем; она брала свое горе и заширала им дорогу, замуравливая горизонт, загораживала все тропинки.

— Зачем извлекли вы меня из этого мрака? Теперь вся земля пуста подо мною, и мне только хочется погрузиться в нее. Когда в тот миг иступления я искала вашу руку, я искала то, что должно было убить меня. Я была уверена, что все сразу кончится. Я была уверена в этом и думала: «Вот все мои несчастья прекратятся. Всему наступает конец. Ничего дальше не будет. Свет больше не засияет. Я не увижу ни одного ужасного лица». Клянусь вам, что я думала так в то мгновение, потому что таково было мое безумие. Я не могу объяснить вам, но вчера мне показалось, что свет оскверняет меня, что меня вырыли из могилы и бросили обратно в жизнь, как бросили бы лицом в грязь в одну из этих луж.

Она говорила совсем тихо, как в ту ночь, когда кругом царил молчок. От каждого слова Ваны росла его собственная мука, как будто бы новая боль проникала в нее и расширяла ее, приподнимая из ее глубины одну из тех сил, которые раньше делали его жизненную борьбу столь прекрасной. Паоло казалось, что опять наступила та ночь, что он слышит Вану в том же своем уединении, вооруженный тою же силой и тем же состраданием и что слезы, которые чувствовались под ее голосом, не увлажняя его, были те же, которые тронули его сердце

перед бездыханным телом друга, и были так дороги ему в его собственной скорби, лишенной слез. Расплывшееся было волнение снова стекалось внутри него и ширилось и заполняло его. Но, словно через непоправимую трещину, все существо его неудержимо истекало расплавленной массой, как-будто кровь, грудная клетка, даже самые органы дыхания обратились в какую-то текучую беспокойную стихию и покидая его, неслись, устремлялись куда-то вперед: по тому пути, по которому те двое исчезли из виду, потерявшись в сумерках.

— Я во второй раз переживаю тот момент своей жизни, который казался мне последним. И я не могу умереть, как я не в состоянии была жить, безмолвно жертвуя собою рядом с тем, кто не знает и знать не хочет. Я не могу умереть и не могу жить, и даже не знаю, где я теперь. Но где же мне быть, как не в том, кого я люблю? Позвольте, позвольте мне сказать это слово, позвольте мне сказать его, в первый и последний раз, без стыда и без надежды. Я не знаю, как оно отделилось от моего сердца, само собою, и поднялось и вырвалось наружу. Я люблю вас, люблю вас.

Она закрыла глаза, как будто ресницы ее загорелись от этих слов: она закрыла глаза, подняла подбородок, подняла все свое лицо оливкового цвета, обвязанное вуалью, как священной повязкой; это было лицо слепого и глухого существа, замкнутого в самом себе, которое не видит и не слышит ничего и не выпускает добычи; оно ухватило за нее всю силу своей души, как когтями, и не выпускает ее и не ослабляет своего обхвата, пока само не будет раздавлено и не погибнет.

— Я люблю вас.

Он посмотрел на нее, охваченный страхом, словно она перестала быть собою и отрешилась от всего земного; он воспринял это слово, и оно отдавалось в нем, уже не звуком, а принимало очертания определенного образа, принимало человеческий облик, навеки запечатленный. И то же слово предстало перед ним на другом лице, на лице ее сестры, когда она повернулась к нему на том же подеме под палящим солнцем. «Ты любишь меня? Ты тоже горишь? В тебе ничего не осталось, кроме

твоего желания? Забудь, забудь...» И он понял, чего он лишается, но не испугался того, что его ожидало. Неясное предчувствие волновалось в нем; и ему казалось, что достаточно ему было бы остановить его и вникнуть в него, чтобы найти ключ своей судьбы.

— Как отвечу вам? — сказал он; и Вана услышала в его мужественном голосе дрожь, трепетавшую для нее поверх всего прочего. — Как отделить мне от сердца единственное слово, которое я должен произнести?

Ее глаза широко раскрылись, и снова померкли; все в ней смешалось, как будто она теряла сознание и падала наземь. Мир завертелся вокруг нее, как водоворот, готовый поглотить потерпевшего кораблекрушение. «Какое это было слово? Неужели то же самое, которое она решила произнести? Мгновенная надежда обессилила ее. Боязнь счастья была бесконечно сильнее боязни мучений и смерти. Она подождала светлого проявления радости. Но голос умолк.

— Прощайте? — закричала она тогда, но это был не крик. — Это ваше слово? Прощайте?

— Вана, дорогая, дорогая сестричка, внутри меня царит молчание того часа, которое мы вместе вдыхали перед останками моего друга, когда вы положили букет роз на его сжатые ноги. Вы всегда будете жить в моем сердце среди этого молчания, которое было самым глубоким перерывом моей жизни. Я не буду примешивать вас ни к чему грязному и жестокому. Я буду защищать вас от себя самого. «Я тайная невеста того, кто лежит там за занавеской без дыхания». Как могу я нарушить тайну той ночи? Вы пролили слезы, которые я не был в состоянии пролить. И над вами осталось какое-то сияние, светящееся для меня одного и неугасимое: это его последняя улыбка.

Она слушала, опустив глаза к земле, к этой серой грязи, к колеям дороги: она не чувствовала нежности в его голосе, а сознавала только, что он отстраняет ее от себя, что он безвозвратно кладет между ними эту улыбку, эту тень, эти розы.

— Поэтому я не знаю, что бы я дал, только бы увидеть вашу улыбку, дорогая детка. Когда я гляжу на дождли-

вое небо, как вот теперь, с изредка просвечивающими сквозь тучи лучами солнца, я начинаю жажжать, чтобы появилась та радуга, которая явилась мне после его смерти, как его знамение. Когда я гляжу на ваши страдания, я бесконечно жажду вашей улыбки, которая для меня равняется той, которая в последний раз играла на его губах. Для меня вы — та часть доброты, чистоты и верности, которую судьба сперва уделила мне, а затем отняла; вы для меня воспоминание о самой моей непорочной радости, которую мой друг унес с собой невозвратно. Ах, если бы я мог освободить вас от ваших страданий, защищать вас от всяких несчастий, быть вашим бодрствующим далеким братом!

Она слушала, глядя на острые камешки, на кривую колею, на кучки глины, на которых следы воды расплывались, как жилки подмоченных листьев, как морщины на громадных лапах всеокрушающих гипопотамов. Мрачная печаль, жестокое угнетение, недвижная злоба сгустилась кругом. «Ведь я впервые поднимаюсь с цветком к небу. Как вы думаете, будет он легкий? Он, может быть, весит, сколько два человеческих жребия». Ах, конечно, он не подозревал, что одна роза могла весить столько. И зная, что жестокость способна сделать человека счастливым, он не знал, что нежность в состоянии до такой степени усилить и без того нестерпимую муку.

«Далеким!» Не ошиблась ли она? Но он шел рядом с нею, склонив голову, молча. Она слышала его шаги по рыхлой почве. Она ждала, чтобы он заговорил снова. Но молчание не нарушалось. Оба шагали безмолвно. Для него его последнее слово выросло из каждого следа, распространялось по уединенной равнине, достигало горизонта, сливалось с пространством, сливалось с бесконечностью, со всем, что есть отдаленного и не достигнутого. Звук гудка прорезал серый воздух. Они вдрогнули и обернулись.

— Починка кончена, — сказал он.

И тут они заметили, что вместо того, чтобы спуститься, они поднялись обратно.

— Мы вернулись к Вольтерре, — сказал он.

Она ответила с горечью и силой:

— К проклятию, к гибели.

Они передохнули немного, прежде чем продолжать путь. Они глядели на мрачный город, за грехи которого Господь столько раз карал огнем и мечом, голодом и моровой язвой. Внизу все было безжизненно, но в городе ураган не прекращался. Под крепостью кипарисы наклоняли свои верхушки, под Замком бушевали дубы. Пробегавшие тучи свидетельствовали о твердости стен, башен, ворот, которые сохраняли краску пожаров и кровопролития, цвет дыма и запекшейся крови. Преторская башня, почерневшая от серы и в испарениях которой задохлись Пекорино и Варлеттано, сброшенные пики и секиры. Громадный корабельный нос из кирпича, обращенный на восток мучителем-тираном Гвальтиери. Ворота Сельчи, открытые родственниками беглецов перед наемниками Федерико Монтефельтро. Ворота Арки, сжавшие между обеими створами Боккино Бельфорте. Ударом кулака Ингирамо Ингирами сбросил его с коня и велел скрутить веревками, как зверя. Ворота Сан-Франческо с тремя обнаженными зубцами, на которых повис барабанщик Марамальдо. Бастион Доччола, где, доводя до бешенства Фабрицио, день и ночь мяукали насаженные на длинные вертелы кошки. Тюрьма, возведенная на несправедливости и страданиях людей и разрушившая красу Катерины Пиккена, преследуемой призраком окровавленного пажа. Дома крепости, откуда из окон посыпались смертоносные камни — вслед за тем, камнем, что Луиза Минуччи, бросила пехотинцу вместо хлеба. Над каждым домом, над каждой башней, над каждой стеной, над каждой дверью реял фантом отваги, кровопролития, грабежа или измены. «Громите! Громите!» Денно и ночью ветер без устали подражал дикому воплю, столько раз леденившему сердце мрачного Города: «Громите! Громите!»

— Прощай, Вольтерра, — вздохнул Паоло Тарсис, взволнованный страстным и роковым видом городских стен над крутизною.

— Кто знает! Кто знает! — сказала Вана, снова замкнувшись в себя, став загадочной. — Может быть, вы вернетесь сюда, чтобы еще раз безуспешно поискать гирлянду желтых роз.

Они повернули назад и направились вниз к машине, готовой к отъезду.

— Может быть, — да, может быть — нет, — тихо прибавила невеста Тени с улыбкой, которая тоже могла быть последней.

Он молча снес колкость. Не говоря больше ни слова, он думал о неизвестном будущем, рисовавшемся в его встревоженном уме и исчезавшем вместе с дорогой; склонившись к рулю он стремился как можно скорее догнать ту, о чьей любви говорили изречение Лабиринта и загадочная эмблема Пауз.

В окрестностях Мойи из красных и черных труб за кипарисами клубился дым. Из-за вереницы тополей сверкнула Чечина в своем каменистом русле. Бесплодные известняки чередовались с колючим кустарником. Промелькнул холм Помаранче, покрытый слоем пещеристого песчаника, весь в выступах и впадинах. Показалась гора Черболи с конической вершиной, с отвесными склонами. Забелили испепеленные берега Поссеры, на подобие мрачной речки, в которой Филиппо Абджени¹⁾ глотает тину. Серный запах испарения горячих источников, свист и шум говорили о близости адской долины.

— Как они бежали! — сказала Вана, спускаясь с мотора на площадку.

— Они уже вошли в ад.

Паоло невольно ускорял шаги, опережая проводника, присоединившегося к ним. Густой, белый и теплый дым окутал их внезапно, ослепляя и одурманивая. Они остановились, запятались и схватились за руки, не видя, куда им ступить. Как будто вулкан гремел по близости; порыв ветра разрывал и разбрасывал тучи пара, открывая темные источники, кучи щелока и камней, струи воды и грязи. Затем тучи опять собирались и танцевали вокруг отверстий, раздираясь на перекладах, на громадных буравах, на проложенных по всем направлениям железных трубах, которые тянулись то по земле, то поднимались

¹⁾ Флорентинец, отличавшийся заносчивым и суровым нравом. Данте поместил его в числе прочих грешников, нарушивших заповедь смирения, в 5-ый круг своего Ада.

отвесно кверху, образуя лабиринт ржавых и оглушительных ревущих труб.

— Это ад.

— Они блуждали вокруг грязной ямы. Похожая на серый, крепкий и жирный навар, вода кипела, вздымая грязные пузыри, которые лопались, выбрасывая на желтый и красный берег хлопья грязи. Вода кипела и дышала, как будто в ней стонали и хрипели вязшие в иле грешники, — грешники гнева погрешивших гневом. Иногда пузырь вырастал до чудовищных размеров, приобретал силу потока, и казалось, что из брызг и пены поднимутся грязные люди, которые, сцепившись, станут калечить и разрывать друг друга.

Потом всеобщий шум заглушался невыносимым свистом от поднимающейся струи пара. Серный смрад заражал все дымное пространство.

— Это настоящий ад. Где они? Заблудились?

Они скитались от одного края к другому, от ключа к ключу, и не слышали своих слов, заглушаемых треском, уносимых ветром, ослабляемых дымом. Они спотыкались о черную и красную пемзу, об известняк, о расщелины, наполненные заросшей или потрескавшейся грязью. На печальных берегах — ни былинки, ни кустика, ни сухой ветки. Почва хрустела, крошилась под ногами, как вытекающие из плавильной печи выгарки железа, как покрытый золой мелкий уголь, падающий из очага. По временам из какой-нибудь скважины на них дышало зноем, словно из груди великана, придавленного скалою. Дымящийся ручеек крови пересекал тропинку: так окрасил его размытый проливным дождем кварц. Внезапный порыв ветра прибывал пары к земле, отгонял их обратно в скважины, сгущал в горных трещинах. И все смешивалось в густом тумане.

— Неужели они заблудились? Позовите их! Позовите их!

И прижавшись друг к другу, окутанные дымом, который заслонял от них все, и даже их собственную тревогу, так как он застилал их лица, они принялись звать. Им отвечали свист и клокотание ключей, вой подводного гнева. И наконец, из-за кипящего источника, из-за вихря

пара, который стлался по бесцветной яме, отозвался голос Альдо.

Они увидели смутные тени, приближавшиеся по краю сернистой ямы, слышали отрывочные слова.

Когда Паоло направился к ним на встречу сквозь про-свет в тумане, Вана ухватила за его руку и удержала его. Удержала его последними своими силами.

— Прощайте, — простонала она и затем склонилась к нему, теряя сознание.

Альдо и Изабелла были уже рядом с ними, как духи, вышедшие из адского вихря.

— Она в обмороке?

Они не слышали своих слов. Ветер окутывал их дымом, который проникал им в рот и глаза. Они принуждены были кричать. Их голоса слились в неясный гул вокруг неподвижного тела. А сдержанная злоба дула и редела кругом.

Чтобы унести Вану из этого ада, Альдо и Паоло подняли ее на руки: она больше ничего не видела и не слышала, и только одно слово отпечатывалось на ее узком лице оливкового цвета, обвязанном вуалью, как священной повязкой.

Они понесли ее сквозь туман, от одной ямы к другой, от источника к источнику, по грязной долине. Полил холодный и тяжелый дождь, от которого над кипящей водой как-будто за клубился еще более обильный дым. Им казалось, что они идут к новым пыткам, на встречу новым мученикам, как в каком-то сне о загробной жизни. За их неуверенными шагами шум все возрастал, точно грязные грешники все застонали в своих ямах.

— Вана! Вана!

Изабелла шла рядом с мужчинами. Наклонившись, она старалась защитить от дождя руками и краем платка бескровное лицо.

— Вана!

Склонясь к самой щеке сестры, она выкрикивала ее имя с ужасом, который возрастал с каждым шагом. И, нагнувшись, она ждала, чтобы длинные ресницы ожили снова.

КНИГА ТРЕТЬЯ.

1.

— Что за ужас! Что за ужас! — воскликнула Ориетта Малиспини, с грациозной ужимкой, пряча свои губки, круглые и алые, как земляника, в большой букет фиалок, приколотый на левой стороне груди, и такой высокий, что доходил до самой щеки, почти закрывая лицо. — Я всю ночь не могла заснуть.

— Ах, признаюсь, мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь меня полюбил, так сильно, — сказала Адимара Адимари, и по всему ее телу и, казалось, даже по ее жакетке из меха шеншиля, которая так отвечала своим цветом серым и теплым жемчужинам ее глаз, пробежала дрожь.

— Вплоть до катастрофы? — спросила Дороти Гамильтон с тем причудливым акцентом, который придавал комический оттенок каждому ее слову, по-мужски положив ногу на ногу и стряхивая пепел со своей турецкой папироски.

— Вплоть до катастрофы, но с условием, что она окончится благополучно.

— С Сальваторе... Серра-ди-Лубриано, новарским уланом.

— Долли, ты несносна.

— Я уверена, что, если бы Дриада могла возродиться из пепла, она безумно полюбила бы своего убийцу, — сказала Новелла Альдобрандески, не переставая ласково гладить себя, то проводя куньей муфтой под подбородком, то поднося к губам какой-либо из своих амулетов, целый пучек которых болтался на длинной цепочке, то поглаживая пальцами колено, выступавшее под бархатом юбки, краснобурого цвета, как и сами ее пылкие глаза.

— Не правда ли, Вана?

— Я не знаю, о чем ты говоришь, — сказала Вана Лунати, вздрогнув, когда услышала свое имя.

— Ты всегда падаешь с облаков, Ванина, — заметила Симонетта Чези, со смехом, от которого приподнимались углы ее крупного рта, что в совокупности с ее рыжей, непокорной шевелюрой делало ее похожей на маленького фавна, украшенного венком из сосновых веток.

— Какая-нибудь скрытая любовь. Все признаки на лицо.

— К кому? К кому?

— Любовь без взаимности. Ай, ай!

— Как любовь пастуха из Фонди?

— Разве вы не видите, что она обратилась в щепку?

— И с каждым днем темнеет.

— И ни с кем из вас она не откровенна?

— Со мной — нет.

— Со мною также нет.

— Со мною вовсе нет.

— Какие вы смешные! — сказала Вана с нетерпеливым смехом. — Разве я не была такою всегда?

— Дева в власнице.

Ее сдержанная скрытая ненависть дошла уже до крайних пределов. Она сидела здесь в низком кресле у столика, на который молодая хозяйка поставила чашку чаю, варенье и пирожки, среди цветов, смешивавших свой аромат с мягким теплым воздухом, одетая в черное кашемировое платье, которое тонкой полоской собольего меха и несколькими пятнами золота и синего цвета выдавали вкус Изабеллы Ингирами; но ее скрытая, притаившаяся душа жила в атмосфере иссушающего ужаса. Стремительные порывы рождались внутри Ваны, кружились, терялись. И одна вещь вставала перед ее глазами с такою же несомненностью, как вещи видимые и осязаемые. «Итак, это правда. Сомнений быть не может. Это правда, сущая правда», повторяла она про себя постоянно, подобно подвергшемуся несчастию человеку, который при первом ударе судьбы все еще надеется услышать: «Нет, неправда. Тебе это привиделось во сне. Приди в себя». И она, действительно, старалась уклониться от

этой уверенности, обращала все свое внимание на беспечных подруг, на жизненную суету, отпивала глоток чаю и улыбалась Симонетте; она старалась вообразить себя такою же, как вот одна из них, которая довольна своим красивым платьем, всецело заинтересована предстоящим большим балом у Ортенсии Серристоры и склонна лишь к жареным фисташкам с солью, и даже находит удовольствие в своей будущей свадьбе, которая должна положить конец одному увлечению. И она думала: «Как вы счастливы! Как вы счастливы! Как мало нужно, чтобы быть счастливой! И я тоже была бы счастлива, если бы я могла освободить себя от этой ужасной муки, если бы я могла принять какой-нибудь порошок, как при мигрени, и избавиться от нее, если бы я могла стряхнуть этот кошмар. Я стала бы петь сегодня, а завтра танцевать. Я стала бы снова красивой, как на персидской миниатюре. Как раз сегодня я получила прелестное бальное платье. Хотите, я опишу его вам, чтобы немного побесить вас? Никогда еще сестра не была так щедра по отношению ко мне...» Неудержимо, как лавина, груди страданий падала на ее нестройные мысли, всё разбивая и погребая под собою. Отчаянное желание сделать вред снова поднималось в ней и вызывало яростные образы: «Ах, нет, нет, я не могу молчать. Будь, что будет, но я обязана рассказать ему все, он должен узнать весь позор. А если он убьет их?» И она обводила подруг широко раскрытыми глазами, отчего те смеялись или приходили в изумление. Как светла и весела была в этот майский день комната, в которой Симонетта Чези, по случаю своих именин, угощала их чаем. Она была обита бархатистыми голландскими обоями, на которых Агата Вегериф мастерски подражает разнообразию мраморных жилок и полосок: брокателям, серовато-зеленым, фиолетовым породам, а поверх этого фона простыми геометрическими фигурами создает невиданные ритмически-движущиеся узоры. Повсюду на лакированных столиках строгого, энергичного рисунка — розы, гвоздика, гиацинты, орхидеи в стройных майоликовых вазах, блеском своим похожих на богатую эмаль. И в этой гармоничной современной обстановке — маленькие взрослые сфинксы с грациозностью ко-

шечек, готовых превратиться в тигриц, с нежностью молодых зверей, собравшихся поиграть и выпустить когти, с жаждою всего испробовать сахарными устами, говорящими о дикой страсти.

— Так ты и не знаешь, что произошло в Фонди, Вана? — не отставала Новелла Альдобрандески, желая во что бы то ни стало узнать мнение своей смуглой подруги насчет этой любовной мести, которая возбуждала ее древнюю кровь уроженки Мареммы¹⁾. — Нет?

— Расскажи, расскажи! — воскликнула Ориетта, прикладывая к щеке пучек фиалок и приготовляясь к удовольствию вторично выслушать страшный рассказ, и у нее словно было два лица: одно человеческое, другое из цветов.

— Ах, его слова! — с восторгом воскликнула Адимара. — «Если ты переломаешь мне кости, то найдешь во мне только себя; если перережешь жилы, то найдешь только себя; если расколешь череп, если вынешь сердце, — себя, только себя, вечно себя одну, повсюду, в жизни и смерти».

— Меня удивляет, что «порядочные» девушки позволяют себе выслушивать такие ужасные вещи! — проговорила Долли Гамильтон, подражая гримасе и тону блюстительницы нравов из странствующего цирка, и выпуская дым из своего вздернутого носика. — Вы хотите окончательно погубить свою «репьютэшн»?

Она произнесла последнее слово по-английски с такой забавной серьезностью, что все остальные не могли удержаться от смеха.

— Симонетта, — сердито закричала Новелла, — пошли ее прочь, пусть отправляется кататься на коньках.

Долли одним глотком опрокинула в себя чашку остывшего чаю и невозмутимо вставила новую папироску в свои янтарные губы.

— Какая великолепная декорация для трагедии — Фонди! — сказала Бианка Нерли. — Мой отец побывал там, когда охотился на Понтских болотах. Равнина, испещренная рвами и болотами, стоячее озеро, низкий город,

¹⁾ Низкая, болотистая местность (в Тоскане).

окруженный двойною оградой стен, нищета и лихорадки у самых ворот...

— Неистовому пастуху было двадцать два года, — сказала Новелла. — Его жертве — двадцать один. Звали ее Дриада ди Сарро.

— Что за странное имя!

— Она была красива и бесстрашна.

— Подумай, после его первой попытки похитить ее, она завела себе револьвер и стреляла из него в стволы дубов.

— Дня не проходило, чтобы он не преследовал ее и не угрожал ей.

— Он был прямо обуян любовью. Ходил к колдунам, чтобы те изгнали из него беса. Пил настойки из трав, но они не вылечивали его. Клара уже передала тебе его слова. Потеряв всякую надежду, не будучи в состоянии жить дольше, он стал думать только о мести.

— Слушайте, слушайте.

— В тот памятный вечер Дриада спала в деревенской лачуге с одиннадцатилетней сестричкой, с тринадцатилетним двоюродным братом и с восьмидесятилетней теткой... Это происходило в нескольких милях от Фонди. Было уже поздно, когда верхом прискакал ее молодой брат; близ двери он по тени узнал пастуха. Тот выстрелил в него два раза из ружья, чтобы он не мешал; первая пуля пролетела мимо, вторая убила собаку.

— Вообрази, он закрепил входную дверь веревками и досками, чтобы ее нельзя было открыть. А у лачуги, построенной из прутьев и болотных трав, был только этот единственный выход, не шире бойницы.

Спасшийся брат галопом унесся искать помощи у родственников, которые жили в другой лачуге, в двух милях оттуда.

Тогда пастух громким голосом позвал любимую девушку. «Дриада, проснись! Это я. Огонь за огонь!»

И поджог с четырех краев лачугу.

В одно мгновение все загорелось, все обратилось в костер.

И пастух зашел!

Он зашел любовную песнь, песнь отчаяния, и стал

прыгать вокруг костра, в то время как сквозь чащу спустились на помощь; но было уже слишком поздно.

Сквозь плач детей и хрипы старухи он различал вопли девушки, бившейся в заколоченную дверь; и отвечал на них пением.

Затем он стал отвечать только на завывание пламени, потому что никто больше не плакал, никто не кричал. Все четверо свалились на пол около двери, и превратились в кучу обуглившихся трупов.

— Ужасно! Ужасно!

Вана в нервном возбуждении склонила лицо к самой руке. Взволнованные и испуганные рассказчицы нагибались к ней, тяжело переводя дух в этой погоне за ужасными подробностями; их глаза сверкали, щеки были окрашены лихорадочным румянцем, словно на них падало пламя пожара, и одна только Долли, казалось, жалела их своими насмешливыми глазами, длинными и узкими, точно выглядывавшими из отверстия домино.

— На рассвете обуглившиеся кости были подобраны в золе, завернуты в платок и доставлены конвоем в Фонди, через всю чащу.

На полпути, навстречу им вышел на дорогу пастух, совсем один, держа в руках ружье, и потребовал, чтобы сверток был передан ему.

Ах, я уверена, совершенно уверена, что он различил бы в куче кости Дриады!

Но на него нацелились дулами карабинов.

Тогда он устремился на лошадь, которая везла ее останки, и успел схватить их: и без слов, без малейшего крика, свалился на них, пронизанный свинцом, и над ними испустил последнее дыхание, остался недвижим.

— Вана, Вана, как тебе это нравится?

Молодые девушки трепетали, слушая рассказ о неумолимой любви, как розы при приближении урагана, не подозревая, какая судьба их ожидает. Каждой из них казалось, что грубая рука прикасается к их нежному телу, что все они падут жертвами, добычей страсти. И они трепетали, обреченные на эту страсть, которая должна была опустошить их.

Вана встала и произнесла мертвенно-бледная:

— Здесь нестерпимо душно. Открой окно, Симонетта.

Самым острым был аромат белой сирени. В открытое окно глянуло весеннее небо, цвета зеленого моря, усеянное розовыми хлопьями.

— Ласточки возвратились! — воскликнула Симонетта.

— Где? где?

— Ты их видишь?

— Сейчас их пролетела маленькая стая.

Все подбежали к окну, испытывая в взволнованном сердце трепетание весны. Они выглянули на улицу, становясь полями и перьями своих шляп.

— Я ничего не вижу.

Стояла влажная, мягкая погода. Их щеки пылали. Сквозь юбку каждая чувствовала прикосновение ног по-другому.

— Новая луна! — воскликнула Ориетта Малиспини, словно открыла какое-то чудо. — Налево. Счастье для всех!

— Где ты ее видишь? Где?

Месяц едва обрисовывался на зеленоватом небе, настолько он был еще тонок, как сломанный браслет.

— Вот ласточки! — закричала Симонетта. — Вот они снова. Смотрите!

Тогда увлекаемая ужасной волной, бушевавшей в ее сердце, и Вана выглянула на улицу, касаясь этих свежих и здоровых тел своим иссушенным телом, своими костями, снедаемыми скрытым огнем, словно вязанка хвороста среди цветущих ветвей миндального дерева.

— Я вижу их, вижу, — сказала Адимара.

— И я тоже, — сказала Новелла.

Ласточки несли им привет из-за моря, весточку от далекого царевича, волнующее веселье, новую жажду жизни. Но для Ваны они были, точно стрелы, вросшие в рану, если их выдернуть сразу — они только усиливали ее муку. Для нее они прилетали не из-за моря, но с мантуанских прудов, с вольтеррских меловых гор, из глубины ее собственного кошмара, ее собственного ужаса. Никакая другая мелодия не могла бы так сильно взволновать ее, как этот беглый крик. От пережитого отделялись обрывки и обрушивались на ее душу, уничтожая все, как ла-

вина. Она была той же Ваной, что прислонилась к шкафу Изабеллы д'Эсте, касаясь головой резного дерева, и слушала, как летящие стрелы пронизывают ее от виска до виска и раздрают на части белое небо Вергилия. «О ласточка, сестрица ласточка, как может твое сердце быть полно весны? Твое сердце легко, как только что распустившийся лист, а мое — как истлевшая головня... Я не полечу за тобою вслед, пока еще ты помнишь, пока я не забылась». И ей снова вспоминались слова поэта.

И как будто эти разговоры и эти ласточки будили прошедшую жизнь, Ориетта начала просить, обнимая ее за талию и наклоняя ее лицо к своему букету фиалок:

— Ванина, Ванина, почему ты не споешь нам что-нибудь на прощание?

— О, да, да, спой!

Та начала головой, не высвобождаясь из объятия по-други.

— Хоть одну вещичку!

— Что-нибудь коротенькое-коротенькое.

— Новелла будет тебе аккомпанировать.

— Почему не пришел твой брат?

— Ведь он обещал.

— Прекрасный Альдо стал очень важным.

— Ну, будь добренькой, Ванина.

— Хоть что-нибудь.

— Песенку Шумана.

— *Frühlingslied*, Ванина.

— *Frühlingslust*, Ванина.

— *Frühlingsgruss*, Ванина.

— *Frühlingsfahrt*, Ванина.

— *Frühlingsbotschaft*, Ванина.

Она не сопротивлялась ласковым и просящим рукам, которые толкали ее к фортепиано. Все эти девичьи уста, может быть, уже познавшие поцелуи, а может быть и нет, пели ей как бы весеннюю литанию, прибавляя к варварскому слову ее нежное имя. Так как у молодежи шутки

всегда наготове, то голоса слились в странный хор, ударявший на первом слоге:

— *Frühlingsnacht*¹⁾, Ванина.

Она позволяла им ласкать и баюкать себя с видом жалящей себя больной девочки, отчего ее лицо оливкового цвета вдруг смягчилось. Казалось, она хотела сказать: «Держите меня так, не отпускайте, баюкайте меня, пока не пройдет моя болезнь, пока я не стану свежей, как вы, пока я не стану похожей на вас».

— Новелла, садись.

Теперь все суешились вокруг длинного хвоста белого фортепиано, на котором были изображены тонкие листья плюща, перевязанные золотыми ленточками. Они рылись в нотных тетрадках.

— Эту.

— Нет, эту.

— Эта более страстная.

— Эта более грустная.

— О, как мне нравится эта!

— Я сегодня не в голосе, — говорила Вана с томной снисходительностью, между тем как пальцы Новеллы бегали по клавиатуре, связывая, переплетая ноты с такою же грацией, с какой она постоянно прикасалась к собственному телу.

— Пой вполголоса.

Все замолчали, когда заметили, что она принимает обычную позу, сплетает за спиною пальцы, опирается всем корпусом на правую ногу, выдвигает левую немного вперед, слегка сгибая колено, и приподнимает худое лицо, из которого песнь выливалась, как источник живой воды, преодолевающий преграды. Легкая дрожь пробежала по слушательницам. «*Ueber'm Garten*²⁾»...

Первые ноты были слабы, как медленно разгорающийся огонь. Затем голос внезапно запылал, вся грудь загорелась им. В этом пении, в этих страдальческих устах, обнаруживалась вся звучность ее души. Она пела, как будто это была ее последняя песнь, как будто она про-

¹⁾ Весенняя песнь, радость, весенний привет, весенняя дорога, весть.

²⁾ «Над садом».

щалась с цветущей молодостью, окружавшей ее, со своей собственной молодостью, захваченной когтями судьбы. Она пела, как мученица перед смертью, как та мученица, с которой сравнивал ее брат: словно ее сейчас привяжут к колесу пытки. Она прощалась со своими подругами, со своей жизнью, с весной, возвращавшейся на землю вместе с ласточками. Она говорила: «Видите, какая я! Я такая же, как вы, такая же молоденькая: я вместе с вами лежала в колыбели. Моя мать была нежна ко мне. Мы росли вместе, деля игры, крики, смех и слезы. Видите, как чисты мои глаза, как волосы плотно прилегают к моей голове! Во мне жили великая чистота и великая сила. Этот голос должен был петь песнь моей жизни. Видите, какая я! Я непорочна. Никто не тронул, не поцеловал меня. Не было у меня любви, не было радости. Когда я становилась на колени рядом с Лунеллой и просила у нее белую картинку, я чувствовала себя таким же ребенком, как она. И мне, неведущей и безобидной, открылось что-то ужасное. Меня схватили за волосы и ударили о землю и заставили глядеть на то, на что нельзя смотреть, не теряя своих век навсегда. Видите, какая я! Я такая же, как и вы, а вы все вместе никогда не узнаете, даже если проживете сто лет, того, что я узнала за один день, за одну ночь, за один час, одно мгновение. Я созрела от одного взгляда, постарела от одного слова, осунулась от одного молчания. Мне больше не стоит жить. Когда я спущусь по лестнице, не знаю, куда я пойду, что буду делать. Я хотела бы петь так громко, чтобы кровь хлынула у меня горлом, чтобы вы подхватили меня на руки и унесли на белую постель Симонетты и засыпали этими цветами. Во мне таится зло, которое не прощает меня, и я знаю, что ничего не могу сделать, кроме дурного. Не оставляйте меня наедине с моим искусителем! Ах, зачем, зачем рассказывали вы мне о мести пастуха? Как я ему завидую! Он больше не страдает. Он успокоился. Видите, какая я! И, может быть, я пою, как он, в последний раз, вокруг ужасного костра. Ах, не отпускайте меня домой, где все жжет, загрязняет, отравляет. Позвольте мне побыть с вами, среди всех этих белых предметов. А я думала, что в мире не осталось

больше белизны. Окружите меня, как сейчас, обнимите, сделайте меня снова такую, какую я была раньше, устройте так, чтобы я забыла то, что знаю, избавьте меня от этого ужаса! Если вы отпустите меня, вы не увидите меня больше. Если я уйду, случится недоброе. Неужели я должна проститься с вами? Неужели эта моя прощальная песнь? Ах, я такая же молодая, как вы, и никто еще не прикоснулся ко мне, а какой я могла бы быть верной и нежной. И я поцеловала свою любовь только раз, но и то только руку, но и то в темноте подземелья...» Не таковы были слова в ее песне, но они неслышно звучали внутри нее, они были тем безмолвием, в котором отдавалась ее песнь, они были духом Пауз. И слушатели бессознательно приходили в волнение.

Они уже не просили, не выбирали песен. Вана сама лихорадочной рукой перелистывала тетрадку над клавишами, указывала Новелле страницу, переходила сразу от вопля любви к воплю страдания, от робкого стремления к жизни к громкому призыву смерти. Они все предавались очарованию, подчинялись ее силе, позами обнаруживая свою истинную сущность, до того времени скрытую под обманчивой грациозной внешностью. Они щекой опирались на ладонь, локтем на колено, складывали обе руки и подносили их к подбородку, как бы умоляя о чем-то, откидывали назад голову и раскрывали губы, словно пытка опустошала их грудь; их лица изменились, как будто исчез украшавший их обманчивый облик, и осталось только истинное отражение их душ: это были лица безразличных ангелов, колеблющихся между беспокойством их незавершенной природы и предвидением всех возможностей жизни. Они смутно чувствовали, что это был голос, подобный голосу их жизни, но силой страданий поднявшийся по неведомому им пути на вершину, к которой они тоже стремились, и пытающийся сброситься сверху в сторону мрака. Они смутно различали прощальный вопль, дышавший в произнесенных словах, и чувствуя, что море горьких слез, от колыбели до гроба волнуемое в каждом человеке и готовое хлынуть из глаз, сейчас, сейчас прорвет плотину, они старались сдержать его.

Вана перевернула страницу, почти резким движением;

а так как лист топорщился, она прижала его большим пальцем.

— Теперь последнюю, — сказала она.

Она немного оправилась, выпрямилась; теперь она казалась стройнее. Платком она отерла горячий рот, как бы готовясь к вещаниям, и снова приняла свою обычную позу. В комнате потемнело. Свечки пюпитра освещали ее подбородок. Большая ветвь белой сирени, в длинной стеклянной вазе опалового цвета, поднималась за нею, как знамя ее юной весны. Ее фигура казалась картинкой Лунеллы, но в другом роде: черной на белом фоне фортепиано. И подруги никогда не забыли этого образа.

Последняя песнь была короче остальных: медленная и важная, как хорал, мелодия, сопровождающая маленькие слова великой скорби; но ее краткость, казалось, отдавалась в бесконечном эхо. «Anfangs wollt' ich fast versagen¹⁾... «Ах, только не спрашивай меня, как! Не спрашивай меня, как!» — гласило молчание Пауз.

Все смотрели на нее. А она, до тех пор вся предававшаяся своим мукам, поглядела на них, обвела их всех поодиночке взором, и каждая из них запомнила ее лицо в это мгновение. И легкая дрожь заучала в ее голосе. «Aber fragt mich nur nicht wie²⁾»...

Тут слезы хлынули внезапно, потому что они уже давно держались на уровне глаз. И первой заплакала Адимара; затем Симонетта, а затем и все отдались своему чувству. И последняя нота застряла в горле, так как рыдание прорвалось и у Ваны. И все встали, и приблизились к Ване, и обняли ее, и плакали над нею; хотя и не знали сами отчего.

— Ванина, Ванина, зачем ты заставляешь нас плакать?

Она почувствовала, что они уже покидают ее, что они прощаются с нею, что каждую ждет ее собственная жизнь, что нужно спуститься на улицу, идти домой, окунуться в таинственную ночь.

— И ты, Долли! — сказала Ориетта Малиспини, утирая на щеке слезы своим букетом уже увядших фиалок.

¹⁾ Вначале я готова была отказаться»...

²⁾ «Ах, только не спрашивайте меня, как».

— О, нет, — ответила Дороти Гамильтон, поворачиваясь и зажигая папиросу о свечку пюпитра, на котором страница последней песни еще хранила след загнувшего ее большого пальца. — Поздно, сумасшедшие девушки, поздно. И я знаю, мне так попадет за это, что я вся подурнею, к великому огорчению моего плаксивого Вилло. Я должна была сопровождать к Айета на обед роскошные плечи моей родительницы.

— А мне к Руччелай к восьми часам! — сказала Новелла Альдобрандески, торопливо беря перчатки и муфту.

И каждая вспомнила, что ей надо спешить.

— Прощай, Симонетта.

— Прощай, дорогая.

— Благодарю тебя еще раз за гиацинты, Мара. Благодарю за орхидеи, Новелла.

— Ты идешь с нами, Ванина?

— А ведь меня ждет Fräulein с шести часов внизу в экипаже!

— Идемте, идемте.

Они целовались, сталкиваясь полями шляп, и поспешно отнимали руки, чтобы не скрестить их; и смеялись, а на ресницах еще сверкали слезинки:

— Прощай, Симонетта, — сказала и Вана, целуя хозяйку.

Рыжий фавн, увенчанный сосновыми ветками, отломил веточку сирени и всунул ее в руку певицы, а к руке приложился губами, с детской грациозностью.

— Поцелуй Изу и — выбрани Альдо.

Адимара спустилась по лестнице об руку с Ваной, которая несла свою веточку сирени.

На мокрой мостовой топтали нетерпеливые кони, захлопывались дверцы карет, звучали последние приветствия. И вся эта беспокойная молодежь рассыпалась по разным направлениям, в этот мартовский вечер, который тоже плакал дождевыми каплями и усмеялся звездами.

* * *

2.

— Вана, это ты?

Та вздрогнула в темноте коридора. Это был голос Изабеллы, услышавшей, как Вана вышла из своей комнаты. Сестры приобрели особую прозорливость, следя друг за другом. Нередко одна чувствовала присутствие другой, даже не слыша и не видя ее.

— Куда ты идешь?

— На улицу.

— Ты берешь с собою Лунеллу?

— Нет.

— Тогда я возьму ее с собою.

— Я иду к Симонетте.

— Войди на минутку. Здесь Альдо.

Из глубины комнаты донесся голос брата:

— Мориччика, я утром встретил Адимару. Она сказала мне, что вчерашнее торжество несравненных молодых девиц закончилось слезами. Ты пела будто бы с мучительной нежностью.

Входя в комнату, она сделала усилие, чтобы улыбнуться. Альдо лежал развалившись на диване. Ощущение небытия и отдаленности, которое так часто находило на нее за последнее время, возобновилось. Ей показалось, что не Альдо произнес эти слова. Он лежал перед ней в небрежной позе, но насторожившись, скрытый, замкнув свою тайну за ясным челом. Она слышала только тот его голос, который раздавался тогда среди дыма, около проклятых кипящих источников; она видела его таким только, каким он предстал ей у маленькой каменной двери, густо увитой черным плющом на фоне обвалившейся стены, под старой разрушенной башней, среди обломков, еще согретых летним зноем, в вечер безумия.

— Мы говорили о Шакале, — сказала Изабелла.

Этим мрачным именем они прозвали свою мачеху, вторую жену Курцио Лунати.

— Она не перестает надоедать мне, когда я бываю здесь. Я даже начинаю раскаиваться, что приехала сюда из Рима. Она, как прислуга, которую рассчитали,

занимается сплетнями на наш счет. И все пакости, которые проделывает отец, внушены ею.

Вана слышала только отрывочные слова, как бы из-за ежесекундно отворяющейся двери. Изабелла прохаживалась по комнате. И каждое ее движение отдавалось в боку, в груди Ваны, ударяло в лицо, подобно кулаку озверевшего врага.

— Знаешь, что? — сказала Изабелла, останавливаясь и глядя на сестру с каким-то лживым, двусмысленным и неестественным выражением лица. — Знаешь, что они еще придумали? Они упрекают меня в том, что я позволяю тебе выходить одной на улицу.

— А-а! — ответила Вана.

Она не могла говорить: ненависть душила ее; она не верила сестре, подозревая хитрую вылазку, ожидая предательского покушения.

Изабелла, повидимому, угадала враждебный порыв, потому что прибавила:

— Конечно, я только расхохоталась.

И она продолжала шагать по комнате своей раскачивающейся походкой, как-то особенно сгибая колени; она поддерживала свое тело на ногах, как человек, держащий в руках и взвешивающий неоцененную вещь и настойчиво подносящий ее к вашим глазам, чтобы заставить вас беспрестанно удивляться, беспрестанно чувствовать алчность. Альдо следил за каждым ее движением из под полузакрытых век; под его глазами были глубокие темные круги.

— Я ухожу, — сказала Вана, направляясь к двери, не вынеся ужаса своих видений. — Меня ждут.

Она пошла, как бы спасаясь бегством, пробежала по коридору, по передней, спустилась по лестнице, вышла из ворот, очутилась на свежем воздухе, на улице. Она вздохнула, словно проверяя существование своих легких, свою власть над собственной жизнью. Она пошла прямо вперед, устремив глаза в пространство, шагая по твердой мостовой, наморщив лоб, как бы желая собрать воедино всю свою настойчивую волю, вколоченную в нее клином. Она не смотрела ни направо, ни налево, но только вперед, стараясь не замечать прохожих, решив

не останавливаться, даже если по несчастной случайности встретится с кем-либо из знакомых. Она даже не вглядывалась в себя самоё, так как хотела избежать размышлений, колебаний, сознания мерзости своего поступка. Она думала только: «Он ждет меня. Пора. Я должна идти. Я иду». Она узнала улицу. Запах роз, белевших за решеткой какого-то сада, подействовал на нее одуряюще. Она вспомнила слезы своих друзей.

«Кто, кто сделал меня такою?»

Вот дверь. Она обернулась, удостоверилась, что на улице почти никого не было, кроме нее, и вошла.

Паоло Тарсис ждал ее. Он провел ее в большую комнату, обставленную темною кожаной мебелью; в небольшом камине из красной меди горел огонь. Он не старался скрыть свою тревогу.

— Что случилось? — спросил он, прежде чем она успела сесть и поднять вуаль.

Тогда она почувствовала, что все погибло. Вся ее смелость испарилась; клин, удерживавший ее волю, выпал, как простая гребенка из волос. От всей ее силы осталась только внутренняя дрожь и невыносимая горечь во рту.

— Дайте мне пить, — сказала она.

— Чаю?

— Нет, воды.

Странные образы, странные воспоминания мелькали в ее уме, и что-то толкало ее бредить, говорить бессвязные, неожиданные речи. Она вспоминала его слова о пище, которую ястреб хранит в своем зобу и выбрасывает, прежде чем улететь, когда на него нападает враг. Почему она вспоминала об этом? Она растерянно оглянулась кругом. На стенах висели гравюры и рисунки, изображавшие строение больших птиц. На загроможденном книгами столе она узнала портрет Джулио Камбиазо в рамке из черного дерева. Она подошла и наклонилась к столу с бурей в груди. Под стеклом ей почудилась улыбка, открывавшая маленькие детские зубы в этом немом, неподвижном изображении. «Если бы он был жив, сложились бы иначе моя судьба?»

— Может быть, он посылает меня, — сказала она и сразу же пожалела о своих словах.

Она посмотрела на Паоло и с ужасом заметила, что нетерпение уже не давало ему покоя.

— Садитесь сюда, Вана, садитесь.

— Никто не мог меня увидеть? — спросила она, подойдя к окошку, как будто бы она была осторожная дама, пришедшая на любовное свидание.

— Нет, не бойтесь. Здесь редко кто проходит.

— А если Изабелла пошла за мною, или послала кого-нибудь?

— Не думайте об этом.

— А разве она не может неожиданно явиться сюда?

— Нет, не может.

— Почему? Разве вы не свидитесь с нею сегодня?

— Да, но только попозже.

— Здесь?

— Но почему вы меня спрашиваете об этом, Вана?

— Я знаю, знаю, где.

— Что с вами сегодня? Вы — какая-то недобрая.

— Да, я — недобрая. Я не для того пришла сюда, чтобы быть доброй.

— Но садитесь, говорите же, наконец!

— Я хочу уйти. Пустите меня. Я больше ничего не скажу.

Он впервые видел ее такой ожесточенной и дикой. Она говорила, как бы давая волю гневу. Она была похожа на человека, обратившего свое сердце в камень, чтобы бросить его в лицо року.

— Он для этого вас посылает? — сказал Паоло, подавляя мучительное нетерпение.

— Кто — он?

Паоло указал взглядом на портрет в траурной рамке.

— Ах, да, невеста, невеста Тени! — резко вырвалось у нее со злобной иронией. — Для вас я только невеста Тени, где бы я ни встречала вас, где бы ни разговаривала с вами. Вы исключили меня из жизни, поместили рядом с дорогим вам покойником, на меня также навалили могильный камень, а ведь я была жива, у меня была душа, и сила, и чистота, и величественная гордость.

Вы исключили меня из жизни сердца, из жизни светлой, оставили для меня только молчание могилы... Ах, я помню ваши слова на Вольтеррской дороге, помню, с какою мягкостью вы отстранили меня... Вы хотели, чтобы я обратилась в улыбку, в неподвижное отражение улыбки... Возможно, что я сделаюсь, что я уже стала такою. Я умею улыбаться, как улыбался один камень, бывший раньше человеком, там, над Утесами, в Аббатстве, однажды вечером, когда моя мука была глубже бездонной пропасти. Я только что улыбнулась так сестре и брату... Вы исключили, похоронили меня, а жизнь мстит мне, и вам, и вашей владычице, и всем моим палачам: Все загрязнено, все гнило.

Ее исхудалое узкое лицо горело неукротимым возмущением. Она подняла руку к воротнику, так как собственная жизнь душила ее. Резким жестом вытащила булавки из шляпы, как-будто обнажая кинжал. Сняла шляпу, как в тот раз, на краю обрыва. Но теперь обаяние гибели было еще более действительно, и никто не мешал отдаться ему.

— В чем обвиняете вы меня? — сказал Паоло Тарсис, взволнованный ее грозной решительностью. — В том, что я поместил вас высоко на алтаре своих воспоминаний, что я сохранил вас такой, какой вы сами захотели быть?

— Я не обвиняю, не обвиняю вас. Я кричу, потому что все мои кости вопиют, как будто меня четвертуют, потому что это — единственная сила, сохранившаяся во мне, и я должна растратить ее, чтобы погибнуть. Не знаю, почему, но я только что припомнила ваши слова о ястребе, который выбрасывает свою отвратительную пищу, когда на него нападают, когда его ранят на смерть, даже после смерти. От ужасного запаха бледнеют и теряют сознание все подходящие близко. Не знаю, не знаю, почему я вспомнила это. Но у меня на сердце столько гнусности, столько мерзости, что я не в силах совладать с нею. Алтарь! Вы поместили меня на алтаре! Но кто был осквернен, обезображен больше, чем я? В Вольтерре, в маленькой деревенской часовне есть образ со следами трех камней, брошенных

злым прохожим. Там было мое убежище, место для молитв и обетов. Но где же чудо? И что в состоянии сделать любовь, если моя любовь ничего не достигла?

— Но что же, наконец, зависело от меня? Что могу для вас сделать я?

— Конечно, ничего, раз вы меня не любите, раз вы любите ту, другую. Вы хотите рассуждать, хотите убедить меня, что вашей вины тут нет? Но я вас не обвиняю, я даже, может быть, ничего не понимаю. Я ведь сказала вам, что кричу, чтобы успокоить себя. Вообразите, что вы ранили ястреба и должны вынести последствия его ужасных предсмертных мук. Я не возмущаюсь; пусть моя судьба свершится. Всякому преступнику даются три промедления, три предостережения, три испытания. Только после третьего раза — конец терпению. Для меня это — лишь третий раз, поэтому потерпите еще немного. Вообразите еще на минуту, что я живу, что у меня есть плоть и душа, что я — дышащее страдание... «Нужно отдать все, что имеешь», — повелевает божественное слово. И я отдала все и ничего не прошу; но разрешите мне прежде, чем уйти, громко заявить, что у меня ничего не осталось. В первый раз, на равнине, я не говорила о своей любви, а плакала только. Во второй раз, на грязной Вольтеррской дороге, я заговорила и получила ответ. Сегодня — третий раз. Разве я взываю о своем праве? Нет, я только прошу о снисхождении, которое дается самому последнему человеку. Разве я пытаюсь переложить свою муку на вас? Нет, вы чужды всему, вы безупречны: вы любите ту, другую. Но раз вы так чтите воспоминания, то я смиренно прошу вас припомнить, что однажды — правда, очень давно, — вы пошли навстречу моей любви, взяли за руку и приблизили ее к себе. О, да, я знаю: это было просто неоконченное движение.

— Кто может восстановить смысл движения, слова, молчания?

— Я не обвиняю, я только прошу снисхождения; простите мою назойливость. Иногда всем можно пожертвовать, чтобы восстановить смысл движения слова, молчания. Позвольте мне поговорить о моей любви.

Она действительно жила теперь напряженной жизнью, дышала упорной мощью; и густые волосы возвышались над ее лбом, как подушечка, которую кладут на голову, чтобы приподымать большие тяжести.

— Я не боюсь открыть вам всю свою правду. Кому признаваться мне, как не тому, кого я люблю? Это таинство. «Что сделала ты со своею душою?» И необходимо ответить. Кто прожил напрасно, тому нет прощения. Я все отдала. Я поддерживала свою отчаявшуюся душу надеждой, любовью к любви. Послушайте. В ночь вашего приезда в Вольтерру мы переговорили с сестрою, необузданно и откровенно. Сила моего сердца испугала, изумила ее. Три раза повторила она: «Сделай так, чтобы он полюбил тебя». Был ли это гордый вызов, который я приняла? Неужели я уверила себя в возможности победы? А что же я сделала, чтобы победить? Какими обольщениями я вооружилась? Послушайте еще вот что. Она спросила в ту ночь борьбы: «Ты думаешь, что любишь его больше, чем я?» И я ответила: «Не больше, чем ты, а я одна люблю его». Я перед тем уже взглянула в глаза смерти, склонившись над пропастью. И я захотела жить. Не я, а моя любовь хотела жить во мне. Я родилась только для этой любви. Я вся, от головы до ног, была создана для нее. А что же я сделала, чтобы привлечь вас? Я простилась с вами над кипящими ключами. И с тех пор я оставалась вдали от вас, так как сказала вам: «Прощайте». Но мне порой казалось, что есть святость в горении, в одиноком безнадежном горении. Кто-то сказал, что огонь живет. Как я понимаю, как я чувствую справедливость этих слов. Целыми днями гореть, с одним лишь облегчением — вздохами; дни жертв, когда все, что приносилось, сгорало...

Ему было страшно глядеть на нее. Он схватился за голову и уставился глазами в полупотухший огонь в камине.

— Но разве я в силах была победить? Она сказала мне в ту ночь: «Разве не та любовь сильнее, что одерживает победу?» Ах, неправда. Я все отдала, чтобы узнать это. Она бросила мне вызов: «Он с ума сходит

из-за меня». Да, что-то мутное и недоброе сводило и сводит вас с ума. Я одна любила, я одна люблю вас. Но, как и теперь, вы не замечали меня; вы не замечали меня, не замечали обмана...

Он внезапно обернулся. Она остановилась, растерялась. И показалось, что великая молния сверкнула в бледной тишине.

Он посмотрел, взгляделся в нее, как умел смотреть на людей, прежде чем покорить их. Это слово могло означать разоблачение, но могло быть просто оговоркой, оно могло иметь значение и могло не иметь его, но по ее лицу он узнал, что руководило ею, какая была причина ее тайного посещения, ее просьбы о разговоре. Он ухватился за действительность и больше не выпускал ее: сестра пришла обвинять сестру. Но и он в свою очередь был схвачен какими-то тисками, которые крепко сжали его. Все остальное отошло вдаль, куда-то исчезло. Мучительная исповедь этого существа утратила для него всякое значение, как полупотухшая головня на каминном тагане. Звериный инстинкт самца овладел этим одурманенным человеком. Ване показалось, что из-под человеческих век за ней следят светлые зрачки притаившегося зверя.

Он сдерживался, чтобы не испугать ее. А она потеряла всю негодующую отвагу, всю силу своих упреков. Теперь она была в опасности, и ей надо было спастись.

— Продолжайте, Вана, — сказал он, понизив голос, чтобы ослабить его дрожь.

— Я больше ничего не знаю.

— Вы бросили намек и хотите промолчать. Это недостойно вас.

— Почему? Что же я такое сказала?

— Вы начали говорить об обмане.

— О каком обмане?

Она несвязно бормотала, все больше путаясь под светлым взором притаившегося зверя. Он вскочил со стула и взял ее за руки. Он не сжал, не встряхнул их; но от него веяло такою страстностью, что она почувствовала себя разбитой на мелкие кусочки.

— Говорите, Вана, вы должны.

— Ах, не заставляйте меня сделать что-нибудь дурное!
 — Зачем же вы пришли?
 — Потому что и я схожу с ума.
 — Не отпирайтесь, не отпирайтесь. Разве вы уже не сказали?

— Что я сказала?
 — Разве вы не для того пришли, чтобы доказать, что только вы любите меня?

Он говорил тихо, держа ее холодные и влажные руки, впиваясь в нее глазами. И она увидела, как с его губ слетели последние слова, и почувствовала, как они проникли в нее, подобно неожиданному опьяняющему напитку.

— Да, только я, — ответила она, охваченная смертельной истомой.

Теперь она была в его власти. Звериный инстинкт подсказывал ему хитрость. Он мог все, что угодно, извлечь из ее замешательства. И что бы еще сильнее взволновать ее, он заговорил еще более загадочно; он оплел ее пальцы своими пальцами, чтобы держать ее в своей власти; вплотную приблизил лицо, еще больше понизил голос, чтобы создать заколдованный круг.

— Вы, только вы.

— Да, только я.

Она закачалась, так как колени подгибались под ней, но он поддержал и усадил ее; и стал перед нею на колени. Она находилась, как бы в промежуточном состоянии сна и бодрствования, подобно путешественнику, засыпающему в пути и вздрагивающему и пробуждающемуся при каждом толчке экипажа.

— Говорите, говорите же, Вана.

— Но ведь это дурно?

— Нет, отбросьте колебания. Судьба послала вас, чтобы вы освободили меня.

— Ах, вы слишком любите ее!

— Любви больше нет.

— Вы уверены в этом?

Она вся вздрогнула.

— Нет, нет, это ужасно. Это ведь не может быть правдой? Неужели это мыслимо?

Она широко раскрыла глаза. У ее ног томилось бледное, истерзанное лицо, словно, тряпка, скрученная грубыми, и крепкими руками.

— Говорите же, Вана, говорите!

Он чувствовал, как ее руки становились все более ледяными и влажными.

— Поклянитесь, — взмолилась она в ужасе, — поклянитесь, что, когда вы узнаете, вы ничего не сделаете ни ей, ни кому другому.

— Да.

— Поклянитесь, что вы не свидитесь с ней вечером, не станете искать ее, уедете далеко...

— Да, да.

— ...Что вы не станете искать его ни теперь, ни потом.

Его язык был сух, как кусок трута; он весь высох, от губ до самой груди.

— Его, — сказал он, еле шевеля губами — его...

— Нет, это ужасно. Это чудовищно...

— Альдо?

И она упала на его плечо. Он оттолкнул ее, вскочил на ноги. И в продолжении нескольких мгновений вся его жизнь бушевала, как праща, вокруг его головы, охваченной пламенем.

Как бы погрузившись в глубокий сон, прерываемый невольными вздрагиваниями, но испытывая томление любви под оболочкою ужаса, жадно предаваясь силе, которая овладевала ею, предчувствуя близость какого-то чудодейственного превращения, она дождалась этой минуты. «Любви больше нет», сказал он. Среди тревоги и мрака какой-то дух чистосердечной юности, еще таившийся под всей гнусностью жизни, откликался: «Вот я развязала тебя. Вот ты свободен. Ты уже раз обращался ко мне, теперь ты вернулся и узнаешь меня. Может быть, ты уже любил, может быть, ты никогда не переставал любить меня. То мутное и недоброе не удерживает, не загрязняет тебя больше. И достаточно мне коснуться твоих висков, чтобы истребить в тебе все, даже чувство омерзения, чувство презрения. Я исцеляю, я утешаю, я возрождаю тебя. Не знаю, ты ли уносишь,

далеко уносишь меня, или же это я похищаю, укрываю тебя. Изю всех островов, что отражаются в твоих глазах, изю всех берегов, который всех дальше, который всех прекраснее?» Как и тогда ночью в Вольтерре, любимый человек казался ей жертвой волхвования, опутанным злыми чарами и ждущим от нее освобождения. Он ведь сказал ей: «Судьба послала вас, чтобы вы освободили меня», а не: «Он посылает вас». Наконец-то он раскрыл гробницу, отвалил от нее могильный камень.

И с какою грубостью он вдруг отталкивал ее! Он отбросил ее резким толчком на спинку кресла, как что-то презренное и ненужное, как запачканную тряпку, которую надо выбросить. Вся комната для нее была исполнена чудовищным ужасом и страданием. И теперь, когда дурман испарился, его слова и поступки предстали перед ее женскими глазами такими, какими они были на самом деле: предательской игрой, направленной на исторжение тайны, безжалостной, злой, бессовестной игрой. Она выпрямилась, как бы движимая гневом и гордостью; выпрямилась и широко раскрытыми глазами глядела на проявление его страсти, на его звериные муки.

Словно невидимые когти, невидимые клыки впились в его твердое тело, проникая до тканей, хранящих нечеловеческие страдания. Это было какое-то бескровное терзание, обнажавшее самые глубокие тайники непроницаемой массы, обреченной на падения, муки, воспоминания.

Неужели он любил ту до такой степени? Неужели так глубоко пустила она в нем корни? Кто мог теперь вырвать ее из его жизни?

Он снова подошел к Ване, уже готовый защищаться; у него было свирепое выражение лица.

— Не трогайте меня, — закричала она бессознательно.

Он отдернул руку. Голос у него был хриплый.

— Я не трогаю вас. Но говорите!

— О чем?

— Как раскрыли вы эту гнусность?

Снова мятежная решительность загорелась на иску-

далом узком лице. Никто не жалел ее, и она никого не жалела.

— Разве это не моя судьба — видеть постоянно то, что должно остаться в тайне? Вы знаете кое-что об этом.

— Вы видели?

— Я угадала, увидела, услышала.

— Что именно?

— Не трогайте меня! — закричала она еще раз, отступая назад; дикое отвращение охватило ее.

Нет сомнения, изю всех ее мучительных откровений это последнее было самое грубое; никогда она не видела более жестокой низости и гнусности, чем в судорогах этого лица, которое она любила, в котором она сосредоточила весь свет своей жизни... Воистину, воистину, она могла теперь произнести божественное слово: «Свершилось», и умолкнуть.

— Что именно? — глухо повторил он.

Она не отвечала. Легче было бы заставить говорить эти стены, эти стулья, любую из этих темных угловатых вещей, расставленных кругом, как враждебные утесы, чем распечатать ее уста. Она надевала шляпу, вуаль, не торопясь и не давая воли своей слабости. Он снова стал шагать по комнате, терзаемый незримыми когтями и клыками. Он опять подошел к ней и показал ей свое лицо, которое как-будто окунули в самую отвратительную грязь жизни и вытащили затем искаженным и мерзким.

— С каких это пор? — грубо спросил он.

Она не отвечала.

— Идите же, идите в таком случае! — закричал он вдруг вне себя, дыша только необузданною яростью.

Она бросила беглый взгляд на портрет в траурной рамке; опустила вуаль; направилась к двери и открыла ее. Он окликнул ее.

— Вана!

Она не обернулась, прошла по корридору. Слуга проводил ее до лестницы. Она шагала твердо, словно все тело ее окаменело, напрягая всю свою волю, готовая сопротивляться каждому; ей казалось, что чья-то рука может вдруг схватить ее за плечо и удержать ее. Она очутилась на тротуаре. «Свершилось». Она пошла пря-

мо вдоль стены, мимо решетки с розами. «Желтые розы», заметила она. Не останавливаясь, она сорвала одну розу, висевшую на уровне руки: но цветок уже увял и сразу осыпался. Она воображала, что улыбается, но ошибалась. «Вивиано, Вивиано», подумала она, «я надеялась, что увижу тебя еще раз, что мой последний привет будет тебе, добрый друг».

Проходя мимо облупившейся стены, по которой скользила ее тень, она вспомнила опять исхудалое привидение, которое отделилось от стены, в Аббатстве, как одна из тех выцветших фигур, что виднеются еще на штукатурке рядом с белым конем. «Улыбка в камне. Кто знает, что ты встретил в своей жизни! Но у тебя нет возраста! А мне двадцать лет, и я знаю слишком много. Ты окаменел, ты — изваяние и больше не меняешься. Ужасный зверь не предстанет неожиданно перед тобою лицом к лицу». Она морганием век старалась отогнать образ зверя, исказившего лицо любимого человека и беспрестанно воскресавшего в глубине ее зрачков. Этот образ еще волновал, ужасал ее. Но ей казалось, что она почти перестала бы страдать, если бы ей удалось стереть его, как будто в ней уже больше ничего другого не оставалось. Ее душа как бы перевернулась, и все губительные мысли, которые душили ее, опустились на дно, а их место заняли мысли непорочные, далекие, обвеваемые дыханием бесконечного покоя. «Все свершилось. Все исполнилось».

На небольшой площади Вана увидела пролетку, запряженную белой пожелтевшей лошастью; наклонив голову, защищенную шорами, лошадь стояла на своих кривых ногах с видом усталым и грустным.

— Прикажете? — спросил лоцмен и краснолицый кучер.

Она ступила на подножку.

— Куда ехать?

Она хотела сказать: «В Аббатство», но дала адрес Симонетты Чези. Белая лошадь побежала рысью, прихрамывая, и ее длинная, исхудалая спина при каждом шаге нагибалась налево. Чтобы не смотреть на нее, Вана подняла глаза: увидела красноватое солнце над карни-

зом особняка, бледное небо, словно усеянное перьями, большое дерево в цвету за оградой сада. Она поискала глазами летящую ласточку, гнездо ласточек под крышей, но напрасно. «Симонетта, Симонетта, что скажешь ты завтра? Заплачешь снова? Ах, если бы ты знала, как много зла причиняет любовь и тем, кто любит, и кто не любит? Это знает и пастух из Фонди, знает и Дриада. Господь да сохранит тебя, веселая сестричка!» И затем она назвала кучеру другой, свой собственный адрес. Она откинулась на спинку сидения, взглянула на небо, вдохнула весну, поискала, нет ли где под крышею ласточки. И тревога опять охватила ее и сжала ей сердце, взволновала душу, и жестокие мысли снова начали душить ее. «Изабелла ушла уже? Она пошла туда, где он ждет ее? И что случилось? Что, если он убьет ее?..» И вздрогнув всем телом, она вспомнила сжатые руки, протянувшиеся к ней, но не тронувшие и не посмевшие ее тронуть. «Зачем я сделала это? Чтобы отомстить? Но месть это — радость. А какая у меня радость? Я сделала ведь это для того, чтобы доказать, что только я люблю его? А мне кажется, я разлюбила его. Или я сделала это, чтобы принудить себя умереть? Да, погрузиться лицом в самую глубь жизненной грязи, это тоже род смерти.» И ее глубокое неведение тянулось из-под оболочки ее мрачного знания к тайне, которая опутывала два существа одной с нею крови. «Изабелла ежедневно ходит к нему, и Альдо знает это. Иногда она остается там долго, возвращается среди ночи или только к утру, и Альдо знает это». И ничего не понимая, она с отвращением и страхом старалась отогнать безобразный кошмар. В окне цветочного магазина она заметила букет желтых роз, обвитый сухостебельником. Она задержала экипаж, сошла и купила цветы. Она крепко сжимала стебли обеими руками. Неожаснимый ужас жизни опять побуждал ее искать защиты у Тени. Ей представлялась, как живая, улыбка Джулио Камбиазо, его мелкие и чистые детские зубы, и она чувствовала, что никто не был так близок и нежен к ней, как этот человек. Ей стало стыдно, что она могла на миг возмутиться против его покровитель-

ства из-за гроба. И она повторила слова, сказанные около Аббатства: «Скоро, скоро приду».

И тогда все случайные предметы — эти розы, белая лошадь, облупившаяся стена, исчезновение ласточек — получили для нее значение конца. И с этого момента все стало знамением, прообразом и приобрело роковой смысл.

У дверей дома она велела остановиться. Узнала от привратника, что Изабелла вышла, и что Лунелла уже вернулась. Она поднялась в комнату сестрички. Услышала голос мисс Аймоджен, читавшей на родном языке припев старой легенды. Остановилась и заглянула в комнату, оставаясь незамеченной.

Лунелла сидела у окна, как молодой паж, в желтом бархатном костюме с широким кружевным воротником; густая шапка ее волос сдерживалась бантами у висков. Из листа бумаги она вырезала свои картинки. У ее ног на золоченом стульчике сидела Тиа, в пышном наряде, который скрывал все ее раны и увечья, вся в шелку и кружевах, словно миниатюрная инфанта. И Мисс Аймоджен, худощавая и светловолосая, стоя у окна с книгой, читала мелодичным голосом, понравившимся в свое время Изабелле, тенцону Матери с Сыном. «Когда же вернешься ты с чужбины, о сын мой, радость моя, скажи, скажи мне, когда же вернешься ты с чужбины? Ведь у меня нет никого, кроме тебя». — «Когда заря загорится на севере, о милая Мать».

Затаив дух, Вана выглядывала из-за складок портьер. В светлой комнате все дышало спокойствием: стол, пиитр, полка с книгами, грифельная доска, на которой еще оставалась начерченная мелом геометрическая фигура. Лунелла вся отдавалась своему искусству, по временам вытягивая нижнюю губу, если линия оказывалась трудной, проворными пальцами направляя послушный ей лист бумаги. При каждом ответе сына она на мгновение приостанавливалась, приподнимала густые брови, бросала взгляд на книгу. Так как она сидела в пол оборота к свету, Вана видела, как в ее глазах орехового цвета горели топазы. «Когда заря загорается на севере, о сын мой, радость моя, скажи, скажи мне, когда

заря загорается на севере? Ведь у меня нет никого, кроме тебя». — «Когда камни плывут по морю, о милая мать».

В течение краткой паузы сердце Ваны словно перестало биться. Сестричка делала удивленное лицо, как будто не сразу понимая причудливые выражения, скрывавшие ужасающую весть, и затем снова склоняла голову на бок, принималась за свою тонкую работу, не подозревая о том, что нависло над ее шевелюрой великолепного ангела.

«Когда камни поплывут по морю, о сын мой, радость моя, скажи, скажи мне, когда камни плывут по миру? Ведь у меня нет никого, кроме тебя». — «Когда перья станут тяжелее свинца, о милая мать».

И уже не властная мысль о смерти, но самый холод смерти спустился тогда на несчастную, которая из-за портьеры следила за этой ни о чем неподозревающей жизнью. Она вся поledenела от головы до ног. Стала как бы неподвижным привидением. Ей не казалось, что она близка к смерти, — ей казалось, что она похожа на покойника, который возвращается в свой дом, и не замечаемый никем видит, как близкие существа спокойно живут под угрозой неминуемых бедствий.

«Когда перья станут тяжелее свинца, о сын мой, радость моя, скажи, скажи мне, когда перья бывают тяжелее свинца? Ведь у меня нет никого, кроме тебя». — «Когда бог будет судить живых и мертвых, о милая мать».

Она раздвинула портьеру и сделала шаг вперед. Лунелла обернулась, уронила бумагу, вскочила, побежала ей навстречу, обняла ее и погрузила лицо в розы.

— Это для меня? Для меня? Для Форбичики?

— Нет, эти нет.

— Почему?

— Потому, что они желтые.

— Что ж в этом?

— Они для меня, для Моричики.

— Все?

— Да, все.

— Дай мне одну!

— Пусти меня сесть, я так устала.
 — Почему ты устала?
 — Весна утомляет. Разве ты этого не замечаешь?
 — Она усыпляет меня. Мне так хочется спать. Я сплю даже с открытыми глазами. Дай мне одну розу!
 — Нельзя.
 — Почему нельзя?
 — Потому, что одна роза... приносит несчастье.
 — Кто сказал?
 — Я говорю.
 — А почему ты говоришь это?
 — Потому что знаю.
 — А откуда ты знаешь?
 — Слушай. Одна девочка, — ее не звали Лунеллой, но она была нежна, как Лунелла, — пустилась однажды в путь из дальних-дальних стран, с края земли, из места по имени Мадуро, где был бог, которого звали Вишну; она пошла одна-одинёшенька, босиком, чтобы отнести розу, желтую розу. И она принесла и подала ее; но тот, кто взял ее, сразу же умер.
 — О, нет!

Загадочная сила крови! Это восклицание было как бы возвращающееся эхо, как отзвук, принесенный ветром откуда-то из глубин жизни. Вана слышала свой собственный голос в этих двух слогах, себя самое в отдаленную минуту. Это из святилищ рода поднимался голос, оттуда, где заложены самые легкие знаки сродства, легкие и в то же время более верные, чем любое внешнее сходство, и обнаруживающиеся иногда в выражении лица, в звуке, жесте или взгляде.

— Сестрица, сестрица, почему ты так похожа на меня? — сказала Вана, не будучи в силах скрыть охватившее ее волнение.

И она страстно прижала к своей груди дрожащую девочку и не выпускала ее. А та не пыталась высвободиться из теплых, нежных объятий; прикуринула, стараясь как можно лучше примоститься, чувствуя, как от рук сестры по ее телу растекается материнская ласка, и Вана тоже казалось, что из ее девичьей груди поднимается эта теплота, вызывая в памяти мать, которая ла-

скала их обеих в счастливые годы детства. «Когда же вернешься ты с чужбины, о сын мой, радость моя, скажи, скажи мне, когда же вернешься ты с чужбины? Ведь у меня нет никого, кроме тебя». — «Когда заря загорится на севере, о милая мать». Не слова, а мелодия припева растекалась по сердцу Ваны и, может быть, по другому маленькому сердцу. Синева сгущалась за оконными стеклами, тень забиралась в складки портьер, в углы, под двери; городской шум только смутно доносился до этого молчаливого места. «Когда камни поплывут по морю, о милая мать».

Вана заметила, что Лунелла уснула, и сердце ее болезненно сжалось. Она не шевелилась, не делала ни малейшего движения. Когда Мисс Аймоджен показалась в дверях, Вана глазами сделала ей знак не подходить. Та удалилась. Девочка спала у нее на коленях, положив щеку на ее плечо. Она ощущала запах и теплоту ее волос, ее спокойное дыхание, осязаемое изящество ее тела. Она вслушивалась в тишину, поглощающую все, как глубина морская. «Когда перья станут тяжелее свинца, о милая мать».

Становилось темно. Голубое небо за окном принимало фиолетовый оттенок. Вечерняя звезда уже сверкала, быть может, над самым высоким кипарисом в саду. Первая волна вечернего благовеста наполнила до краев ее душу. «Когда бог будет судить живых и мертвых...» И эта же волна поднималась до глаз, готова была прорваться. Но она сдержала и заставила ее отхлынуть, чтобы теплые капли не покатались на Лунеллу и не разбудили ее. «Ах, заснуть, заснуть, ничего не знать, забыть все, погрузиться в спокойствие, не просыпаться больше». Она вспомнила свою мысль, что достаточно ей было бы опустить голову на грудь одного жестокого человека, поплакать немного, заснуть и больше не просыпаться, чтобы быть счастливой и вечно благодарной Небу за то, что оно даровало ей жизнь. А теперь сестричка именно так уснула на ее груди, и Вана казалось, что она сама припала к груди матери, до которой доносился все тот же загадочный и безнадежный ответ.

Колокола звонили; мрак становился все глубже; Лунелла ровно дышала. И сон распространялся от ее нежного, любящего тела. «Пока еще ты помнишь, пока я не забылась». Веки Ваны начинали слипаться, и ее дыхание сливалось с дыханием Лунеллы. Время шло.

Вдруг крик ужаса раздался в темноте; другой крик ответил ему, так как и Вана испугалась в просонках, когда Лунелла, вся дрожа, ухватила за ее шею.

— Ванина! Ванина!

Она вопила, как будто умирала или присутствовала при смерти другого, вопила, как тогда во мраке подземелья.

Вбежала испуганная гувернантка, зажгла огонь, увидела прижавшихся друг к другу бледных сестер.

— Боже мой! Боже мой! Что случилось?

— Ничего, ничего. Лунелла проснулась и испугалась темноты.

Девочка еще дрожала всем телом, да и Вана не удавалось подавить волнение.

— Сколько времени прошло? Уж поздно? Какой час?

— Почти девять часов, — сказала гувернантка.

— Так поздно уже? Тебе нужно поесть, пообедать, детка.

— Не уходи, Ванина, не уходи! Остайся со мною весь вечер.

— Я еще не переодевалась. Я сейчас вернусь.

— Не уходи.

— Говорю тебе, что я сейчас вернусь.

И она поцеловала встревоженную сестричку, взяла букет и направилась к двери.

— Ванина, ты сейчас вернешься?

— Сейчас.

Девочка проводила ее до порога. Вана побежала по корридолу, так как не могла дольше сдерживать рыдания.

Она спустилась по лестнице к себе, никого не встретив по дороге. Весь дом был пуст и мрачен. Она позвала:

— Франческа!

Горничная не ответила ей. Тогда она позвала другую:

— Киара!

Она вошла в свою комнату. Положила цветы у изголовья. Не выдерживая охватившего ее волнения, она вышла, побежала на половину Изабеллы. Крикнула:

— Киара!

Та откликнулась из спальни.

— Изабелла не вернулась?

— Нет, синьорина. Она дала знать, что не вернется, чтобы ее не ждали.

— Каким образом она сообщила?

— По телефону.

— Откуда?

Горничная наклонила глаза с виноватой улыбкой.

— Она сама говорила? Вы слышали ее голос?

— Да, синьорина.

— В котором часу?

— Полчаса тому назад.

— Хорошо.

Болезненная судорога передернула ее лицо, так что горничной показалось, будто она смеется. Это было ужаснее, чем предсмертная рвота ястреба.

— А мой брат вернулся?

— Вернулся, переоделся и ушел снова. Он дома не обедал.

— Где Франческа?

— Вероятно, в гардеробной.

— Позовите ее, пусть разделет меня.

— Может быть, вы позволите мне?

— Нет.

Ей стало неприятно. Это была та же манера, тот же голос, что и в Бреше, в памятную ночь. Как могла бы она позволить этим рукам дотрагиваться до нее?

— Что вам угодно на обед?

— Ничего.

— Вы не будете обедать?

— Мне не хочется.

— Вам нездоровится?

— Позовите Франческу.

Горничная вышла. Вана осталась одна в громадной комнате, обитой зеленым дамаском и пропитанной духами жасмина, как летом в саду в Вольтерре. Большая постель была приготовлена; длинная, мягкая и прозрачная рубашка лежала на отвернутой простыне, окаймленной кружевами. Бесчисленные хрустальные, металлические, костяные предметы сверкали на туалете: флаконы с духами, коробочки с помадой, гребешки и щетки разной твердости, в шкатулках и вазочках — инструменты и тайные средства, предназначенные для культа торжествующего тела, для искусства, превосходящего разнообразием и тонкостью все другие искусства.

В последний раз сила ненависти создала во весь рост колышущуюся и извивающуюся, как злой угорь, фигуру сестры. «Она победила, победила еще раз! Конечно, еще раз она опьянила сладострастьем и ложью рычащего зверя! И осталась невредимой, час опасности миновал для нее. Слепленный гневом, он не затоптал ее ногами, не выбросил на улицу, а поверил, убоился и снова принял ее, к бешенству и позору доносчицы». Постыдные образы угнетали несчастную. Она увидела снова звериное выражение на лице человека, которого любила превыше жизни и смерти. И дикое отвращение породило в ней силу; спина выпрямилась, решительность заклокотала в ее душе; исхудалое узкое лицо загорелось гордым презрением, под густой шапкой волос, напоминавшей подушку, которую кладут на голову, чтобы приподымать большие тяжести.

Вдруг она вспомнила, что она безоружна, и что ей нужно верное оружие. И, следуя ясному воспоминанию, она поискала кругом и обнаружила, наконец, то, что искала: турецкий стилет с халкидоновой рукояткой, принадлежавший некогда Андронике Ингирами, чье имя высечено в Аббатстве в надтреснутом камне архитрава рядом с именем Уго Риккобальди, под гербом с тремя звездами. Она взяла и спрятала его, вышла и вернулась в свою комнату.

Она следила за собою, как воин, не позволяющий трусливой мысли проникнуть через забрало. Она не жалела ни себя, ни других, только Лунеллу. Но она снова пе-

ресилила искушение еще раз свидеться с нею: пересилила и другое отчаянное, мгновенное искушение: не оставлять сестры в доме позора, унести ее с собою туда, куда не достигает никакая скверна. — «Храни тебя Господь! Спаси тебя Господь! Если душа бессмертна, я незаметно буду следить за тобой, как сегодня вечером».

Она знала, как мертвых готовят к погребению: она помнила похороны матери. Она приготовила свое молодое тело, изнуренное и сильное, как тело неукротимой мученицы; умылась, спокойно дала себя причесать. Выбрала самую красивую белую одежду. Старалась не глядеть в зеркало, чтобы не пожалеть внезапно своей молодости. Но она была так прекрасна в своей алмазной твердости духа, что горничная не могла удержать восхищенного восклицания.

— Идите с богом, Франческа.

— Вы утром позовете?

— Да.

Оставшись одна, Вана закрыла двери. Вытащила стилет Андроники, обнажила и осмотрела его, испытывая остроту ногтем большого пальца. Все тело ее содрогалось от холода, но сердце продолжало быть твердым. Она положила стилет около букета роз, чтобы освятить его; отогнала от себя последние образы, которые все еще пытались напасть на нее. На одном только сосредоточила она внимание. «Вот — я. Я — готова».

Она увидела героя на смертном ложе, обернутого красным полотнищем флага, с черной повязкой, скрывавшей рану на виске. И видение это было так отчетливо, будто простая походная кровать стояла здесь же рядом с девичьей постелью.

Она подошла к окну и открыла его: холодная звездная ночь нависла над темными кипарисовыми и лавровыми садами. Своими безупречно светлыми глазами она послала привет молодым звездам на весеннем небе. Большой Медведице, Ориону, Плеядам, и в то же время рука нащупывала бьющееся смелое сердце, в промежутке между ребрами.

Она не закрыла окна; потушила свет повсюду, кроме

одной лампы у изголовья. Разувшись, поднялась на постель и легла, сдвинув ноги, словно ожидая, что на них наденут серебряные кольца. Затем приподнялась немного, чтобы возложить на ноги розы, как бы соблюдая обряд погребального брака. Потушила последнюю лампаду. И крепко сжимая в руке халкидоновую рукоятку, опустила на подушку свои гордые волосы, которые, казалось, извлекали силу из ее собственной храбрости.

Тогда она почувствовала, что она прекрасна, как прекрасен был только герой, чье безжизненное лицо она увидела сквозь слезы.

И дальше воцарилось молчание.

3.

Паоло Тарсис вышел из дому несколько времени спустя после злосчастного разговора. Он собрал все свои силы, чтобы подавить горе и бешенство. Он не сразу решился пойти на место свиданий. Но, наконец, он отважился лицом к лицу встретиться с опасностью.

С трудом сдерживая душевную тоску, он ждал Изабеллу.

Она пришла своей воздушной походкой, которая по-прежнему делала ее похожей на Орнития, опустив вуаль над роскошным ртом, неся порыв и грацию в каждой складке своего платья.

— Айни, Айни, я здесь. Ты спал?

Он не поднялся, не пошел к ней на встречу, не обдал ее своим неистощимым желанием, не поднял вуали нетерпеливой рукой, чтобы впиться губами в ее губы, не бросил ее, еще не оправившуюся от ходьбы, на ковер, как кровожадный насильник, возобновляя в ней страх, который для нее был приятнее всякого наслаждения. Почему? Неужели он заснул, дожидаясь ее, и теперь ничего не соображал в просонках?

Ослепленная еще дневным светом, она не различала его на диване в темной комнате. Она быстро сняла

вуаль и шляпу; затем, стягивая перчатки, подошла и наклонилась над безмолвным Паоло. Уже привыкнув к темноте, она вдруг увидела уставившиеся на нее неподвижные глаза; и слегка вскрикнула:

— Ах, Паоло! Ты хочешь испугать меня? Нет, нет!

Это было, как в тот день на берегу моря, когда она подняла около подоконника говорливую ласточку.

— Ты знаешь, что мне страшно. Не смотри так на меня.

Судорожно смеясь, она отступила назад, как и в тот раз, когда выронила из дрожащих рук тепленькую пленницу.

— Почему ты это делаешь? Ты знаешь, что я не хочу. Я не хочу, чтобы ты так смотрел на меня, Паоло.

И смех, как и тогда, становился похожим на всхлипывания. Она продолжала отступать, но он не поднялся и вдруг оскорбительное слово, которого стыдятся даже продажные женщины, грубо прозвучало между четырьмя стенами. Затем наступило короткое молчание, как после оглушительного удара.

— Что ты сказал?

Она еще не была поражена, но что-то оторвалось от нее и пало на землю, хотя она сама продолжала стоять. Ледяной холод начинал растекаться по ее ногам, сердце как бы отступило назад, и прилипло к спинному хребту, истекло кровью. Не ослышалась ли она?

Но то же слово прозвучало во второй раз, еще более грубо.

— Ты сходишь с ума?

— Нет. Я прямо говорю, кто ты такая.

И в третий раз оскорбление хлестнуло ее по лицу.

— Теперь пошла прочь.

И он встал с угрожающим видом.

— Ты сходишь с ума? — повторила она, и голос ее обрывался, как будто бы ее челюсти расплзались.

— Пошла прочь, если не хочешь, чтобы я выбросил тебя на улицу.

— Паоло! Паоло!

В мгновение ока ей все стало ясно. Вина, которая была плотью от плоти ее и кровью от крови, вопияла

против нее. Ее лицо как-то расплылось, стало похожим на горсточку пепла. Все вены лишились крови, суставы разъединились, все мускулы дрожали под похолодевшей кожей. Она была обезглавлена, она погибла совершенно, обратилась в какие-то отрешья, годные, действительно, только для того, чтобы их выкинули на мостовую. Но из глубины ее существа возникла сила, всегда готовая прийти на помощь, живая и непобедимая сила лжи, более сильная, чем нервы, жилы, кровь: и сердце очутилось на своем месте, кровь наполнила вены, суставы и мускулы окрепли, краска вернулась на лицо, и голос зазвучал уверенно. И Паоло, чуть было не уничтоживший ее, увидел, как она размножилась, подобно гаду, который возрождается и набухает и разветвляется на еще большее число цепких щупальцев после разрушительного удара.

— Что за безумие вдруг охватило тебя? Чем опоили тебя, что ты стал таким зверем? Ты оскорбляешь и гонишь меня; и ты думаешь, что не надо привести какую-нибудь причину! Ты — сумасшедший, и мне жаль тебя.

Она вся дышала гневом, и ее слова горели презрением.

Почти совершенно спокойно, понизив голос, он подтвердил:

— Я сказал, кто ты такая. И никто из вашей породы не может сравниться с тобою в бесстыдстве. Не стоит мне и говорить об этом.

— Я требую, чтобы ты объяснился.

— Ты отлично знаешь, что ты сделала.

— Я отдалась тебе безгранично. Вот в чем моя ошибка!

Она стояла несколько поодаль, и ему хотелось, чтобы она была еще дальше, погрузилась в глубину позора, исчезла. И все же она оставалась для него единственным в мире живым существом, единственным существом, стоящим на его пути. И для него не было другого пути, другого предела, другого небосклона: и она закрывала его. И он чувствовал, что, если он ударит ее и бросит наземь, то тоже упадет, чтобы смешаться с нею.

Сухо и быстро заговорил он, пропуская слова сквозь

зубы, как пропускают горячие уголья сквозь пальцы, обжигаясь, чтобы уберечься от пожара.

— Ты до того любишь безграничное, что завела себе любовника в своем собственном доме, ты развратила своих близких на глазах твоих же маленьких сестер.

Она вся встрепенулась и закричала с негодованием.

— Ах, негодай, безумец и негодай! Как смеешь ты бросать мне в лицо это чудовищное подозрение?

— Это не подозрение, а уверенность.

— Безумец и негодай!

— Ты сама возбудила и поддерживала подозрение, находя удовольствие в том, чтобы постоянно мучить меня своими двусмысленными манерами. Ты сама знаешь это. Я отлично помню. Я еще чувствую эти ожоги. Но я думал, что твоей развратной жестокости достаточно вообразимой вины. Я не мог предполагать такого двуличия в женщине, которая ежедневно извивается, кричит, издыхает в моих объятиях и ежедневно просит большего и отдается с большим неистовством...

— Ты сам оправдываешь меня. Этим самым ты оправдываешь меня и доказываешь свое безумие.

— «Я на все способна!» Помнишь Мантуанскую дорогу? Ты так ответила, ты так заявила мне. И загадочными словами ты обещала мне горе и позор и угрожала всякими бедствиями. О, если бы я бросил тебя на пыльную дорогу, разбился с тобою о бревно, уничтожил твоё коварство и свое несчастье!

Она стояла теперь неподвижно. От ее души отделялась какая-то струя, которая затуманивала ее дерзость. Ее страсть тяготилась этой ложью. Необходимость оправдываться казалась ей унижительной. Этот человек, охваченный болью и гневом, похожий на любого другого мужчину в минуту упреков, презрения и возмездия, казался ей тупым и ограниченным. И ей хотелось ответить ему: «Да, вы правы. Я все это помню. И я добавила: — любовь, которую я люблю, неустанно повторяет: «делай мне больно, делай мне больно». — Ах, почему же вы все похожи один на другого? Почему ваша ревность так слепа, отдает таким зверством? Я люблю вас до смерти. Это правда. И если бы вы

действительно были в силах прогнать меня или убежать, я не могла бы больше жить. То, что больше всего жжет и терзает вас, моя плоть, — она иссохла бы, так как только ваша плоть питает ее. И все же я совершила преступление, в котором вы обвиняете меня, но я не хочу оправдываться. Я совершила его из любви к любви, в силу того, что совершенство любви состоит не в соединении двух; — и люди знают это, но не смеют признаться. Как все божественные силы, любовь достигает высшей своей точки в троичности. И это не мое вероломство, не развращенная теория, но слова подтвержденные мучением, освященные кровью истрадавшего сердца. Такая любовь презирает счастье ради неведомого, но неизмеримо высшего блага, к которому душа влечется самым чистым из страданий — безнадежным страданием. А двоим необходимо ярмо, и оно вечно давит на них, и пригибает их к праху и к почве, и, может быть, неизбежно, чтобы скряга — погонщик управлял ими. Ах, когда же любовник перестанет быть нелепым врагом и сделается вдумчивым, чувствующим братом? Я знаю это; но вы никогда не поймете меня. Вам легче подняться до звезд, чем приблизиться к моей тайне. Никакие слова, никакие слезы не сумеют убедить вас, что я поддалась не отталкивающему разврату, а божественному ощущению страдания, которое ношу в себе. Я не наслаждения искала и не наслаждения дарила, но взяла дрожащею рукою другую дрожащую руку, чтобы опуститься в глубину пропасти или, быть может, в подземное святилище; это было не дело плоти, а скорбное посвящение. И для вас, нарушающего молчание, только чтобы оскорблять и безумствовать, я тоже мудрость: не бедствие и не благо, а глубокая мудрость».

С наклоненной головой, вся отдавшись своим мыслям, она подошла к дивану и упала на него, закрыв лицо руками. Он видел ее бледную, заросшую волосами шею, величавую инстинкты шею и ее низко опущенные плечи, глубокий изгиб ее спины, ее тонкую талию, округлые бедра, длинные вогнутые колени и выступавшие из под узкой юбки ноги. Она была во власти мучительной тре-

воги, охватившей ее душу своей новизною, вместо того, чтобы даровать ей освобождение но ее поза волновала мужчину.

— Ты молчишь? — тупо твердил он, делая усилие, чтобы не уступить ужасному желанию броситься и терзать ее. — Теперь ты молчишь? Ты сознаешься?

Его сдержанная ярость и хриплые вопросы утомляли ее, как надоедливые крики. Сила лжи испарилась, красноречие защиты становилось для нее нестерпимым. — Склонившись к дивану, как бы маня к себе, она замыкала внутри себя чудовищность тайны, и в глубине ее существа ходили, сталкивались волны и разбивались и пенились на пороге грота, скрывавшего в своих недрах сирену, чьей песни еще никто не слышал.

— С каких пор длится эта мерзость?

Она теперь жалела его, так как в этот момент он был похож на другого человека, на другого ее любовника: тот тоже, считая себя обманутым, приставал к ней с такими же почти вопросами, с такими же жестами.

— Может быть, ты развратила его прежде, чем встретила и стала искушать меня. Уже тогда в Мантуе, в твоих замашках было что-то неприличное...

Она не могла терпеть дольше ни его едкие упреки, в которых было меньше негодования, чем сдавленного желания, ни его страдания, такие же мелочные, как боль от ожога, от вывиха или от пореза. Еще раз он предстал перед нею в приниженном виде, преображенным в назойливого зверя; Амур стоял на четвереньках, и куда девалось его прекрасное чело? «Ах, не осыпай меня оскорблениями, которыми ты осыпал бы любую другую женщину, чтобы устыдить ее! Но произнеси одно только слово, чтобы оно проникло в меня, тронула б меня, какова я есть, и взволновало, и возмутило, и извлекло из глубины моего истинного существа ту силу, от которой я изнемогаю, эту новую силу, которая горячит мою кровь, словно во мне образуется новая жизнь, чтобы преобразить меня. Произнеси это слово или замолчи и истязай меня». Чело брата, его проникновенные зрачки, исполненные возвышенной грусти, его алчные и ненасытные губы и чер-

ты лица, отмеченные острою мыслью, и все это преждевременное роковое горение рисовались ей в противовес грубому гнету Паоло, который лишал ее даже способности лгать. Она не слушала больше, но различала поднимающийся из-под его гнева сдавленный вопль желания.

— Ты не отвечаешь?

Он внезапно схватил ее за плечи и начал трясти... А она как-будто ждала чего-то и не сопротивлялась. Он выпустил ее, сделал несколько шагов назад, дрожа, как в лихорадке.

— Пошла прочь, — сказал он, — пошла прочь. Я не хочу убивать тебя.

Она встала и сказала:

— Иду.

Они стояли лицом к лицу. Она не смотрела на него, но знала, что вся его жизнь направлена к року, которого не могла бы остановить ни человеческая, ни божественная сила.

— Иду.

Она обернулась, чтобы взять шляпу, вуаль, перчатки.

— Прощай.

Но это слово застряло в ее зубах, так как он бросился на нее, повалил ее на пол, и не выпуская, стал ударять кулаком по лицу, по рукам, по груди, дико повторяя оскорбительное слово.

А она не кричала и не защищалась, но при каждом ударе издавала легкий стон, словно беззвучную мольбу, как при чуде первого поцелуя, слабый, как плач больного ребенка. Она ощутила знакомый сладковатый вкус во рту, но это была уже не одна только капля; а затем его рот раздавил ее рот с большей силой, чем кулак; удары прекратились и руки перешли к другому насилию, и плоть пронзила плоть, как смертоносное железо. В синеватых сумерках этой комнаты любви между утопавших в тени четырех стен, молчаливых свидетелей, разыгралась яростная схватка двух врагов, связанных друг с другом поясами, и дыхание становилось все более прерывистым в налитой кровью шее, ждавшей удара, и каждый бешеными усилиями пытался вырвать из

глубины своей жизни самые кровавые ее корни, чтобы бросить их за предел, установленный для человеческих желаний.

Он заревел, словно ему удалось вырвать эти корни; поднялся, упал снова. Она шевельнулась и захрипела, потом разразилась плачем, еще более нечеловеческим, чем его вопль. И оба остались лежать на полу, в фиолетовой тени, чувствуя, что они еще живы и грязны, но что между ними, между их раз'единенными телами есть что-то безжизненное, остатки какого-то таинственного убийства. А она плакала, не переставая.

В оконные стекла лилась синева все более темная; и тень сгущалась в складках занавесей, в углах, под дверьми; городской шум долетал до них совсем смутно. А она плакала, не переставая.

Ее слезы лились, как слезы Лунеллы, как поток, все затопляющий, неудержимо. Всхлипывания душили ее; и лицо, казалось, растворялось от слез.

Вдруг он подполз к ней по ковру. В надвигавшихся сумерках раздался первый удар вечернего благовеста. Он остановился, так как неудержимые рыдания лишили его силы, обратили его в пустую жалкую массу.

— Изабелла! — воскликнул он, дрожа всем телом.

Она плакала, не переставая. Он встал на ноги, пошарил по стене. Сноп света залил комнату. И тогда он увидел истерзанную Изабеллу, свернувшуюся в комок на полу, с лицом, закрытым руками прячущуюся от опасности, как бедное напуганное животное. Его сердце разорвалось на части.

— Изабелла!

Он стал перед нею на колени, попытался взять ее за руки, которые она упорно не хотела отнимать от лица, наконец, открыл ее рот, испачканный кровью и слезами.

— Прости, прости меня! — закричал он в отчаянии. — Да, да: я — безумец и негодяй! Да. Прости, прости меня, Изабелла.

Он был вне себя от угрызений совести от сострадания, от страсти. Дрожа всем телом, он раздвинул ее руки, увидел следы ударов, увидел истерзанное лицо, про-

питанное слезами, словно они из-под век просочились под кожу.

— Ты прощаешь меня? Ты прощаешь меня?

Он терзался в страшном волнении, держа ее за руки, говоря умоляющим голосом, в котором выражалась вся его душа.

— Ты прощаешь меня?

И еще раз из этого потока слез, из этих бедных, изнуренных, израненных щек, из подбородка, казалось, исхудавшего за этот мрачный час, из всего тела, скорчившегося и уменьшившегося от горя, образовалось что-то краткое и бесконечное, что-то беглое и вечное, обычное и несравненное: взгляд, ее взгляд.

И это было все. И он припал к ней на том самом месте, где они совершили темное дело, и они лежали безмолвно, побежденные любовью, которая была сильнее их любви и которая возвращалась, быть может, из дворца заброшенной и увядшей красоты.

— Ты меня любишь? — спросил он тихо, но вкладывая в свой вопрос всю свою жизнь.

Она прильнула к нему тем жестом, против которого ничто не могло устоять, неуловимым и текучим, напоминавшим мокрую одежду, пристающую к телу, масло, принимающее форму лампадки, в которой оно устанавливается и сверкает.

— Встань, — попросил он, — позволь мне поднять тебя.

И еще более покорно он попросил.

— Позволь мне раздеть, умыть тебя.

Она сказала:

— Уж поздно. Мне пора уходить.

Когда она попробовала встать, у нее закружилась голова. Когда она пришла в себя, она оглянулась, удивленно и подозрительно исследовала все уголки. Затем, как будто она стала совсем другою, или говорила во сне, она промолвила странным голосом:

— Сегодня вечером мне надо уйти рано. Мне необходимо вернуться домой пораньше. Меня могут не впустить. Сегодня пятница. Мне не надо было приходить. Дверь будет закрыта. Я останусь на улице. Меня не

впустят обратно. Я знаю, что они следят за мною. Им известно, что я здесь. Я не успею во-время. Они оставят меня на улице...

Ее речь становилась бессвязной. Казалось, скрытый страх путал ее мысли.

— Что ты говоришь, Изабелла? Как могут оставить тебя на улице? Да кто же?

Она поспешно ответила:

— Шакал. Мой отец и Шакал.

Она вздрогнула, заморгала глазами, чтобы отогнать какое-то дуновение, дразнившее ее; она прижала руку к губам и увидела на ней кровавое пятнышко. Он умирал от тревоги, стыда и нежности, глядя на ее маленькое взволнованное лицо, на красные опухшие веки, на пораненный рот.

— Изабелла! — воскликнул он, как бы желая разбудить ее.

— Я здесь, — ответила она.

— Мне показалось, что ты говорила странные вещи.

— Что говорила я?

— Идем. Позволь мне раздеть, умыть тебя. Останься здесь со мною. Я умоляю тебя! Отдохни здесь возле меня. Не уходи. Нам невозможно расстаться сегодня.

— Мне нужно уйти. Меня ждут.

— Ты можешь предупредить отсюда Киаретту. Не уходи, не покидай меня сегодня, Изабелла.

Он страстно ласкал ее. Она согласилась, наконец, перешла в соседнюю комнату. И на несколько мгновений они отдались иллюзии. Они вообразили, что опять наступил один из их тайных пиров, когда комнаты были полны цветов, когда стол был уставлен тончайшими яствами, и когда она раздевалась, покрываясь только длинной газовой шалью, с вытканым на ней Гномом или сильфом.

Он вышел отдать распоряжения прислуживавшей в доме женщине, молчаливой и проворной. Входя обратно, он увидел, как Изабелла в зеркале рассматривала следы ударов на лице. Длинная царапина на лбу, другая на шее, под правым ухом; черноватая опухоль на верхней губе, в разных местах синяки, начинавшие тем-

нет. Она улыбнулась зеркалу, не оборачиваясь, и от этой улыбки губам ее стало больно.

— Если меня спросят, что я скажу им?

И затем обернувшись к Паоло, она добавила:

— Вана не спросит. Она догадается.

Она встала в беспокойстве.

— Мне нужно предупредить Киаретту.

Переговорив по телефону, она осталась около аппарата с трубкой в руке, продолжая слушать. И вся охваченная смущением, она широко раскрывала глаза.

— Я напрасно не ушла, — сказала она.

Он замечал в ней что-то необычное.

— Но почему ты так встревожена?

Это не была знакомая ему тревога, а что-то другое; эти незаконченные движения, эти легкие судороги, беглые взгляды были ей чужды. По ее лицу, и без того искаженному от боли и слез, скользила едва заметная тень, то появляясь, то снова исчезая. Паоло смотрел на нее, сам не зная почему, с неослабным вниманием.

— Позволь раздеть тебя.

Когда она повернулась к нему спиной, чтобы он растегнул ей корсаж, она сказала вдруг серьезно и безо всякой горечи.

— Вана обвинила меня перед тобою.

— Нет. Ты ошибаешься.

— Вана была у тебя сегодня?

— Ты ошибаешься.

— Бедная, нежная крошка!

Бесконечная грусть и жалость звучали в ее голосе. И при виде ее наготы, его тело испытало новую дрожь. Он видывал ее печальной и веселой, нежной и распущенной, рассерженной, жестокой: она представляла перед ним во всех видах, кроме этого. Это была напряженная, безропотная и спокойная серьезность.

— Видишь, — сказала она, глядя на пятно на руке, цвета чернил. — Моя истинная кровь — черная.

Она высвободила из рукавов руки, эти свои не изнеженные, но твердые руки, как бы одаренные самой свежей свежестью жизни, точно с каждой зарей на них возлагали новую гирлянду цветов. Открылись ши-

рокие обнаженные плечи, маленькие сосцы на груди, широкой, как грудь Музы пения, с костями, выступавшими под тонкими мускулами. Рубашка была окаймлена тонкими кружевами, плотный бюст был безупречно изыскан, как чашечка цветка, дорогие изысканные ленты с пряжками и бантами поддерживали чулки, и все эти одежды были полны интимной грации и, чем ближе они были к телу, тем богаче и изысканнее они казались. Но теперь они спадали, как мягкая пелена, ненужная этому телу, словно они облекали строгую статую, словно она отталкивала их своей горделивой неприступностью, возвеличивавшей и оттачивавшей каждый рельеф на подобие камня. Когда, сняв ботинку, она сделала привычный жест, чтобы стянуть кончик чулка, приставшего к ногтю большого пальца, это незначительное женское движение даже удивило его, так мало соответствовало оно впечатлению силы. И она осталась совершенно нагой, без улыбки.

— Теперь уходи, — сказала она.

Она появилась в комнате, где был приготовлен обеденный столик, в одной из своих туник в тысячу складок, которые висели, как крепко стянутые канаты, когда она их снимала и распускались, как множество верев, когда она одевала их, через голову. Эта туника была черновато-синего цвета, с зелеными разводами, с бахромой, по которой тянулся алый финикийский узор из полипов.

— Гвоздика с устья Арно? — сказала она, увидев на узком столе большие махровые цветы, грифельного оттенка.

В ней опять зажглось смутное пламя.

Она ела как-то неровно, то с внезапной жадностью, то с болезненным отвращением. На ее лбу выделялась красная царапина, на руке черное пятно, на губе синеватая опухоль. От времени до времени крик толпы из какого-то цирка нарушал их молчание.

— Помнишь вечер, когда я сказала тебе, что мы — жених и невеста? Я называла тебя Мадшун и рассказывала сказку об освобожденной газели, о моем жасминовом саде. Ты помнишь?

— Да, отвечал он, и лицо его было цвета желтой кости, из которой оно было изваяно.

— Затем я заговорила о Ване и о ее любви, о лиловом платочке, надушенном жасмином, который она дала мне в Мантуе, в зале Лабиринта, чтобы утереть кровь от первого поцелуя. Ты помнишь?

— Да, — отвечал он, и что-то глухо обрывалось в его груди при воспоминании о пламенном голосе смуглой девушки, словно он доносился до него в порыве бури.

— Ах, почему не пришла она сегодня со своим платочком и не предложила его снова, чтобы я еще раз отерла свой рот, который покрылся кровью под твоими ударами, Айни?

Она говорила без сарказма, без горечи, без упреков и без улыбки; но напряженным, спокойным и безропотным тоном. Ему легче было терпеть в Лусоне, когда закованный в цепи, обессилев от голода, он решил глядеть на своих палачей, не моргая глазами.

— Завтра уже не будет крови. Но я пойду к ней и скажу: «Посмотри на мой рот, дорогая сестричка. Это не был поцелуй того, кого ты любишь». И я поцелую ее, так как ты больше не будешь целовать меня, Айни.

Он не смел прерывать ее, несмотря на невыносимую муку. Она взяла со стола гвоздику и, держа за стебель, касалась ею скатерти, уставленной фруктами, сладостями, серебром, хрусталем, разными винами. Что-то роковое, прилетая из прошлого, шумело в воздухе. Он вспомнил ее лицо, каким оно было в тот вечер, бесстыдное и судорожно сжатое лицо неистовой искусительницы, крепко стянутое густыми косами, с губами и насмешливой улыбкой, освещенной золотистым светом. Но то, которое он видел сейчас, было гораздо более загадочно: оно носило следы его неукротимого бешенства; он ударял и ласкал его, но ни ласки, ни удары не могли его к нему приблизить... Хрупким оно было, но далеким, возвышавшись над глубиной, в которую не было дано спуститься ему, спускавшемуся на дно морское.

— Может быть, я разлучила тебя с нею? Отняла тебя у нее? Но как могла бы я отнять тебя, если бы ты уже не был моим? Конечно, в тот вечер у моря, я по-

казалась тебе ужасной, когда заговорила о любви Ваны. Я отвела тебя к ней и сказала: «Сделай же так, чтобы он полюбил тебя». Я показалась тебе ужасной. Но кто может судить о любви и кто может указать предел наслаждения и предел страдания, и где зло перестает быть злом, а добро перестает быть добром, и каким образом новый стыд рождает новую любовь, и чем должна жить любовь, чтобы стать угодной смерти? Как можете вы осуждать и оправдывать? Ничто не достоверно, кроме жестокости и алчности сердца, кроме крови и слез и конца всего; и неизвестно еще, в какое время надо плакать. Но может быть, нужно открыть еще более далекое страдание? Знаешь ли ты, от чего я страдаю?

Это был один из тех моментов, когда она, казалось, отделялась от глыбы мрамора и занимала место в пространстве, подобно созданию Титана, подобно колену, подобно плечу, подобно локтю и груди Авроры.

— Ах, приди, — сказала она, вставая и беря его за руку. — Я еще раз хочу подержать тебя в своих объятиях.

Она увлекла его в другую комнату, к большой зеленой постели, которой были знакомы их иступления и сны, сладострастные, как их объятия, и пробуждения под наплывом обновленных желаний.

— Приди сюда. Познай меня прежде, чем нам расстаться. Дыши мною. Ищи меня. Это — наша зеленая пещера. Вообрази, что мы скрыты на дне океана, вдали от всего мира. Приблизь свои страдания к моим. Ах разве ты не чувствуешь, не чувствуешь, что мои страдания сильнее? Разве ты не чувствуешь, как кровь моя кипит, как она растекается по жилам, как мои кости крепнут? Мне кажется, что какое-то чудесное существо хочет родиться от меня. Ты это чувствуешь? Ты можешь обнять его? Ах, не ты, не ты в состоянии держать меня в объятиях: я, я буду держать тебя.

И поистине, она казалась ему исполином, которого не могли тронуть его ласки. И поистине, она была похожа на Аврору, высеченную в глыбе человеческой скорби и обвитую под сосцами поясом, подобным тому кругу,

что разделяет Вселенную на день и ночь, на Аврору, не девственную, но бесплодную, вечно терзаемую муками неосуществленного материнства.

— Познай меня, — говорила она, — прежде чем я расстанусь с тобою, прежде чем ты покинешь меня. Приблизь свои мучения к моим. Попробуй встряхнуть и поднять меня, чтобы испытать тяжесть того, что во мне тяжелее плоти. Бей меня до крови снова, так как ты не знаешь еще вкуса моей крови. Делай мне больно, о любовь моя дорогая, делай мне больно, пока не станешь похожим на меня; ведь мы равны только в жестокости, но ты не можешь сравняться со мною в терпении. Помни мои слезы, как я буду помнить слово, которым ты сопровождал свои удары...

Неудержимое отчаяние наполняло его, так как никакой лаской не способен он был доказать, что познал ее. Быть может, она произносила эти слова только для того, чтобы заставить его почувствовать свое одиночество. И время от времени в ночной тишине поднимался, как молитва слепцов, крик толпы в цирке.

— Вот я. Возьми меня, какая я есть, хотя бы один раз. Меня возьми, а не плод твоего бреда. Я хочу хоть раз быть твоею всецело, чтоб хоть раз ты владел мною.

Он заглушил ее голос поцелуем, выпил губами ее дыхание, самое глубокое дыхание; он взял ее пальцами за подбородок, а другой рукою за затылок, как и в первый раз, и, так держа ее, упилился ею и не ощутил в своей слюне вкуса ее сердца.

И они предались безумным наслаждениям, вне времени и вне пространства. Они старались соткать из своей плоти более тесную связь, создать из своей жизни такую смерть, которая была бы похожа на другую жизнь. И они останавливались только для того, чтобы почувствовать, как душа их дробится на части, и каждый из них ожидал, что другой воспримет ее страждущую половину. Они надеялись познать ее в слюне, в крови, в слезах, в поту, в оплодотворении. Они падали и опять поднимались.

Она говорила:

— Познай меня.

Она говорила:

— Ищи меня, настигни меня

Она сказала, наконец:

— Убей меня.

Все тщетно. Обессиленные, они упали.

Он лежал неподвижно, как бездыханное существо. Она приподнялась на локте, неумолимая, посмотрела на стены, вслушалась в темноту, дрожа от ожиданий. Все было тихо. Крики в цирке умолкли. Ее напряженный слух различил скрип крана в садике. И вместе с этим звуком мучительная струя заливала ее сердце, которое наполнялось до краев и затем опустошалось.

— Что ты там слушаешь? — пробормотал он, не отрывая глаз.

Она взглянула на него. Он лежал на левом боку, откинув голову и подложив кулак под щеку, согнув одну ногу под другую, протянутой во всю длину, и вытянув руку вдоль ребер до мускулистого бедра, подобно Фиванцу, не разгадавшему загадки Сфинкса, но испробовавшему его грудь и его когти. Рядом с ним не лежало оружия; он был, незащищен и все же было видно, что он принадлежал к воинственному племени, к боевому роду: впалый живот между ребрами и пахом, чувствительные ключицы, над которыми возвышалась худощавая шея, выдающиеся и гладкие, как булыжник, плечи, крепкая, как корабельный остов, грудная клетка, тощие ноги, на которых обрисовывалось пять жил. Ничего мягкого: все мягкое устранено, кроме сочного рта; но вместе с тем контраст и равновесие сил, как в дорическом храме, соблюдение пропорции в крепком строении. Под исхудалым лбом выделялся череп, вылепленный божественным гончаром; глаз крепко вставлен под изогнутой бровью, подобно непреклонной силе; на лбу только одна вертикальная морщина, как бы крепко вбитая в лоб, прямая, горделивая, как застарелый шрам; нос правильной формы, прямой, острый, как лезвие.

Она глядела на него, и он казался ей далеким, он, бывший плотью от ее плоти и кровью от ее крови; он одиноко таил в своем теле дикое неразстворимое страдание.

Неужели это был последний раз, последняя ночь? И она задрожала всем телом, наклонясь над изнуренным, и голосом, который поднимался из самых недр ее, она тихо сказала:

— Мы умираем?

И она не знала, почему она это говорила, и он не ответил, как будто он испускал последнее дыхание.

Мысли ее смешались. Смутное чувство раздвоенности жило в ней. Она напрягала внимание, но не различала ни журчания воды, ни другого знакомого шума. Кругом царил обманчивая тишина, изредка нарушаемая звуками, которые изменялись, лишь только начинало казаться, что ухо их уловило. Вдруг ей показалось, что она слышит ночные шаги в Вольтерре, непрерывные и неясные шаги, которые тогда наполнили ее страхом.

Она завопила:

— Вана!

В тени двери ей почудилась белая фигура сестры с распущенными волосами, как в ту ночь, с глазами, мечущими молнии, как в ту ночь; фигура смотрела на нее, прижимая руку к левому боку.

— Вана! Как ты сюда попала? Как вошла ты сюда? Вана!

Она вскочила с постели и бросилась к исчезавшему привидению. Она переступила порог, пробежала в соседнюю комнату, зовя сестру, и очутилась среди мрака и ужаса.

— Паоло!

Тот прибежал на помощь, поддержал и отнес ее на постель, не выпуская из объятий.

— Ты не видел ее?

Ее зубы стучали так сильно, что она с трудом говорила.

— Ты бредишь. Изабелла, Изабелла, не бойся, не дрожи так.

Он сам не мог преодолеть свой слепой ужас.

— Это была Вана, никто другой, как Вана. Я видела ее. Я только хотела дотронуться до нее, но она убежала. Пойди, посмотри... Она, может быть, там.

— Ты бредишь.

Он трогал ее виски, чтоб узнать, нет ли у нее жара, старался успокоить ее.

Она стонала:

— Держи меня. Сожми меня.

Это уже не была Аврора, создание Титана. Это было бедное дрожащее существо, которое искало убежища и защиты, припав к его груди.

— Мне холодно.

Она все время стучала зубами. В комнате чувствовалась ночная прохлада.

— Покрой меня. Мне холодно.

Он прикрыл ее. Она обвила его руками, прильнула к нему всем телом, приобретя силу пиявок или ползучих растений. Иногда она жаловалась, как больной ребенок.

— Ай! — стонала она, потому что теперь болели ее синяки, потому что теперь ее боль была составлена из множества мелких страданий.

Но мало-по-малу от их объятия рождалось что-то хорошее: так, когда прививка удастся, привитое растение смешивает свои жилки с жилками другого, и один и тот же сок мягчит и питает их.

— Ай! — стонала она; но уже это была не детская жалоба.

Это был тревожный клич рождавшегося желания. И кровь закипала и растекалась по жилам, и кости крепили. И она становилась снова великой и сильной. И они опять пытались создать из своей жизни смерть, которая была бы похожа на другую жизнь.

Она говорила:

— Мы умираем.

Но она не могла повторить одно уже сказанное слово, может быть, обращенное к другому таинству.

И они падали, и поднимались. И ночь проходила. И, наконец, они упали, чтобы больше не подниматься. Сон спустился на их вспенившиеся тела и сломил их зверскую силу. А через щели ставень вливался дневной свет, сначала бледный, затем яркий. И неожиданный стук в дверь коридора не нарушил этого сна, который был поистине братом черного божества.

Чувствуя, что ее расталкивают, несчастная вскочила

и завопила от страха: ей показалось, что у изголовья постели стоит женщина с рыжеватыми и гладкими волосами, с веснушками на лице, с белесоватыми глазами, женщина из сумасшедшего дома, в полосатом, распространявшем особенный запах, переднике, швея, спившая ей простыни, в которых она заснула.

Нет, это была не она, еще не она.

Это была прислуживавшая в доме молчаливая женщина, которая, не слыша отклика, позволила себе зайти в комнату и разбудить ее.

— Синьора, синьора, там ждет Кларетта. Она говорит, что ей немедленно надо вас видеть.

Несчастная все еще не могла отогнать от себя сон.

— Кларетта! — пробормотала она, падая на подушку. — Что тебе надо?

— Проснитесь, синьора, проснитесь! — настаивала женщина.

Паоло открыл глаза и в сумерках, освещенных еще горевшею лампочкой под абажуром и лучами солнца, проникавшими с улицы сквозь щели, почувствовал таинственное дуновение несчастья. Он немедленно встал, поспешно оделся, вышел в коридор и увидел Кларетту. На ней лица не было, и она судорожно всхлипывала.

— Что случилось?

— Синьорина...

— Вана?

Сперва она не могла говорить, но сделала ужасный жест, который не оставляет ни сомнений, ни надежды. После тревожных расспросов, она сумела в запутанных отрывочных словах рассказать все: ужасное открытие, отворенное окно, недвижимое тело... Но тут голос ее оборвался, так как в складках портьеры появилось лицо, напоминавшее лицо покойницы. Изабелла по некоторым словам догадалась, поняла все.

Тогда было легче омыть и одеть девичий труп, чем это живое тело, еще влажное от пота, еще пенившееся от сладострастия, покрытое позорными пятнами насилия, разбитое долгой мучительной оргией, ужас тряс ее беспрестанно, подобно протянутой руке, держащей жертву

за шею и встряхивающей и доканчивающей ее без пролития крови.

Затем — безжалостный дневной свет, солнце на мостовой, прибытие к дому печали; подъем по лестнице почти что на коленях, встреча с бесчестным отцом и со свирепой мачехой, прибежавшими за вероятной добычей, затем вторжение пришельцев во имя закона, наконец, вся мерзость и все отчаяние.

И молчание не наступило ни на мгновение.

Настали дни, когда жизнь напоминала рассказ пьяницы, бессмысленный и постыдный. Куда бы движимая страданием воля ни обращалась за спасением, всюду она попадала в тупик, наталкивалась на непроницаемую стену, на скрытую засаду. В тот вечер в Мантуанском дворце безумное желание бежать гнало юношу вдоль незнакомых стен от одной двери к другой, из комнаты в комнату, по разрушавшемуся лабиринту: каждая дверь шептала угрозы, каждая лестница была исполнена ужаса, каждый коридор открывался на подобие пропасти. В таком положении, был теперь не только он, но всякий из оставшихся целым, и не во дворце летних мечтаний, а в сплетении и извилинах обстоятельств и предначертаний, в тисках препятствий и необходимости, в тайниках собственного духа и в сочетании очевидных фактов. Казалось, что всякая попытка действовать влекла за собою призраки преступления.

Однажды, когда все было мрачнее обыкновенного, Паоло подумал, что оставшийся ему верным по ту сторону гроба товарищ прислал весть о себе. Из бесконечной дали ему в сердце возвращались хорошо известные слова древнего: «Но подойди поближе, чтобы мы хоть немного, обнявшись, могли насладиться плачем смерти». И не он сам, а товарищ произносил эти слова. И обет несчастной невесты стал также его обетом: «Скоро, скоро приду».

Приближалась годовщина подвига. Уже шел девятый месяц со дня скорби. Готовясь к новому дедалову празднеству, граждане Бреши постановили воздвигнуть памятник на равнине, расположенной под беспредельным голубым ристалищем. После состязания статуя Победы

на простой деревенской телеге, на плауструме римских земледельцев, запряженной шестеркой ломбардских волов, возвратилась в свою келью у подножья Киднея; но римская колонна с глубокими канелюрами, с коринфским капителем и облупившимися листьями аканта осталась посреди поля, разлученная со своим изваянием. По постановлению благородных граждан новая статуя, вылитая из меди, предоставленной из городской казны, должна была заменить старую, остаться там и увековечить память лигурийского героя.

И статуя, заказанная болонскому ваятелю Якопо Караччи, уже была готова в мастерской плавильщика. Художник сделал из воска две модели, так как один памятник предназначался для брешанской равнины, другой для скалы Ардеи, по постановлению всех общин Лациума. И Паоло Тарсис получил приглашение присутствовать при отливке.

Уже много дней прикованный к земле созидатель крыльев не дышал больше свободно, а страдал под неотступным кошмаром. Он быстро приготовился к путешествию, испытывая облегчение при одной мысли о нем, так сильно была в нем потребность уехать, бежать от привидений, вдохнуть всей грудью утренний воздух.

Было апрельское утро, но дорога показалась ему мрачной. Закрытые тучами горы темнели вдали. С Аппенинского хребта дул ледяной ветер. Два раза он в нерешительности останавливал машину, чтобы повернуть обратно: и оба раза пересиливал предчувствие, которое терзало его.

В Болонье его смятение возросло до такой степени, что умерить его он мог, только попытавшись услышать голос бедного далекого существа. Он долго прождал на переговорной станции. Биение его сердца наполняло шумом тесную кабину. Из аппарата доносились непонятные звуки, и тщетно бросал он в черную трубку всю свою тревогу.

Несколько позже он отправился в мастерскую плавильщика. Накапывал мелкий дождик. Под просторным навесом уже горела плавильная печь. Дым собирался под

балками, расстился по кучам земли, по грудам огнеупорного кирпича, по трещинам, отверстиям, шероховатостям стены. И он вспомнил ад под горой Черболи.

Якопо Караччи повел его по краю темной ямы, в которой двигались молчаливые работники. Под цепями, под канатами, под крючьями блоков, между связок хвороста, носилок с плавильниками, корзин с необделанным металлом, он проводил его к той из двух восковых моделей, которая еще не была покрыта слоем глины.

Летчик вздрогнул, и лицо его осветилось. Перед ним возвышалась мощная фигура с распущенными крыльями. Был это Дедал? или Икар? или божество безумного человеческого полета? Нет, это не был афинский художник, создатель поддельной коровы, и это не был его сын: так как его цветущее тело, не молодое и не старое, говорило о здоровье взрослого человека, достигшего высшей точки развития, вполне уже сложившегося. Казалось, будто один из рабов Микель-Анджело, один из тех незаконченных Титаном рабов, которых племянник его Леонардо преподнес герцогу Козимо, наконец, решительным движением плеча и колена отделился от твердой каменной глыбы и освободившимися жилистыми руками ухватился за крылья, как за ремни двух больших щитов; оттолкнувшись изо всей силы обеими ногами, он устремлялся ввысь.

«Ардеа!» Победитель на состязании в Бреше снова услышал крик толпы, и по его телу пробежала та же упоительная дрожь, как и тогда, когда в его лице обновилось и возвеличилось целое поколение; и он еще раз пережил те божественные минуты, когда незримый лотман, подобно духу ветра, пребывал между обоими крыльями, когда сердце его забило сильнее, так как он замыслил подняться еще выше, когда уже не одна Победа, но слава всего народа возвышалась над римской колонной.

Этот порыв одного человека, и в то же время порыв всеобщий, не мог бы найти более возвышенное выражение в искусстве. Паоло в сильных выражениях высказал это взволнованному художнику, который даже внешностью своей напоминал Буонаротти: приплюснутая голова боро-

датого Силена на маленьком туловище, сухом, как моток веревок для арбалета.

Но металл все еще не начинал плавиться; печь пылала слишком слабо. Ни бассейн, ни канал не были готовы; рабочие все хлопотали в плавильной яме. Мастер, заведывавший отливкой, глядя на дождливое небо и втягивая носом ветер, как рулевой парусной лодки, застигнутой штилем, определил, что работа начнется поздно ночью. Паоло Тарсис удалился, но обещал вернуться.

Он прошелся по печальному городу, под однообразными портиками; был вечер, погода стояла ветреная. «Друг мой, друг мой, я нашел тебя!» говорил он духу крылатой статуи и живому образу брата. Хотя часть его души была болезненно связана с отошедшим вдалеку ужасом, эта отдаленность и перемена места невольно сообщали ему чувство свободы. Ему казалось, что после стольких мрачных, тревожных вечеров для него снова наступил вечер, отмеченный дружбой. Внутри его, словно в нем забилося двойное сердце, оживало воспоминание о звуке голоса, о взгляде, о жестах дорогого ему человека, который предстал перед ним, словно живой, как в тот день, когда с порога ангара они следили за сигналами, жалели упрямых цыплят, насмехались над чванливостью летунов в шароварах ландскнехтов и бросили друг другу вызов, как честные соперники. Он ощущал в себе его присутствие, как в часы глубокого молчания, когда оба сливались воедино в гармонии общей работы; он ощущал его в себе более живо, чем если бы они гуляли бок-о-бок под пустынными портиками. Тот как бы совершенно овладел им, словно он таил его внутри себя и питал его кровью своих жил и давал ему дышать из своих легких, страдать и наслаждаться в собственном сердце, грезить грезами его собственной грусти, ждать с его собственным терпением и надеяться с его собственной верой. «Друг мой, друг мой, я нашел тебя. Думал ли ты, что мы опять соединимся после моего глубокого падения? Думал ли ты, что мы снова вместе предпримем полет, как в тот день, когда я догнал тебя и, захваченный вихрем пропеллера, издал наш крик приветов и тревоги? Если ты победишь, победа будет тоже моею. Если победителем выйду я, то

победишь и ты. Так думал я, так думал ты. Теперь, — видишь? — нам сделали две одинаковые статуи, дали нам огонь и металл, и они будут отлиты одна за другой в той же печи, во славу твоей и моей победы, в память о тебе и в память обо мне. Как можно было бы в годовщину твоего подвига высечь твое имя и не высечь мое? Как мог бы я пренебречь нашей самой великой безумной мечтой, и не попытаться осуществить ее ради тебя, ради меня, прежде чем наступит этот день? За все это подлое, кошмарное время я таил тебя в глубине своей души, баюкал тебя под своим недугом. И когда прерывался ужасный шум, я вслушивался в твое дыхание. И иногда мне казалось, что я слышу твой голос, указывающий направление. Помнишь? «Курс на запад-юго-запад!»

И он мысленно видел плоский туфовый утес Ардеу, это художественное создание природы, долину Инкастро, кольцо латинских гор и дорическую колонну, выброшенную из моря Цирцеи и доставленную туда на волах, водруженную на вершине старой крепости, чтобы на ней возвышалась священная и торжествующая статуя из бронзы. Он задумался о бесконечном полете поверх какой-то Леты, уничтожавшей в нем память о месте отправления. — «Я тоже». — Помнишь это слово, которое ты произнес, улыбаясь? Это слово всех, кто любит, кто любит глубоко. Ты сказал его, глядя мне в глаза. О сколько страданий, и какие страдания мне пришлось пережить, прежде чем я был в состоянии повторить его! Но так было надо. Поэтому я не жалею о бесплодной трате своих сил. Я должен был растратить их, чтобы ты возвратил их мне в час, предугазанный мне двойным роком. Мы суеверны, как все играющие в ужасные игры. Предсказатель из Мадеры! Ты ведь знаешь, — та, что принесла тебе издалека роковую розу, пустилась в обратный путь. Она принесла и возложила на твои сжатые ноги все розы из своего пояса. И прежде чем отправиться обратно, она, ты знаешь, освежила свои босые ноги свежестью тех же роз! Она любила тебя. Она действительно была твоей тайной невестой. Но где могла она искать тебя на земле, если не во мне, так как я таил тебя внутри себя? Она любила тебя. Ты это знаешь. У нее в сер-

дечке была нечеловеческая сила, а судьба позволила ей стать только знамением и предсказанием. Она — наша сестра с того берега. Она — ласточка нашей весны».

Казалось, дыхание дружбы успокаивало и просветляло его страдания в этот влажный и теплый апрельский вечер, когда дым поднимался над старым городом из кирпича с его башнями, похожими на потухшие факелы, среди нескончаемых садов. «А я? Я больше ничто для тебя, Айни?» произнесли тогда чьи-то окровавленные уста. «Помни мои слезы, как я буду помнить слово, которым ты сопровождал свои удары...» И внутренняя пытка возобновилась с еще большей силой.

Он сел в экипаж и поехал обратно в гостиницу, надеясь на какую-нибудь весточку, на ответную телеграмму. Ничего нового. Громоздкая коляска, пышным видом своим напоминая катафалк, шумно въезжала во двор отеля: в ней сидела маленькая сморщенная и костлявая старушка; она взглянула на него своими совыми глазами. Он обратил внимание на стол, за который он присел с Изабеллой во время их краткой остановки в тот июньский день. Какой-то носильщик оставил на нем тряпку: и стоявшие вокруг стола пустые ивовые стулья глядели на эту тряпку.

После обеда он снова вышел на улицу, не зная, как совладать со своей тревогой. Из-под ярко освещенного портика до него донесся крик толпы, взрыв аплодисментов. По стенам и на колоннах висели изображения дерущихся кулачных бойцов, полуобнаженных, в громадных рукавицах. Он вошел в битком набитый зал, где тысяча возбужденных людей задыхалась в спертой атмосфере. На огороженной канатом эстраде боролись белый и негр, под наблюдением судьи. Но это была не борьба, а отвратительное членовредительство. У белого, превращенного уже в окровавленную тряпку, были разодраны губы, сплюснен нос, опухли веки, все лицо изуродовано; но он продолжал сопротивляться, нечеловеческим усилием воли, вместе с кровью изрыгая дикие оскорбления на своего палача. Негр строил гримасу своей широкой пастью, уставленной золотыми зубами, и с неумолимой безошибочностью поражал противника кулаком в челюсть. Ему

ничего не стоило бы одним ударом в живот повалить его на землю, лишить его возможности подняться; но, по-видимому, у него были старые счеты, долголетняя мысль о мести, с которыми нужно было покончить. Белый уже изнемогал, а тот заставлял его держаться на ногах, словно играя с куклой, быстрыми ударами то справа то слева удерживая его в равновесии. Вся эстрада была забрызгана кровью. Из толпы раздались крики: — Довольно! Довольно! — Золотые зубы сверкали в обезьяньей гримасе. Вмешалась полиция.

Паоло Тарсис в былые время увлекался этим зрелищем, но теперь он бежал сам не свой, чувствуя, что ему становится дурно. Он вспомнил то утро, когда в Сиднее вместе с другом, со ступеней громадного амфитеатра, вмещающего двадцать тысяч зрителей, он следил за решительной схваткой боксеров негра Джека Джонсона и канадца Томми Бернса, тоже закончившейся кровопролитием. Когда он углубился в тень портика, две-три притаившиеся протистутки пристали к нему. Из наполненного дымом кафе неслись голоса гнусного хора, под дребезжащий аккомпанимент мандолин и гитар. Зеленоватый свет из окна аптеки освещал только следы мокрых ног на мостовой. Стояла апрельская ночь.

«Надеюсь свидеться лицом к лицу с моим Лоцманом, когда прейду последнюю грань», повторил он, преодолевая чувство отвращения и угрызения совести, слова поэта *In metoiam*, любезные другу, и направился к мастерской литейщика.

Якопо Караччи поджидал его около печи.

— Ну?

— Металл начинает приходить в движение.

Оба молча стояли рядом. Ваятель вертел в пальцах шарик коричневого воска. Яркая печь ревела всеми своими отверстиями. Мастер просунул в одно из них длинный согнутый прут и пощупал в глубине бассейна. Когда он извлек его обратно, прут пылал, до-бела раскаленный в словно неопалимой руке, и вся фигура мастера была озарена отсветом каленого железа. Двое подмастерьев, обливаясь потом, подняли кверху последнюю корзину необработанного металла и один за другим опу-

стили куски металла в огненную пасть, которая жгла волосатые руки. Печь затрещала и заклокотала в своем металлическом остоле, а чрез отверстие в отдушине видно было, как искрится расплавленная масса.

— Готово? — спросил Караччи, выпуская мягкий воск, который он в волнении сжимал большим и указательным пальцем. Он был слегка бледен.

Лежа ничком на полу, рабочие раскладывали зажженный хворост в канале между стенкой печи и отверстием формы, чтобы высушить свежую землю. Один из них уже держал в руке стержень, которым ему предстояло ударить по устью печи, чтобы освободить расплавленную бронзу. Мастер взобрался на доску, перекинутую через плавильную яму.

— Начинать? — спросил он, потрясая железной жердью.

Тогда Паоло Тарсису показалось, что воздух напоен религиозным воодушевлением, как бы в ожидании чуда. Он вдыхал дыхание пламени и дыхание брата. Первый удар железа отдался у него в грудной клетке. Яростная, искрящаяся струя устремилась чрез отверстие, более божественная, чем божественные метеоры. И это не расплавленная текучая масса металла шумела и дышала в плавильных каналах, чтобы наполнить прекрасную статую, но сама красота и само бессмертие в новой жизни запечатлевали братский облик и неожиданно возвеличивали оставшегося в живых друга, делая его чистым. Когда форма наполнилась, рычаг опустился, и пробка закрыла бурлящее устье, а шипящий металл остановился и застыл, он почувствовал, что внутри его свершился огненный обряд, и что словами этого обряда могли быть только слова друга: «Я тоже».

Он обратился к Якопо Караччи, который все еще был бледен, под маскою из пыли и копоты, и он заметил, что они стоят оба на краю плавильной ямы, и что его собственное лицо хранит следы пламени.

— Когда мой черед? — спросил он ваятеля.

Тот сразу понял, что вопрос касается отливки второй статуи.

— Через две недели.

— А металл?

— Уже есть. Хороший металл. Приезжайте посмотреть.

Художник провел его к месту, где были нагромождены куски металла.

— Не знаю, удастся ли мне вернуться, — проговорил Паоло Тарсис. — Но обещайте, что дадите мне знать.

— Непременно.

— Я вручаю вам бесценный для меня залог. Нельзя не довериться рукам, создавшим такое изваяние.

Его голос был согрет таким мужественным пылом, что создатель изваяний, взглянув на создателя крыльев, еще раз понял, что страдание — тоже творческая сила. Он чувствовал, что в этом человеке назревает что-то великое. Показалось, что в это мгновение обоих коснулось дыхание дружбы. Он просто произнес:

— Обещаю вам.

— Не смейтесь над моим суеверием. Я вручаю вам это кольцо: единственная его ценность в выгравированной на нем дате. Когда бронза второй статуи будет расплавлена, бросьте его в бассейн.

То был простенький латунный кружок, вынутый из сбруи взвившегося на дыбы коня, в грудь которого вонзился длинный нож «хураментато» на острове Сулу.

— Будет сделано, — сказал последний ученик Микель-Анджело.

— Теперь позвольте мне еще раз взглянуть на воск.

Они спустились в темноту. Почерневший от сажи мальчик куском факела освещал им путь среди обломков. Образ Альдо в этрусской катакомбе предстал перед взором Паоло Тарсиса в вихре смутных и жестоких воспоминаний.

— Подними факел! — приказал подмастерью Якопо Караччи.

Своим коричневым цветом статуя уже напоминала бронзу; ноги с напряженными мускулами готовы были отделиться от земли, крылья напоминали два широких щита; пламенное лицо было жадно обращено к небу.

Они распрощались, словно их связывал тайный обет. Проходя вдоль плавильной ямы, Паоло посмотрел на излишки металла, оставшиеся в огражденном стенками ка-

нале. Он нагнулся, чтобы поднять сгусток, выдававшийся над кирпичной оградой, думая, что он уже остыл; но обжог себе пальцы. Тогда закоптелый мальчик взял сгусток щипцами, окунул его в ведро, из которого послышалось шипение, и затем вручил его Тарису. Кусок металла имел форму руки.

Была глубокая ночь, но сквозь обрывки туч кое-где виднелись слабо мерцавшие звезды. Притаившаяся луна проливала белый свет, подобный свету зари, на длинные уединенные сады.

Что делала Изабелла? Она не спала, так как навсегда утратила сон. И он также не надеялся сомкнуть глаза.

Он заснул только к утру. Ему казалось, что он вторично сторожит прах своего друга. Он не пролил слез Ваны, но свершил огненный обряд.

Когда он проснулся, было уже поздно. По-прежнему никаких известий. Он отдал распоряжения шофферу насчет отъезда и отправился на переговорную станцию. Еще влажная после дождя площадь сверкала в лучах апрельского солнца, словно прильнув к своему стройному фонтану; кирпичи старого города, казалось, утрачивали свой кровавый оттенок и окрашивались в цвет распутившейся розы. У него явилось отчаянное желание еще раз услышать голос, который так терзал его.

С тревогою в сердце вошел он в обитую войлоком кабину, как будто устроенную для заглушения криков пытаемых. Сначала послышался шум словно удаляющегося поезда, затем на его оклик ответил голос Изабеллы.

— Изабелла, это ты?

— Нет, нет, это не я.

— Да, да, это ты. Я узнаю твой голос. Ты слышишь меня?

— О, все время эти шаги.

— Какие шаги? Что ты говоришь?

— Не знаю, не знаю. У меня голова так слаба сегодня! У меня голова идет кругом... А затем приходит та женщина и хватает ее.

— Изабелла! Какая женщина?

— Женщина в полосатом переднике.

Он весь поledenел. Из этого черного, бесчувственного

отверстия до него издали долетело дуновение безумия и обдало его холодом.

— Изабелла, послушай!

— Где ты? Ты в Мантуе? Ах, тебе не надо было уезжать.

— Разве ты не знаешь, что я здесь? Жди меня. Я сейчас выезжаю.

— Тебе не надо было глядеть в то зеркало. Мне страшно, мне страшно.

— Изабелла, послушай! Ты слышишь? Я сейчас выезжаю. Разве ты не хочешь увидеть меня?

— Ах, как могу я видеть тебя после того, как я сделала это?

Она тихо прибавила, как бы разговаривая сама с собою:

— Куда ходила я этой ночью?

Он раньше думал, что жизнь не может дать ему ничего худшего, чем ужасное пробуждение в зеленой комнате. Но все прошедшее не в состоянии было сравниться в жестокости с этой тревогой, подавляемой душевными муками, с этими мольбами о помощи, которые пресекались новым орудием пытки, приближавшим и удалявшим одновременно и игравшим иллюзией близости и действительностью расстояния.

— Где ты была? Куда ходила? Когда?

— Нет, никогда. Я не выходила; но...

— Говори!

— Разве ты не слышишь, что она все ходит?

— Изабелла, Изабелла, я выезжаю немедленно. Через три часа я буду у тебя. Приходи в наш дом.

— Как можно? Ты знаешь, кто я такая, ты сам сказал это...

Чей-то посторонний голос прервал вдруг разговор, среди оглушительного дребезжания звонка. Когда он вышел из кабины, все оглядывались на него, до того жалок был его вид.

Он еле дышал. Ему казалось, что он будет в состоянии вздохнуть только вблизи этих уст, иссушенных безумием. Он сердцем своим подгонял машину вверх по склону, прислушиваясь к ритму всех частей мотора, зная, что судь-

ба его зависит от потрескивания искры, от разорвавшейся проволоки. Он находился в нескольких километрах от Ковильяйо, в Аппенинах, когда заметил, что стук мотора прекратился. Он сам оцепенел. Шоффер покачал головой и нахмурил лоб, догадавшись, что испорчен магнето. Все попытки были тщетны. Они остановились на безлюдной дороге.

Мимо проезжала почтовая повозка, и Паоло велел отвезти себя в Ковильяйо за помощью. Было около пяти часов; на его тревогу тяжело ложились мрачные предчувствия. Он вернулся обратно в сопровождении механика из гостиницы. Спустя час работы машина тронулась снова. Менее, чем через километр, она остановилась, оставилась там, на безлюдной дороге, тяжелая и неподвижная громада, напоминающая своим громоздким видом упрямое животное, остававшаяся равнодушной ко всяким усилиям, ко всяким попыткам. И отчаяние охватило человека.

Стояла тихая, ровная погода. День угасал. Ясное спокойствие осеняло пустынную гору. Вершины золотились, и тени становились почти розовыми. Бесчувственная луна, точно существо из плоти, лишенная лучей, оживленная жизнью без огня, появлялась из-за холма, подобного плечу, придерживающему край фиолетовой туники. И он вспомнил августовское полнолуние на берегу моря около Пизы, белую террасу, увенчанную олеандрами, танец линий, пантомиму с пчелой. Где была, что делала теперь Изабелла? Направлялась, быть может, к месту свидания? И находила дверь на запоре!

Время проходило, свет продолжал меркнуть. Все усилия исправить поврежденную машину оставались тщетными. Каким образом удастся ему добраться до города? Всякая надежда привести в движение мотор уже исчезла. Он прислушивался, не донесется ли издали какой-нибудь звук, всматривался в даль, не появится ли какой-нибудь экипаж; и вот, он действительно услышал на перевале знакомый шум.

Он решил, что он спасен. Он опознал машину Маффео делла-Дженга, наполненную дамами в ваулях и капюшонах. Веселое общество. Он попросил помочь ему, и сначала его шофферу в подмогу отрядили механика для

последней попытки. Но так как становилось темно, ему предложили примоститься между сидениями.

Поехали дальше, оставив позади безжизненный остов. Выслали волов из Ковильяйо, чтобы дотащить его. Помчались по направлению к Флоренции, нигде не задерживаясь. Гора становилась фиолетовой. Было холодно. Путешественники плотнее прижимались друг к другу, не разговаривали; всем было как-то грустно. Паоло чувствовал, что каждая минута имеет неизмеримое значение, и что он мчится навстречу таинственной катастрофе. Конечно, каждая минута шла в счет; а в окрестностях Пратолино они потеряли десять минут, зажигая плохо направленные фонари. Был девятый час, когда они прибыли в город. Паоло сошел около места свиданий. Отрывисто поблагодарил; открыл калитку, хотел войти. Но слуга с верхнего этажа спустился к нему, словно он поджидал его и намеревался сообщить ему что-то.

Он извинился; затем, стоя на пороге, тихим голосом рассказал следующее:

— Около восьми часов вечера мы услышали звонок у вашей двери, и кто-то стал изо всех сил стучаться. Затем какой-то человек поднялся в верхний этаж и начал колотить в дверь, грубо крича: «Отоприте! Мы — полицейские агенты. Разве эта женщина не отсюда? Отоприте, или мы выломаем дверь». И он продолжал яростно стучать кулаками и каблуками. Испуганная хозяйка запретила мне отворять. Тогда я выглянул в оконце и увидел внизу на лестнице у перил даму, высокую и стройную, которая мне показалась похожей на вашу обычную гостью. Около дамы, стоявшей неподвижно, был другой человек. Я сказал, что дамы не знаю, но полицейский продолжал настаивать на своем. Убедившись, наконец, что мы не откроем, и что дама нам чужая, он спустился в сопровождении своего спутника и снова начал колотить в нашу дверь. Я смутно слышал, как дама жаловалась и твердила сдавленным голосом: «Пустите меня! Пустите меня! Это не я». Я не мог заступиться за нее, так как испуганная миссис Кульмер запретила мне выходить. Но, выглянув на минутку в окно, я увидел, как дама села в поджидавший ее экипаж и уехала в обществе

обоих людей, из которых один сидел рядом с нею, а другой напротив. Номера в темноте я не заметил. Но, прежде чем дама успела сесть в экипаж, я спросил у кучера: «Где вас наняли?» И тот как-будто бы ответил: «На площади д'Ацельо». И всего только десять минут тому назад экипаж скрылся в конце улицы. Если бы вы приехали на десять минут раньше, вы застали бы ее еще здесь!

Первым движением Паоло было побежать по улице, но, сделав несколько шагов, он сообразил, что бесполезно искать неизвестно в каком направлении. Он вернулся обратно. Бросился к телефону. Но никто не отвечал ему. Он силился овладеть своей волей и не терять ясности мысли, но самые странные фантазии приходили ему в голову. Что могло случиться? Как попала Изабелла в руки агентов? Они, может быть, встретили ее бродящей по улице и захотели водворить ее домой? Сама ли она дала им секретный адрес? И к чему было так грубо и настойчиво ломиться в двери миссис Кульмер? Может быть, это была попытка вымогательства со стороны двух самозванных полицейских? Куда завезли они несчастную? Что сделали с ней?

Итак, ужас, испытанный в темной кабине, не был самым нестерпимым, и, конечно, его ожидали еще худшие испытания.

«Необходимо найти ее; необходимо узнать», — твердил он, впадая в отчаяние, когда та или другая фантастическая мысль озаряла его сознание. Из зеленой комнаты веяло ароматом вольтеррского жасмина. Черновато-синяя туника висела у кровати со своей тысячью опущенных складок, напоминая крепко-стянутый канат. Тогда ему пришли на память странные слова, которые она проормотала в тот последний вечер, прежде чем раздеться: «Меня не впустят обратно. Я знаю, что они следят за мною. Им известно, что я здесь... Шакал. Мой отец и Шакал». Не они ли задумали эту подлость?

Он собрал все свои силы; решил выйти на улицу; приготовился к самому худшему. Прежде всего надо было справиться в полиции на случай, если те двое действительно были агентами и, может быть, отвезли ее в при-

станции позора. Он отправился. Его поразили запах, который, наряду с запахом тюрьмы и больницы, является самым печальным запахом в мире. В комнатах, в корридорах царил таинственное оживление; беспрестанно звонили колокольчики; кто-то всхлипывал и умолял за дверь. Желтоватая физиономия под козырьком кепи вызвала мысль, что в самом деле Природа не создала ничего ужаснее человеческого лица. Его принял любезный, даже услужливый комиссар. Полиции ничего не было известно. Никто не отдавал распоряжения об аресте, не было получено никаких донесений, не было задержано ни одной дамы. Не могло оставаться никакого сомнения — эти два человека не были настоящими полицейскими, принимая во внимание грубость одного из них. Как известно, чтобы проникнуть в закрытое помещение, агенты прибегают к другим способам: не к насилию, а к хитрости, не к открытому нападению, а к военным уловкам. Во всяком случае, любезный комиссар обещал свое немедленное содействие для выяснения дела.

Было без четверти одиннадцать. Темнело. Как поступить? На что решиться? Как помочь? Имело ли здесь место лишение свободы? Но кто же это? По чьему приказанию? С какой целью? И произнесенные в бреду слова несчастной, сорвавшиеся с припухших губ, из-под окровавленной десны, оживляли все время его подозрение: «Шакал. Мой отец и Шакал».

Он решил пройти до Борго дельи Альбицци. Дворец был заперт, непроницаемый со своими выступами из темного камня. Ни в одном из окон не виднелось света; никаких признаков жизни не подавала эта крепко-выстроенная, безмолвная, погруженная в тень громада. На звон колокольчика — никакого ответа. Он продолжал звонить, готовый на все. Наконец, открылось окошко в мезонине над воротами, и показалось недовольное лицо привратника.

- Никого нет. Все в Вольтерре.
- Синьора вернулась?
- Никого нет.
- Но синьора была здесь сегодня.
- Теперь ее нет.

— Куда она уехала?

— Никого нет. Все в Вольтерре.

Свет в окошке погас. Окованная железом и усеянная гвоздями дверь не поддавалась. Каменная громада молчала бездушно.

Он снова зашел в полицию. Комиссар произвел расследование во всех частях города, но безрезультатно. Он еще раз заглянул в дом миссис Кульмер; разбудил слугу; еще раз с большим терпением расспросил его, останавливаясь на мелких подробностях. Из этих ответов в нем зародилось жгучее сомнение и начало терзать его.

Он снова позвонил по телефону. Никакого отклика. Ему показалось, что он слышит дребезжание звонка в пустынном дворце. Где она? Где она? Куда увезли ее?

Он и не думал ложиться спать, дожидаться дня в неподвижности. Он вышел на улицу и в третий раз посетил полицейское логовище, поборов чувство отвращения. Ничего нового. Чем позже, тем мрачнее становилось это место. И казалось, что тишина нарушается только кипением горшка, в котором варилась какая-то гниль.

Он чувствовал утомление, он еще ничего не ел, но не находил покоя. Вернулся в Борго дельи Альбицци, взгляделся в окна, пощупал камни, вздрагивая при всяком шуме колес или звуке шагов. Движимый безумной мукой, он дошел до площади д'Ацельо, о которой упомянул слуга, и стал прогуливаться вокруг сквера, где по вечерам ловят свою добычу проститутки. Легкие клочья воздушного руна проносились над верхушками деревьев, белые от лунного света. В тишине слышалось только, как топчет копытами лошадь, застоявшаяся слишком долго на усталых лапах. Он допросил двух или трех возниц, дремавших на козлах. Те ничего не знали; из их рта на него пахло скверной водкой.

Не будучи в силах бороться дольше с усталостью и отвращением, он вернулся в свою постоянную квартиру, куда приходила Вана, чтобы раскрыть чудовищное дело: «Я догадалась, увидела, услышала».

Он не лег спать. Очистил свое тело от всей этой скверны и грязи. Поутру опять зашел в тот дом. Любезный

комиссар обещал прислать агента для доклада и для снятия показаний со слуги миссис Кульмер. Он решил претерпеть все виды позора, как неизбежную, но бесконечную пытку. «Надеюсь свидеться лицом к лицу с моим Лопманом — когда прейду последнюю грань». Посланец явился: двусмысленная, синевато-бледная, липкая фигура с ускользающим лбом и подбородком, с бегающими глазами — настоящее воплощение угря Аристотеля, — не мужчина и не женщина, — рожденное от великой матери всего — Гниения. Он сразу начал:

— Дама у себя дома; она во дворце со вчерашнего вечера. Сегодня утром, лишь только отворили ворота, комиссар допросил привратника и заставил его рассказать правду. Около десяти вечера ее привезли два человека, из которых один заявил, что он полицейский агент и составил протокол перед уходом. Тем не менее до сих пор нами не получено никакого донесения, и еще ничего неизвестно. Теперь, если позволите, я допрошу слугу.

Тот спустился и повторил свой рассказ. Но выяснилось, что до него с выдававшим себя за полицейского разговор вела горничная.

Призвали и ее. Это была полная, спокойная женщина, с маленькими поросычьими глазками. Она начала длинное повествование, стоя спиной к дивану, на который в час позора Изабелла упала почти ничком, закрыв лицо руками. Паоло представлял ее лежащей на подушках, ее бледную шею, шевелящую инстинкты, низко опущенные плечи, глубокий изгиб ее спины, округлые наклоненные бедра и выступавшие из-под юбки ноги в блестящих ботинках. И по мере того, как женщина продолжала свою болтовню, происшествие принимало все более ужасные очертания; жестокое сомнение превращалось в уверенность. И ему показалось, что оскорбительное слово вдруг прозвучало в комнате, где на ковре сверкала длинная полоса солнечного света.

Он мысленно проделал весь путь. Вот под'ехал экипаж с тремя седоками. Один из них, худощавый молодой человек в сером полосатом костюме, звонил и стучал в нижнюю дверь и затем поднялся наверх и стал шуметь у двери миссис Кульмер. Из его поведения можно было вывести,

что он встретил незнакомку на площади и принял ее за проститутку! Узнав у нее адрес, он отвез ее сюда, полагая, что это нечто вроде дома свиданий. Он сердился и шумел, думая, что «хозяйка» отказывается отворить, чтобы избежать опасного обыска. Поэтому он кричал: «Разве эта женщина не из этого дома? Позовите хозяйку. Дайте переговорить с хозяйкой». Все это что-нибудь да означало. А женщина сообщила еще более важную подробность. Агент обращался к незнакомке и спрашивал: «Но что же вы делали там-то, что же вы делали?» Но свидетельница не могла припомнить название места; впрочем, и ей казалось, что речь шла о площади д'Ацельо.

Тогда двуногий угорь, избегая по-прежнему взгляда светлых глаз, проговорил:

— Мне кажется, дело начинает раз'ясняться. Вполне вероятно, что речь идет о настоящем полицейском. Он встретил ее, повидимому, на площади д'Ацельо, где как раз по вечерам в тени сквера собирается подозрительное общество. Он был введен в заблуждение странными манерами дамы... Мы произведем расследование и выясним всю правду...

Паоло слышал, как в комнате звучит оскорбление, как оно прозвучало раз, два, три раза; с перерывами, как после оглушительного удара. Он представлял себе ее искаженное лицо, похожее на горсточку пепла. Затем почувствовал, как на него находит безумная ярость, как он ударяет ее, лежащую на полу, по лицу, по рукам, по груди, дико повторяя оскорбительное слово.

Могла ли судьба раздавить несчастное существо более запачканным каблуком? Какое измышление могло сравняться с этой действительностью? Последний толчок, опрокинувший этот колеблющийся рассудок, был нанесен случаем так осмысленно, словно он был задуман давно. И разве последние слова, долетевшие издали через черную трубку, не предсказывали этого позора? «Ты знаешь, кто я такая, ты сам сказал это...» Ее задержали в сквере, как проститутку. Без сомнения, с перепуга она дала адрес их квартиры, надеясь найти там убежище и защиту. А ее отвезли туда, как в публичный дом, как бы для того, чтобы водворить ее на место ее постыдного

ремесла! А дверь оказалась закрытой. В нее били кулаками и каблуками, а она оставалась закрытой.

Паоло с изумлением рассматривал на ковре полосу света. Жизнь поистине была такой, какой она предстала ему в дождливые сумерки, накануне вечером, под портиком, по дороге от места членовредительства к месту позора, между кафе и аптекой. Неужели ради такой цели построил он свои крылья?

Он вышел. Остановился внизу лестницы, оглянулся на железные перила и на ступеньки из белого мрамора. «Стбит утонуть хотя бы для того, чтобы из глубины лучиков исчез этот желтоватый свет, который вчера вечером освещал лестницу: на земле нет ничего более жуткого, он более жутко, чем смрадная рвота подстреленного коршуна, о блаженная Вана, обретшая спасение мученица».

Он вернулся к себе домой, в тот дом, где траурная рамка окаймляла портрет Джулио Камбиазо. «Десять минут в Патролино, остановка, чтобы зажечь фонари. Вот как жестоко жизнь смеется над нами. Но куда увезли несчастную после того, как экипаж от'ехал со своим печальным грузом? По каким местам волокли ее, пока она не назвала своего настоящего имени и не дала своего настоящего адреса, чтобы ее доставили домой?»

В этом несчастии один только человек, а именно доктор, мог оказать содействие Паоло. Он встречал его редко, обменивался с ним только незначительными словами. Но в крепком телосложении доктора, в его широкой руке он сразу почувствовал что-то здоровое, благородное, великодушное: ясную и мужественную доброту, энергию, умеренную ясным умом. Он отправился на поиски и отыскал его. Нашел не только врача, но и человека.

Доктор уже был у безумной; случай с ней опечалил и удивил его, так как из всей истории с лишением свободы он знал только о возвращении несчастной под конвоем двух неизвестных, сдавших ее приватнику. А Паоло не в состоянии был поведать ему о своей жалкой судьбе и о своем безумии.

— Я застал ее, — сказал доктор, — не в комнатке мезонина, а в каком-то чуланчике, куда она спрята-

лась вчера, как зверь в нору, решившись не выходить больше оттуда. Брат и сестрица ее теперь в Вольтерре. А несчастная знает, что отец и мачеха основались уже во дворце. Достаточно ей было мельком увидеть своего врага, которого она зовет Шакалом, чтобы закричать от ужаса таким голосом, что под окном собралась толпа.

Паоло так изменился в лице, что доктор остановился.

— Продолжайте, — сказал Паоло, как-будто не слова мучили его, а операционный нож. — Продолжайте, прошу вас.

— Как ни старался я уговорить ее, мне не удалось вытащить ее из норы, где, кроме голых стен, имеется лишь старая постель и несколько ломанных стульев. У нее сильный бред, и я не успел еще выяснить во всех подробностях его происхождение. На все мои уговоры она отвечала: «Я не могу, не могу выйти отсюда. Полицейские задержат и отвезут меня в тюрьму. Я записана в полицейскую книгу. Знаете ли вы, кто я такая, доктор? Знаете? Раньше только один человек на свете знал и говорил это. Теперь он пошел и записал меня в книгу. Полиция знает меня. Все меня знают. Как могу я выйти отсюда? Я больше не Изабелла Ингирами. Знаете, как зовут меня, доктор? Выйдемте на улицу и спросим у первого встречного. Как могу я выйти с таким ртом? Разве вы не видите, что он весь в крови? Сперва была только капелька, маленькая капелька. Вана, Ванина заметила и утерла ее; утерла маленьким платочком и спрятала его затем. Она спрятала красное пятнышко и стала ждать. А теперь, видите: я только и делаю, что лижу свою кровь, а она не останавливается. Кто так избил меня? Тот, все тот, кто записал меня в книгу...»

— Продолжайте, прошу вас.

— Но вам дурно.

— Нет, доктор, продолжайте.

— И в самом деле, у больной во рту язвы. Из десен сочится кровь, губы высохли и потрескались, все мускулы лица судорожно сжаты. В ее бреду, это, конечно, самая упорная мысль; но есть еще другая, которую я не могу объяснить, но она, может быть, еще более важна и мучительна.

— Говорите, говорите, какая?

— Думаю, что вы поможете мне понять ее. От времени до времени больная под черепом своим слышит шаги, тревожные шаги, отдающиеся у нее в темени. И нельзя без глубокой боли смотреть, какой ужас причиняет ей эта непрекращающаяся попытка и ожидание этой попытки. И в перерывах она не успокаивается, потому что беспрестанно со страхом ждет, что шаги сейчас возобновятся. Среди разговора она вдруг умолкает и начинает прислушиваться. Когда ей чудится, что шаги приближаются, она вся с'еживается и раздражается беспорядочными жалобами, в которых я не разобрался, до такой степени ее зубы стучат от ужаса. Однажды она проговорила тихо, голосом ребенка: «Нам нужно идти, двинуться в путь и пешком пойти, Бог знает, куда...» И мне кажется, что в этом бреду замешана мысль о сестренке. Раз она выпрямилась и закричала в страшном возбуждении: «Ах, нет, только не это! Он уводит от меня Лунеллу, он отнимает у меня Лунеллу! Ах, только не это! Не отнимай ее у меня! Куда ты уносишь ее? Разве ты не видишь? Она маленькая и не может поспеть за тобой... Оставь ее! Зачем ты это делаешь со мной? Разве ты не видишь, какая я? Я не могу больше причинять тебе зло. Ты ступаешь по мне, ты шагаешь через меня. Я стала дорогой, по которой ты ходишь...»

Паоло сжимал голову обеими руками и давал понять, что не может слушать дольше. Бессонница, голод, усталость и сильное волнение, наконец, сломили его. Виски его как будто готовы были лопнуть. Душевная мука растворилась в боли телесной. Он в состоянии был только лечь и пролежал неподвижно много часов в темноте.

И так кончился первый день последнего испытания.

5.

Утром следующего дня, после ночи, в которой бессонница чередовалась с кошмаром, он снова посетил доктора. Бред безумной усилился. Попытки извлечь ее из норы наталкивались на отчаянное сопротивление. Отец

и Шакал, по очереди дежурившие у дверей, высказали мысль, что больную придется поместить в сумасшедший дом. Доктор безжалостно обрисовал обоих, их необузданную жадность, скрытую под маской заботливости. Твердое решение не дать преступлению совершиться, чего бы это ни стоило, позволяло Паоло быть внешне спокойным не смотря на крайнее возбуждение.

— Что могу я сделать, чтобы спасти ее? — спросил он. — Как вы думаете, было бы ей полезно повидаться со мной?

Доктор не решался ответить.

— Говорите без обиняков. Пожалуйста, не щадите меня.

— Когда больная избегает называть имя того, кто ее изранил, — с грустью и состраданием в голосе ответил человек с широкой рукой, — чье это имя умалчивает она?

— Мое имя. Это так.

Наступило тягостное молчание.

— Что произошло с того момента, как она вышла из дому совсем одна, и до того, как она вернулась в сопровождении обоих неизвестных? — спросил врач, глядя пристально в светлые глаза. — Не объясните ли вы мне это?

Паоло рассказал все, что знал, не опустив ничего.

— Я многое понимаю теперь, — проговорил доктор, — и, между прочим, самое главное. Больная убеждена, что ее схватили по наущению «того», и что, когда полицейские стучались в его дверь, он был дома и слышал оскорбления и наслаждался ее позором, но не открыл.

Дрожая всем телом, Паоло вскочил на ноги.

— Итак, она меня ненавидит.

— Я заметил, что ее отвращение с каждым часом становится все острее и принимает все более грубые формы. Сегодня утром во время припадка она впервые слог за слогом произнесла унижительное слово, которым, как она говорит, ее заклемили...

Паоло не выносил взгляда этих ясных глаз; и он не мог молить о пощаде. Но он склонялся перед неиспытанными ему роком мучениями, которые несчастная при-

чиняла ему в любви, в безумии и в смерти. Он промолчал, и его оторванность от мира отражалась в его тягостном безмолвии, словно в плите черного мрамора.

6.

На третий день к Паоло явился скользкий человек с приторным голосом и бегающими глазами. Он пришел сообщить результаты последних розысков.

Он не захотел присесть и заговорил покорным голосом:

— Во вторник около шести часов даму видели на лестнице Сан-Фиренце. Площадь д'Ацельо была названа либо по ошибке слугой, либо нарочно кучером, чтобы замести следы. Все произошло на площади Сан-Фиренце, так между шестью и половиной восьмого. Дама была явно возбуждена. Она подумала немного и вошла в часовню через маленькую дверцу. Выйдя оттуда, она наняла экипаж и дала адрес Борго дельи Альбицци. На полдороге она передумала, велела ехать обратно. Снова остановилась перед церковью и вошла в ту же дверь. Когда она вышла оттуда, было уже темно. Она вела себя, как ненормальный человек. К ней подошел высокий, худощавый мужчина, заговорил с ней, а затем позвал другого и объявил, что он полицейский агент. Они усадили ее в экипаж и привезли туда, где разыгралась сцена, описанная слугой миссис Кульмер. За несколько минут до половины девятого, они опять посадили даму в экипаж и повезли ее по городу безо всякой цели, ожидая, что она откроет свое имя и укажет настоящий адрес. На площади Беккарии они остановились у кафе. Вышли и заняли столики. Дама что-то выпила; они пили тоже. Сколько времени пробыли они там? Один из них, худощавый, говорил: «Я не отпускаю ее, пока не доставлю домой и не узнаю, кто она и где живет». Нужно думать, что около десяти часов дама дала адрес Борго дельи Альбицци, и они отвезли ее туда. Худощавый — что касается до его товарища, то он молчал все время — назвался полицейским агентом и велел привратнику подписать бумагу,

какой-то клочок бумаги. Ненормальная дама скрылась внутри дома, а ее спутники удалились. Нам не удалось обнаружить среди полицейских указанного человека, несмотря на самое тщательное расследование. Никакого доклада по начальству не было сделано. По моему мнению, это дело какого-нибудь дерзкого злоумышленника, рассчитывавшего на выкуп. Расследование будет тем не менее продолжаться.

И посланец удалился, как всегда, церемонно изгибаясь всем телом.

Паоло Тарсис мысленно представил себе грязный кафе; увидел Изабеллу Ингирами — это воплощение грации и изящества, эту большую вечернюю бабочку, превзошедшую легкостью самый легкий летний ветерок, ту самую, что умела неожиданно отделяться от самой себя, как изваяние выступает из глыбы мрамора, и уподобляться великой Авроре Микель-Анджело, — он увидел ее в обществе двух уродов, с грязным стаканом в руках, в котором она смачивала свои воспаленные губы...

7.

И четвертый день был днем Фамари.

Прежде всего доктор спросил его:

— Не можете ли вы рассказать мне что-нибудь о женщине в полосатом переднике?

— Не понимаю.

— Больная по временам видит рыжеволосую женщину с красными глазами, «от которой несет этим запахом». Она отказывается лечь в постель, так как ей будто бы постлали шитую этой женщиной простыню, простыню из трех полотнищ. Вы ничего не припоминаете из недавнего прошлого, что могло бы навести меня на какой-нибудь след?

— Ничего.

Они помолчали в раздумье.

— А ненависть? — спросил Паоло Тарсис. — Все усиливается?

— «Потом возненавидел ее Аммон величайшею ненавистью». Есть у вас библия?

— Да.

Паоло отыскал библию и подал ее доктору.

— Каждый день приносит какую-нибудь таинственную подробность, — сказал доктор. — Вчера у нее была передышка между двумя взрывами бури. Страшное физическое возбуждение на минуту улеглось. Она согласилась присесть. До того времени она упорно отказывалась от пищи. Она побледнела и исхудала, как покойник. Утихли всхлипывания, взгляд стал спокойнее, дрожь прекратилась. И она только продолжала беспрестанно прикасаться к язвам во рту. Уставилась взором в одну точку; и затем с неожиданным выражением в голосе произнесла стих из библии: вот этот.

Он открыл Вторую Книгу Самуила и прочел:

— «Потом возненавидел ее Аммон величайшею ненавистью, так что ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Аммон: встань, уйди». Тогда я в упор задал ей вопрос: Кто этот Аммон? Она ответила: «Тот, кто прогнал меня и запер за мной дверь». И затем она стала беспорядочно бредить. Внутри ее происходит такая мучительная работа, что человеческие силы не могут остановить ее. В разгар самого мрачного припадка она дает доказательство невероятной силы самообуздания. Я все время чувствую, как она сосредоточивается на какой-то мысли, затаенной в глубине ее совести, и опирается на эту мысль всем своим существом как будто для того, чтобы помешать ей подняться и проявить себя.

Он задумался, не выпуская книги, Книги Самуила, и заложив в нее указательный палец. Своей манерой держаться он походил на великих духовников, на великих властителей душ: Он незаметно допытывался о тайне; затем молча выжидал, заставляя собеседника находить глубокий смысл в недосказанном.

После продолжительной паузы Паоло задал вопрос:

— Альдо, брат ее, не видится с нею? Он не выразил желания свидеться с нею?

— Он, мне кажется, болен и сейчас в Вольтерре. Если

бы он даже приехал, я не позволил бы ему войти к ней. Я вынужден предписать на время самое строгое одиночество. Я оберегаю ее также от отца и от той женщины.

Новая пауза.

— А Изабелла ни разу не спросила про него? — произнес Паоло голосом, который он хотел сделать чистым, но который мутно звучал темной кровью, подобно дымному ручейку вольтеррских источников, окрашенному после ливня в бурый цвет железа.

— Я еще не кончил про Амнона, — ответил доктор, снова раскрывая книгу. — Больная с перерывами бредит, находясь во власти одного какого-то видения. Ее способность выражаться напоминает плавящееся вещество, вещество, обреченное на длительное превращение, которому не будет конца. Вдруг, после длинного непонятного монолога, она произнесла так внятно, что ей самой стало страшно от ее же собственных слов: «И все же я виновна в том, в чем меня обвиняют; и я не должна оправдываться». Тогда я повторил свой вопрос, заглядывая ей в глаза: «Кто этот Аммон?» Она улыбнулась неизъяснимой улыбкой, осенявшей ее раны снопом лучистого света, гораздо более загадочным, чем живописный свет на картинах «Распятия». Затем она медленно прочла еще один стих, извлекая его из своей памяти, как из огня: «И скорбел Аммон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей». Тогда я с еще большей настойчивостью повторил свой вопрос: «Но кто же этот Аммон?» Она вскочила с той стремительностью, которая делает ее похожей на вихрь из пепла и горячих угольев, и закричала: «Мой брат! Мой брат!»

8.

И пятый день был днем воспоминаний.

Безумная попросила Кларетту принести ей музыкальный ящик со стальным гребешком, свою дребезжалку. Она до крови колола себе пальцы об острые цилиндры, как и в то время, когда ей было шесть лет. Она сидела на корточках, согнувшись и подставляя лицо под ветер от

двойного крылышка, и слушала слабенький, бесконечно далекий голос, говоривший ей о днях детства.

— Странно, — сказал доктор. — Это дребезжание успокаивает ее, и она даже перестает слышать шум шагов по своему черепу. Сегодня утром она говорила: «Позовите Лунеллу, верните мне мою Форбиччию, пусть придет и принесет с собою Тяпу и ножницы, пусть она побудет здесь и вырежет мне какую-нибудь картинку, и мы заживем втроем с дребезжалкой, которая будет играть, играть беспрерывно!»

Паоло увидел ее на террасе, полунагой в шали лунного цвета, с голубой звездой на лбу, с загадочным предметом, завернутым в кусок материи.

— Воспользовавшись этим чудодейственным влиянием на нее ящичка и ее желанием увидеться с Лунеллой, я, наконец, уговорил ее вернуться в Вольтерру.

— В Вольтерру?

— Я хорошенько все обдумал. Ей нельзя оставаться здесь дольше при настоящих условиях. Отец и Шакал на все способны. Самая строгая бдительность оказывается недостаточной. А другого такого уединенного и покойного убежища, как обнесенная со всех сторон стенами вила Сан-Джироламо, для больной нельзя отыскать, тем более, что по близости имеется лечебница, во главе которой стоит человек с ясным умом и чистым сердцем, и на него я могу вполне положиться. Кроме того, я знаю, что отец не имеет ничего против переезда. А не следует забывать, что, как ни как, его воля признается законом, и что с ним приходится ладить. Я не хочу откладывать. Отъезд назначен на завтра.

Вплоть до этого момента Паоло еще не испытывал чувства разлуки, разрыва, неизбежного расставания. Этот отъезд показался ему теперь поистине переходом души в иной мир. Он вспоминал не жасминовый сад, воспетый Гафизом, а дворец Безумия и этрусские катакомбы. Затем он вспомнил раненую антилопу с большими нежными глазами, как у Лейлы.

Вечером ему захотелось в последний раз посетить ту квартиру, проникнуть в зеленую пещеру. Освещенная желтоватым фонарем на площадке, лестница произво-

дила жуткое впечатление, словно на ней было совершено преступление, и остались не смытыми пятна крови; никого не было, царило молчание, а ему слышался стук в дверь неизвестного. В комнатах предметы оживали так отчетливо, и в то же время явно — обманчиво, что он испугался, и подумал, не сходит ли он с ума. Они принимали форму Изабеллы, живую красоту Изабеллы: форму ее кос, ее шеи, ее плеч, груди, колен, перехвата. Все они оживали, принимали человеческий облик, страстный, одаренный сознанием. Изабелла была повсюду. Стоило ему сделать движение, как он чувствовал ее близость, дотрагивался до нее, и в груди его что-то глухо обрывалось, его охватывал кровавый ужас, обращающий предчувствие наслаждения в предчувствие смерти. В несколько минут воспоминания облеклись в плоть и кровь, поползли на него на четырех лапах, и у него захватило дух от их тяжелого дыхания, как от дыхания зверя. Затем они набросились друг на друга, стали раздирать одно другое на части; остались в живых только самые дикие, и ярость их возросла еще больше. «Помни мои слезы, как я буду помнить слово, которым ты сопровождал свои удары».

9.

И шестой день был днем поношения.

Любезный комиссар дал знать Паоло, что может сообщить ему некоторые очень щекотливые подробности относительно таинственной ночи. «Какие еще новости? Что может быть ужаснее того, что известно?» спрашивал себя оставшийся в живых, уже готовый к новому путешествию.

Быть может, Изабелла в это время ехала в Вольтерру, пересекала меловые горы Вальдеры, бесплодную пустыню; и перед его мысленным взором вдруг возник образ длинной вереницы стен и башен по ту сторону мелового холма, на вершине горы, как на краю дантова круга, — образ Города камней и ветра.

Как бы для того, чтобы сопровождать ее до трех кипарисов, до трех крестов на голом холме, он прошел на

площадь Сан-Фиренце, прежде чем отправиться на свидание, которое не сулило ничего успокоительного. Под окном, защищенным крепкими железными прутьями, была дверца: через эту дверцу вошла она. Белый коридор, со стенами, покрытыми могильными плитами и гербами. На одной из них висела деревянная лестница, две другие длинные лестницы были приставлены к стене, как бы в ожиданий, чтобы палач взобрался по ним распять свою жертву. Рядом с дверью стояла забытая кафедра темного дерева.

Все эти предметы, впервые попадавшие ему на глаза, ожили в его душе, как если бы в них вселилась Изабелла. Безнадежность и сострадание наполнили его сердце, когда в темноте он различил чашу со святой водой. На дне ее блестела вода, и в ней, быть может, несчастная омочила пальцы, чтобы привычным жестом свершить крестное знамение.

Он сделал несколько шагов по надгробной плите, прошел по короткому коридору, заставленному черными шкапами. Вошел в часовню; взглянул на черные и белые плиты пола, на которых она преклонила колени перед окружающей алтарь мраморной балюстрадой; пристально всмотрелся во все окружающее. Образы предметов отпечатывались в его тоскующей душе, сливаясь вместе неразрывно.

«Что делала она столько времени здесь? Осталась стоять на коленях? Присела? Молилась? Не разучилась еще молиться? И какую молитву читала она?» Он вглядывался, вглядывался в темноту; и зрачки его расширялись, чтобы все увидеть, все воспринять, и лицо его жило одним только взглядом, как и тогда в мантуанском дворце, когда говорили все знаки, и все образы пели.

В алтаре Девы Марии, под куполом, венком из сердец украшал священное изображение, в ознаменование обета. Две серебряные лампы горели по бокам. По обе стороны были закрытые двери, с прибитыми к ним по середине золотыми сердцами; и на обеих было написано *Reliquiae Sanctorum*. У стены направо — исповедальня; у стены налево — другая; рядом — две скамейки. «На которой из них сидела она?»

Ему показалось, что он угадал, и он присел на правую скамейку. Он чувствовал, как с лампад на него спускается тень. Через решетку он смотрел на белую церковь, с высокими колоннами из светлого камня. Дальше тянулись темные галереи, заставленные стульями, шкафами, исповедальнями. Женщина, почти вся в лохмотьях, прошла мимо и взглянула на него воспаленными глазами, исполненными бесконечной грусти. Протянула к нему руку, безмолвно. Взяла милостыню, без единого слова благодарности. И исчезла в тени, волоча ноги, словно у нее был перебит позвоночник.

И следя за удаляющейся нищенкой, во все более сгущавшейся тени от лампад, он вдруг увидел Изабеллу, подобную вихрю из пепла и горящих угольев, с язвами во рту.

Он встал, чтобы отогнать галлюцинацию; прошел по корридору; вышел на площадь. Фонари были уже зажжены. Каменная громада Барджелло подымалась к серебристому небу. Синяя колокольня Бадии ждала, чтобы на ее вершине зажглась первая звезда. Вдоль тротуара стояла вереница экипажей с усталыми и грустными лошадьми; на козлах лежали, развалившись, возницы, в позах пьяниц или сумасшедших. «Который из них повез несчастную безумную и ее двух спутников?»

По улице Проконсула, мимо Собора, прошел он до места позора. Был ясный и теплый, серебристый апрельский вечер. Его снова поразил тот неопределенный запах, который, наряду с запахом тюрьмы и больницы, является самым печальным запахом в мире. Он вспомнил о неизвестной в полосатом переднике.

Входя в комнату, где его дожидался любезный комиссар, он чувствовал себя, как приговоренный к пытке, которого из одной темницы переводят в другую для последнего испытания.

Глядя на него сквозь бесстрастные стекла золотых очков, усердный комиссар быстро и уверенно заговорил:

— Подробное и тщательное расследование позволило мне установить, что ни один из неизвестных не был полицейским. Это два собрата, два настоящих преступника. Худощавый, нетерпеливый — это некий Стефано Фери,

отъявленный негодяй, эксплуатирующий девок, вымогатель и вор. Толстый, по кличке Каноник, это некий Бенне делла Луцца, гадина из гадин, которого Данте поместил бы под огненным дождем в обществе своего каноника де-Моцци¹⁾.

И комиссар остановился, смакуя свое удачное сопоставление с Данте, и в стеклах его очков заиграла легкая усмешка.

— Эти два компаньона постоянно ищут темные делишки. Как очутились они в тот вечер на площади? Площадь Сан-Фиренце — сборный пункт всего этого сброда, который ютится в улицах и переулках, перекрещивающихся за Церковью и зданием Суда. По близости имеется также нечто среднее между кафе и публичным домом. Там их главная квартира. Но почему они пристали к больной? Конечно, не из сострадания к ненормальной даме. Но видели ли они ее впервые, или же заранее обдумали все? Сама ли больная дала им ваш адрес, или они уже знали его? Они, может быть, хотели получить выкуп, но под каким видом?

Достигая все большего эффекта, оратор продолжал нагромождать свои вопросы, на подобие Цицерона в речи против Ватиния, — образованный, начитанный полицейский, воистину достойный удивления. Он несколько понизил голос и придал ему патетический тон, когда дошел до последнего пункта, который он подчеркнул грязным подозрением.

— А что сделали они с несчастной за час с лишним со времени их отъезда из вашего дома и до прибытия в Борго дельи Альбицци? Если вам угодно, мы примем все меры, чтобы раскрыть истину.

Паоло Тарсис задумался немного, прежде чем уйти. Он отказался от дальнейших розысков, поблагодарил и вышел. Мир представлялся ему громадной клоакой. Все прекрасное, все благородное было уничтожено. Лицо Амура было отвратительно, как лицо испитого шута. Ему рисовалась божественная Изабелла Ингирами в зловонном кафе в обществе сутенера и содомщика, с грязным

¹⁾ «Ад» песнь XV, стих 112.

22 д'Аннунцио, Может быть да, может быть нет.

стаканом в руках. Судьба подхватила поносное слово и воплотила его в жизни.

И так кончился шестой день последнего испытания.

10.

А на седьмой день сын Улисса сказал своему сердцу слова отца: «Сердце, терпи. Еще более подлые тебе приходилось терпеть испытания!» И, встряхнувшись, он вступил на свой истинный путь. Его воля и его страдание слились в одно целое.

11.

Вечером двадцатого апреля Паоло Тарсис получил от скульптора обещанную весть. Огни были зажжены под навесом литейщика. Металл плавился в бассейне. Облаченная в свой земляной покров статуя всеми своими жилами готовилась впитать раскаленную кровь на дне плавильной ямы. Второму рабу Микель-Анджело решительным движением плеча и колена удалось отделиться от твердой каменной глыбы и ухватиться за крылья, как за два больших щита. «Надави плечом и коленом, ударь кулаком, ударь сильнее, высвободись из его объятий, оставь его безжизненным на месте: ведь ветер кружит и шумит на просторе и звучит над волнующимся морем, как звонкая бронза».

Под навесом на Ардее Паоло Тарсис тоже зажег свои огни. Весь день он молча проработал у большой цапли вместе со своими механиками; на нем тоже была синяя блуза, и он не берег своих рук, ставших слишком белыми; он никому не открывал своего решения и своего плана. «Курс на запад-юго-запад!» Ему недостаточно было перелететь через пролив, он должен был опуститься в открытое море, как можно дальше от побережья Энея. Поэтому он позаботился о том, чтобы усилить свою машину: переменил мотор, резервуар и пропеллер; с большим искус-

ством подвесил над своим сидением обращенный к нему компас, точно выверенный и огражденный от воздействия железа, и морскую карту, на которой было отмечено расположение удобных мест для спуска; он мог легко ориентироваться на ней благодаря игле компаса. Наконец, он сказал главному своему помощнику, любимому механику Джулио Камбиазо, Джованни: «Завтра на рассвете я совершу новый пробный полет». Казалось, для него на утесе продолжала жить *conscia virtus* Турна. Он во всеоружии шел не на смерть, а навстречу смертельной опасности.

В эти наполненные работой дни он открывал рот только для указаний, объяснений, распоряжений; но он часто разговаривал со своим другом. «Думал ли ты, что мы соединимся вновь?» Воспоминания оживали в нем, как будто второе сердце образовалось внутри его, дорогой человек вставал перед ним, как живой, с тем же голосом, выражением лица и движениями; таким он был в то время, когда, вернувшись из своих плаваний и странствований, они с неослабным терпением строили новые аппараты и производили первые пробные полеты.

Теперь наступил тот самый час, которому благоприятствует Веспер, когда, стараясь сохранить равновесие, они бросались на легких крыльях вниз со скалы и подражали парящим хищникам. И однажды в этот час, когда какое-то божество разливало кругом таинственное сияние, одному из них удалось впервые достигнуть на почти законченной белой цапле площадки на правом берегу Нумика, где латиняне воздвигли обсаженный деревьями курган, и посвятили его Энею, своему богу-покровителю, которого река очистила от всего, что в нем было смертного, оставив ему только лучшую часть.

И переживший друга так же чувствовал, что в нем живет только лучшая часть его существа. И в этот вечер, накануне геройского полета, он обозревал заснувшую безлюдную природу. Все было величественно и нежно, словно бог-покровитель улыбался в неподвижном воздухе. Все предметы были величественны и просты, и их окружала достойная их ограда, подобная именам двенадцати римских богов, собранных в двестишестидесяти старом Эннии.

Казалось, что от обсаженного лавровыми деревьями берега и вплоть до укрепления Инвио — от знаменитого лавра, который царь Латиния хранил в своем святилище, и на котором повис вещей рой, выросли вновь древние лавры. Повсюду разливалась песнь о началах народа. Уже не Цирцея пела у ткацкого станка, полного козней, и не толпа озверевших людей завывала, как в тот день, когда под заросшей травой горой распустили паруса избегшие опасности корабли Энея; одна только дочь Януса пела о своей божественной скорби, как лебедь поет песнь смерти, став «бесплотным в легком ветерке».

Темнело. Одна за другой вокруг Веспера загорались звезды. Пастух гнал свое стадо, может быть, не в очарно, но к Оракулу Фавна, туда, к священной роще, где среди испарений удушливого газа, рядом со звучащим источником, древнее божество итальяйских племен спит еще, прорицая во сне, в ночной тиши, покоясь под шкурами принесенных ему в жертву овец.

Переживший своего друга не покинул на ночь неотесанного жилища из дерева и железа, где белели его широкие крылья. Он велел приготовить себе походную кровать, ту самую, на которой покоилось в последний раз тело друга, обернутое красным полотнищем флага. Рабочих он поместил на ночлег в соседней мастерской; он отдал необходимые распоряжения на утро, а сам остался наедине с владычицей-мыслью.

Было совсем тихо, как тогда, когда воинственный город Рутулов спал вокруг дворца Турна, на своих пустынных утесах, которые, подобно стенам, казались произведением рук человеческих, созданным, чтобы сторожить могилы предков. Слышался только непрерывный, как время, шум Инкастро в долине. Где-то в деревушке выла собака. С дороги в Анцио доносился скрип повозки. Над Ланувинскими горами сверкала Медведица. Паоло казалось, что он когда-то, очень давно, пережил такую же ночь, и она в круговороте лет опять возвращалась на землю.

Он направился к колонне, на которой должна была вышиться статуя. Каменная глыба лежала еще на земле, поддерживаемая связкой сучьев, как подушкой. Он сел

на колонну и задумался о горячей работе, шедшей в это время в мастерской скульптора: и он вдохнул в себя дыхание огня и дыхание брата. Бросил ли уже ваятель в бассейн его колечко?

Он вернулся в ангар и подошел к напирусовой клетке, подвешенной на одной из балок. Цапля услышала его и шевельнулась. Это была одна из двух цапель-покровительниц, любимиц и питомиц Джулио Камбиазо, в радостную пору их совместной жизни. Он в шутку дал им имена двух мифических латинян: Даун и Пилумн. В постройке из дерева и железа они были на подобие пенатов. Одна из них улетела, а Даун печально и задумчиво проводил свои дни в египетской темнице.

— Если бы я мог найти для тебя место в челноке, я взял бы тебя с собою, бедняга, — сказал ему Паоло Тарсис улыбаясь, и в то же время в его ушах звучали причудливые звуки, которые Джулио придумывал для разговоров с этими старыми белыми пенатами на оливковых лапках. — Охраняй пока что мой предпоследний краткий сон. Завтра я буду спать гораздо дольше.

Он умылся и лег на походную кровать, как и в то время, когда он проводил ночи под палаткой. Его окружали те же предметы, мудро служившие жизненным потребностям и удобству: предметы из металла, из кости, из бруса, полотна, каучука.

— Моя статуя готова, — проговорил он, подумав, что огненный обряд совершился.

Он представил себе, как наполняется до краев форма, как опускается рычаг, пробка закрывает устье, откуда потоком струится раскаленный металл, и как он вдруг застывает и затем сразу становится темным в своей ограде из кирпича и гипса. Наконец, он заснул.

Над Альбанскими горами загоралась заря, когда он поднялся. Так необычно весел был голос, которым он отдавал приказания, что механики подумали было, что воскрес Джулио Камбиазо. Сразу палатка наполнилась шумом. Доски задрожали, пыль взвилась отовсюду, и цапля вся затрепетала. Он прислушивался к семикратному созвучию цилиндров. Семь цилиндров уже не были расположены веерообразно, но в виде венца: они были

усеяны крылышками, вырезанными в стальной массе. Новый пропеллер работал на славу, образуя в воздухе прозрачную звезду. Механики еще раз измерили силу пропеллера, соединив его веревкой с указателем; и веревка натянулась, как-будто великая Ардеа стремилась улететь из неволи; один из рабочих, стоя на коленях, следил за стрелкой измерительного прибора.

— Готово? — спросил Паоло Тарсис.

— Готово, — отозвался радостный голос.

И пропеллер остановился. Ардеу отвязали, как только прекратилось биение ее семикратного венцеобразного сердца.

— Даун, — сказал Паоло, подходя к клетке, в которой белая цапля обнаруживала признаки нетерпения, — Даун, в это чудное апрельское утро я хочу освободить и тебя. Быть может, на каком-нибудь пруде тебя поджидает Пилуми.

Он снял клетку, в то время как люди, ухватившись за перекладины корпуса и за дуги крыльев, готовились толкать Ардеу на площадку. Он поставил клетку на землю и открыл ее. И, улыбаясь, он вспомнил слова вергилиева Низа:

— Daune, — сказал он, — *nunc ipsa vocat res. Nac iter est*¹⁾.

Но печальный узник, казалось, не верил в свободу.

— Daune, *nac iter est!* — закричал освободитель, ободряя его.

Тогда цапля отбросила сомнения и вышла из клетки, пробежала немного на своих черноватых лапках, как на ходулях, а затем, грациозно откинув голову и спрятав ее между спинными перьями, полетела в утреннем воздухе.

Паоло следил за ней глазами.

— Куда летишь? За Нумик? За курган Энея? К Лавренту? Ты спустишься у Остийского пруда? Даун! Даун!

¹⁾ Даун, время не терпит. Вот путь.

Словно крыло грусти осенило его душу, когда в весеннем небе исчез последний из пенатов. Все кругом было торжественно, как брачный обряд. То же море, те же берега, долины, холмы и горы, какими их созерцали ясные глаза Песнопевца, очаровавшего их своими медленными песнями, прежде чем случилось несчастье, и потекли кровь и слезы, прежде чем жестокая дочь Солнца сказала сатурнийскому царевичу, любителю коней: «О прекраснейший, та, что поет, теряет тебя навсегда».

— *Nac iter est.*

И он взглянул на Тирренское море Улисса и Энея, светлое, тихое, как в дни Альционы. Он быстро закончил все приготовления. Ни одним словом, ни одним жестом не выдал он своей тайны. Он сам взял пропеллер за обе лопасти и привел его в движение. Прислушался к шуму; взошел на сидение, уселся поудобнее, не испытывая ни малейшего волнения:

— Отпускайте!

Подобно освобожденной цапле, парусолет пробежал немного над собственным голубоватым дымком, затем поднялся кверху, быстро взвился и понесся по направлению к морю. «Курс на запад-юго-запад». Рабочие и пастухи видели, как он пролетел над руслом Инкастро, миновал устье и, поднимаясь все выше, сливаясь с воздухом, становясь тонким, как Даун, наконец исчез в безбрежности.

— Вот увидите, он спустится в Сардинии, — сказал смеясь самый младший из зрителей.

— И ничего не будет удивительного.

Все были веселы, беззаботны, уверены в успехе. И только Джованни качал головой, подбирая пустую клетку.

А летчик видел только воду, воду, воду, бесконечную светлую водную пустыню, спокойную и неизменную, над которой он словно висел неподвижно на распластанных крыльях. Великое прозрачное спокойствие Альционы, как в баснословные дни зимнего солнцеворота; утреннее затишье, без дуновения ветерка; безмятежное море. Подобно тому, как это спокойствие делало незаметною скорость, так и шум пропеллера пропадал в тишине. Не

было слышно стука машины, как не слышно биения сердца и пульса, когда человек пребывает в гармонии с самим собой и вселенной. Оставшийся в живых не чувствовал больше, что он пережил друга, но ему казалось, что он тоже находится по ту сторону жизни. Уже ему не являлся лодчман, как в тот радужный день, а он сам был этим лодчманом; душа того руководила его душою, и мысль одного освещала мысль другого; и его обнаженные руки, которые, несмотря на работу, сохранили свою белизну, казались ему тоже одною из форм идеальной жизни; и в нем изгладилось воспоминание о покинутом берегу, но не об этом полете, так как он помнил, что уже раз совершил этот путь.

Море загорелось светом от удара солнечных лучей, также внезапно, как звучит тимпан над барабанной палочкой музыканта. Он обернулся, и его щека позолотилась. Крылья засверкали всеми своими жилками, металлические части заискрились; на воде обрисовалась ослепительная полоса. Взошло солнце.

Очарование безжизненности испарилось. Руки кормчего окрепли и с новой силой ухватились за работу. Он увидел корабль, пересекавший ему путь по направлению на юго-восток; немного спустился к нему, встреченный криками матросов и пассажиров, столпившихся на палубе; пролетел над ним, затем поднялся снова. Биение огненного венца было ровно и сильно; острозубая звезда пропеллера неустанно буравила воздух; оба крыла, нос и хвост ни на секунду не теряли равновесия. Легкий западный ветерок дул без порывов, равномерно, не меняя направления; то здесь то там цвет моря менялся, как цвет парчевой ткани. Но теперь тишина была наполнена шумом, и летчик вслушивался в него, ожидая первую остановку мотора. Безбрежная пустыня состояла из воздуха и моря; ни паруса, ни струйки дыма, ни полосы земли на горизонте. Ему показалось, что он услышал перебой в одном из цилиндров, затем в другом, затем с перерывами еще несколько перебоев. Он наблюдал свое сердце, мысленно улыбаясь: внутренний ритм ускорился. «Что сделаю я, если в этот штиль Ардеа упадет и поплывет по воде? Должен я буду ждать, или попытаюсь за-

топить ее?» Стук мотора снова становился ровным. Ветер свежел, касался поверхности моря и вздымал гребешки пены; вдаль появилась какая-то полоса, все время темневшая. Он с еще большим вниманием сосредоточился на управлении рулем. «Друг, друг, это будет прекрасная смерть! Если рассчитать время и скорость, я уже пролетел около семидесяти морских миль. Я посреди Тирренского моря. Для меня готовится прекрасная глубокая могила. Помнишь остров Тино, маддалену, как мы спустились к садам Сирен в одеянии водолазов?» Он снова ощущал ту неизведанную радость, и необычную легкость, когда кажется, что чувство тяжести исчезло, несмотря на огромное давление сверху; и его обнаженные руки снова приобретали какую-то божественную чуткость, как тогда, когда они под водой прикасались к глазастым растениям и к чудовищным кустам, усеянным цветами, среди колеблющегося опалового освещения. «Через сколько времени водолаз спустится в бездну, чтобы отыскать не найденную Сирену?»

А время шло и шло. И другой корабль появился, плывя ему навстречу, по направлению на восток, к Италии. И корабль предстал ему, как светленькая скорлупа, отмеченная крылышком дыма. Он едва расслышал приветственный крик. Он летел на большой высоте, и ветер стегал его по лицу, защищенному шлемом.

И вокруг этого неподвижного ожидания смерти возникло смутное волнение, которое казалось то надеждой, то сожалением, то страхом. Острозубая звезда винта неустанно буравила воздух. Он уже пролетел более ста морских миль. «Неужели смерть может стать жизнью? и день жертвы днем перерождения?»

Он иногда взглядывал на свои руки, на свои обнаженные руки водолаза, крепко державшие руль; и они казались ему одаренными необычайною силой. Неутомимые, как лопасти пропеллера, они не дрожали, не слабели, не сдавали. Стук огненного венца был весел и ровен. Солнце поднималось позади него и обдавало светом крылья, но не порождало тени. Созданная из металла, дерева и полотна Великая Ардеа была свободна от тени, как будто она исчезала, перестала существовать, стала явлением из

другого мира, духом бесплотным. Но в этих двух руках кости, мускулы, жилы и нервы напрягались в отчаянном стремлении к жизни, так и кипели жизнью, как руки, размахивающие оружием в последней схватке, или хватающиеся за край корабля или за выступ скалы во время кораблекрушения.

И неиспытанная еще дрожь пробежала по его сердцу, дрожь, которая впервые сотрясала человеческое тело.

Минуты проносились одна за другою, как искры мотора. Свет, синева, волны беспрестанно пробегали мимо. Казавшееся безнадежным могло быть достигнуто! Он видел перед собою своего лопмана, как в день траура, когда он спросил его: «Ты хочешь? Ты хочешь?»

И сердце его забилося сильнее, так как в нем возродилась жажда жизни, жажда жизни для победы.

Но что это могло быть там, на краю воды, какое-то голубое облако. Цепь гор? Земля? Он взглянул на свои страшно напряженные руки. И почувствовал, что все его тело вытягивается вперед, как бы заостряясь, точно он старался уклониться от сопротивления воздуха, принять форму веретена или стрелы.

Он не сводил глаз с видения на краю горизонта, пристально вглядываясь открытыми зрачками в пространство далекое.

Земля! Земля!

И любовь к брату, и горе, и пылкое стремление стали для него, как солнце на небе, стали для него ярким сиянием, бодрящим бессмертием.

О жизнь! Жизнь!

Как человек, когда все его здоровое тело охвачено тяжелым сном, зарывается лицом в подушку, точно голодное животное — пастью в ясли, и пот выступает на нем, и складки простынь оставляют на коже следы словно от ударов; так и его мечта, его жажда чуда напрягали все его мускулы, наделяли его нечеловеческой силой. А время шло и цилиндры в виде сияния ровно стучали; и звездообразный пропеллер буравил воздух.

Победа! Победа!

И как в тот раз, даже лучше, чем в тот раз, он из своей

воли сделал твердую стрелу, одну из тех стрел, что бойцы называют «цельножелезными», так как из железа — и древко, и острие, и нарезка; железную стрелу, одаренную небывалым зрением, небывалым слухом.

Вдруг он услышал легкий скрип под собою, и что-то упало к его левой ноге. По внезапному ощущению теплоты он понял, что сломалась, или отвалилась алюминиевая табличка, закрывавшая трубку выпуска, что струя раскаленных газов обдавала его, что все напрасно. Но он видел землю; земля на его глазах вырастала, приближалась со своими горами, холмами, рощами, прибрежными песками. Ветерок уже превратился в порывистый, неровный ветер, переходя иногда в шквалы.

Он стал бороться, сопротивляться, отвечая нападением на нападение. Под водой он различил флотилию подводных лодок, совершавших военные маневры и погружившихся корпусом в море. Он понял, что оставил Терранову, мыс Фигари, Порто Черво, Капреру, Маддалену на севере и держал путь слишком к югу. Но он не повернул, не изменил направления. Он еще раз мысленно провел более прямую линию, чем та, что способны провести мастера ниткой синопля. Вот перед ним золотистый берег, пустой и бесплодный; вот там пониже удобное место для спуска. Он увидел неровную стену индийских смоковниц, а за нею в зеленой ложбине небольшое стадо около конусообразной хижинки. Обратил внимание на песчаную полосу по берегу одной бухточкой, окаймленную густой рощей не то можжевельника, не то мастиковых деревьев. Выбрал ее для спуска. Спустился почти у самой воды, как будто во сне, среди какого-то чуда, уверенный и легкий, беспамятный и бессознательный.

Его не встретили ни крики, ни рукоплескания; к нему не протягивались руки, на него не смотрели бледные лица людей. Дикая природа, погруженная в молчание; слава, скрытая от глаз человека; еще прохладное утро; и дыхание моря-ребенка, убаюкиваемого на руках земли; и слова таинственной кормилицы, которой ведомы и жизнь, и смерть, и то, чему суждено родиться, и то, что не может умереть, и сроки всего. «Сын мой, нет бога, если ты не бог».

Несколько мгновений он в недоумении глядел перед собой. Затем попытался прыгнуть на песок; но мучительная боль от глубокого ожога заставила его вскрикнуть, удержала его. Тогда он стал спускаться осторожно, ища глазами, на что бы опереться. Сел на пустынном берегу и принялся отделять от обгорелой ноги остатки обуглившейся обуви. Но силы его иссякли, боль становилась нестерпимой. Он сполз к самой воде и погрузил ногу в море.

БИБЛИОГРАФИЯ Д'АННУНЦИО.

Важнейшая русская литература о д'Аннунцио:

- В. Фриче. — Трагикомедия индивидуализма в «Образовании». 1901 г., № 10.
 З. Венгерова. — Литературные характеристики. Т. III.
 Н. Я. Абрамович. — Литературно-критические очерки. Т. I. Творчество и жизнь. СПб. Изд. «Труд». (С. Скирмунта.)
 А. Левинсон. — Статья в «Современном Мире». 1911 г., № 3.
 М. М. Иванов. — Очерки современной итальянской литературы. СПб. 1902.
 А. Овэтт. — История итальянской литературы. Пер. А. Усовой, под. ред. В. Шишмарева. СПб. 1909.
 Г. Брандес. — Статья о д'Аннунцио. «Критический Альманах», кн. I. Изд. «Заря». М. 1910.
 Л. Украинка. — Два направления в новейшей украинской литературе. (Ада Негри и д'А.) — «Жизнь», 1900 г., № 9.

Важнейшие издания сочинений:

- Полное собрание, сочинений. Пер. И. Гливенко. Киев, 1904 г.
 То же. Изд. В. М. Саблина. 12 т. М. 1909—1910 гг. (т. I и XII имели по два издания).
 Собрание сочинений. Изд-во «Шиповник». Под редакцией и с вступит. статьей З. Венгеровой. 12 т. СПб. 1909—1912 гг.

Может быть да, может быть нет.

Русские переводы:

- Может быть да, может быть нет. «Вестник Иностранной Литературы». 1910 г., №№ 2—7.
 То же. — Перев. А. Печковского. В «Полном собрании сочинений д'Аннунцио», изд. В. М. Саблина, т. XII (М. 1910 г., изд. 2-ое М. 1911).
 То же. — Перев. М. В. Ватсон. В «Собрании сочинений» д'Аннунцио, изд. «Шиповник», т. XI (СПб. 1911 г.).
 Отрывок из этого романа (анонимный перевод) помещен в сборнике «В мире новых ощущений. Рассказы». СПб. 1911.
 Критика. — Л. Козловского («Из западной литературы»). — «Вестник Знания». 1910 г., август.

3533

Напечатано Книгоиздательским Отделом
Торгового Представительства Р.С.Ф.С.Р.
в Германии